КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

1931

КНИГА
ЧЕТВЕРТАЯ

АПРЕЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ'ЕДИНЕНИЙ СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

АПРЕЛЬ

№ 4



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1931 ЛЕНИНГРАД

„Мосполиграф“ 16-я типо-
цинкография „Мысль
печатника“, Москва,
Петровка, 17.
Уполн. Главлита Б № 3383
Тираж 15.000
Заказ № 739

Охранная грамота

Борис Пастернак

ЧАСТЬ ВТОРАЯ[1]

1

Я снял комнату на краю города. Дом стоял в ряду последних по Гиссенской дороге. В этом месте каштаны, которыми она была обсажена, как по команде заходя друг другу в плечо, всей шеренгой забирали вправо. Оглянувшись в последний раз на хмурую гору со старым городком, шоссе пропадало за лесом.

При комнате был дрянной балкончик, выходивший на соседний огород. Там стоял снятый с осей вагон старой марбургской конки, превращенный в курятник.

Комнату сдавала старушка-чиновница. Она жила вдвоем с дочерью на тощую вдовью пенсию. Мать и дочь были на одно лицо. Как бывает всегда с женщинами, пораженными базедовой болезнью, они перехватывали мой взгляд, воровски устремленный на их воротнички. В эти мгновения мне воображались детские воздушные шары, собранные к кончику ухом и натуго перевязанные. Может быть, они об этом догадывались.

Их глазами, из которых хотелось выпустить немного воздуху, положив им ладонь на горло, смотрел в мир старый прусский пиэтизм.

Однако для данной части Германии этот тип был нехарактерен. Здесь господствовал другой, средне-немецкий, и даже в природу закрадывались первые подозрения о юге и западе, о существовании Швейцарии и Франции. И было очень кстати, перед лицом ее лиственных догадок, зеленевших в окне, перелистывать французские томы Лейбница и Декарта.

[1] См журн. „Звезда“ № 8, 1929 г.

За полями, подступавшими к мудреному птичнику, виднелась деревня Окерстаузен. Это было длинное становище длинных риг, длинных телег и здоровенных першеронов. Оттуда вдоль по горизонту тащилась другая дорога. По вступлении в город она окрещивалась Barfüsserstrasse[2]. Босомыгами же в средние века звали монахов-францисканцев.

Вероятно, по ней именно каждый год приходила сюда зима, потому что, глядя в ту сторону с балкона, можно было представить себе много подходящего. Ганса Закса. Тридцатилетнюю войну. Сонную, а не волнующую природу исторического бедствия, когда оно измеряется десятилетиями, а не часами. Зимы, зимы и зимы, и потом, по прошествии века, пустынного, как зевок людоеда, первое возникновение новых поселений под бродячими небесами, где-нибудь вдали одичавшего Гарца, с черными, как пожарища, именами, вроде Elend[3], Sorge[4] и тому подобными.

Сзади, в стороне от дома, подминая под себя кусты и отраженья, протекала река Лан. За ней тянулось полотно железной дороги. Вечерами в глухое сопение кухонной спиртовки врывалось учащенное позвякивание механического колокола, под звон которого сам собою опускался железнодорожный шлагбаум. Тогда в темноте у переезда вырастал человек в мундире, в предупрежденье пыли быстро опрыскивавший его из лейки, и в тот же миг поезд проносился мимо, судорожно бросаясь вверх, вниз

[2] Улица Босоногих.
[3] Бедствие.
[4] Забота.

и во все стороны сразу. Снопы его барабанного света попадали в хозяйские кастрюли. И всегда пригорало молоко.

На речное масло Лана соскальзывала звезда-другая. В Окерсгаузене ревел только что пригнанный скот. На горе пооперному вспыхивал Марбург. Если бы могло так случиться, что братья Гримм опять, как сто лет назад, приехали сюда изучать право у знаменитого юриста Савиньи, они сызнова уехали бы отсюда собирателями сказок.

Удостоверившись, что ключ от входных дверей при мне, я отправлялся в город. Исконные горожане уже спали. Навстречу попадались одни студенты. Все выступали, точно в Вагнеровых «Мейстерзингерах». Дома, казавшиеся декорациями уже и днем, сближались еще теснее. Висячим фонарям, перекинутым над мостовой со стены на стену, негде было разгуляться. Их свет изо всех сил обрушивался на звуки. Он обливал гул удалявшихся пяток и взрывы громкой немецкой речи лилиевидными бликами. Точно электричество знало предание, сложенное об этом месте.

Давно-давно, лет за полтысячи до Ломоносова, когда новым годом, годом повседневности, был на земле тысяча двести тридцатый год, сверху из Марбургского замка по этим же склонам спускалось живое историческое лицо, Елизавета Венгерская.

Это такая даль, что если ее достигнуть воображением, в точке прибытия сама собой подымется снежная буря. Она возникнет от охлаждения, по закону побежденной недосягаемости. Там наступит ночь, горы оденутся лесом, в лесах заведутся дикие звери. Людские же нравы и обычаи покроются ледяной корой.

У будущей святой, канонизированной спустя три года после смерти, был духовником тиран, то есть человек без воображения. Трезвый практик видел, что истязания, налагаемые на исповедницу, приводят ее в состояние восхищения. В поисках мучений, которые были бы ей в истинную муку, он запретил ей помогать бедным и больным. Тут историю сменяет легенда. Будто бы это было ей не под силу. Будто, чтобы обелить грех ослушания, снежная вьюга заслоняла ее своим телом на пути в нижний город, превращая хлеб в цветы на срок ее ночных переходов.

Так приходится иногда природе отступать от своих законов, когда убежденный изувер чересчур настаивает на исполнении своих. Это ничего, что голос естественного права облечен тут в форму чуда. Таков критерий достоверности в религиозную эпоху.

По мере приближения к университету улица, летевшая под гору, все больше кривела и суживалась. В одном из фасадов, испекшихся в золе веков, подобно картошке, имелась стеклянная дверь. Она открывалась в коридор, выводивший на один из северных обрывов. Там была терраса, уставленная столиками и залитая электрическим светом. Терраса висела над низиной, доставлявшей когда-то столько беспокойств ландграфине. С тех пор город, расположившийся по пути ее ночных вылазок, застыл на возвышеньи в том виде, какой принял к середине шестнадцатого столетия. Низина же, растравлявшая ее душевный покой, низина, заставлявшая ее нарушать устав, низина, попрежнему приводимая в движение чудесами, шагала в полную ногу с временем.

С нее тянуло ночной сыростью. На ней сонно громыхало железо и, стекаясь и растекаясь, мызгали взад и вперед запасные пути. Что-то шумное поминутно падало и подымалось. Водяной грохот плотины до утра додерживал ровную ноту, оглушительно взятую с вечера. Режущий визг лесопильни в терцию подтягивал быкам на бойне. Что-то поминутно лопалось и озарялось, пускало пары и опрокидывалось. Что-то ерзало и заволакивалось крашеным дымом.

Кафе посещалось преимущественно философами. У других были свои. На террасе сидели Г — в и Л. и немцы, впоследствии получившие кафедры у себя и за границей. Среди датчан, англичанок, японцев и всех тех, что с'ехались со всех концов света послушать Когена, уже раздавался знакомый, разгоряченно певучий голос. Это адвокат из Барселоны, ученик Штаммлера, деятель недавней испанской революции, второй год пополняв-

щий здесь свое образование, декламировал своим знакомым Верлена.

Уже я тут многих знал и никого не дичился. Уже увязив язык в двух обещаниях, я с тревогой готовился к дням, когда буду отчитываться по Лейбницу у Гартмана и по одной из частей «Критики практического разума» у главы школы. Уже образ последнего, давно угаданный, но оказавшийся страшно недостаточным при первом знакомстве, стал моей собственностью, то есть повел во мне произвольное существование, меняясь сообразно тому, погружался ли он на дно моего бескорыстного восхищения, или же всплывал на поверхность, когда я с бредовым честолюбием новичка гадал о том, буду ли я им когда-нибудь замечен и приглашен на один из его воскресных обедов. Последнее сразу подымало человека в здешнем мнении, потому что знаменовало собою начало новой философской карьеры.

Уже я успел на нем проверить, как драматизируется большой внутренний мир в подаче большого человека. Уже я знал, как подымет голову и отступит назад хохлатый старик в очках, повествуя о греческом понятии бессмертия, и поведет рукой по воздуху, в сторону марбургской пожарной части, толкуя образ Елисейских полей. Уже я знал, как в другом каком-нибудь случае, вкрадчиво под'ехав к до-кантовой метафизике, разворкуется он, ферлякурничая с ней, да вдруг как гаркнет, и закатит ей ужасный нагоняй, с цитатами из Юма. Как, раскашлявшись в сердцах и выдержав долгую паузу, протянет он вслед за тем утомленно и миролюбиво: «Und nün, meine Herrn...»[1]. И это будет значить, что выговор веку сделан, представление кончилось, и теперь можно перейти к предмету курса.

Между тем на террасе никого почти не оставалось. На ней гасили электричество. Обнаруживалось, что уже утро. Взглянув вниз за перила, мы убеждались, что ночной низины как не бывало. Замещавшая ее панорама ничего не знала о своей ночной предшественнице.

---

[1] „Итак, милостивые государи".

2

В это время в Марбург приехали сестры В — е. Они были из богатого дома. Я в Москве еще в гимназические годы дружил со старшей и давал ей нерегулярные уроки неведомо чего. Вернее, в доме оплачивали мои беседы на самые непредвиденные темы.

Но весной 1908 года совпали сроки нашего окончания гимназии, и одновременно с собственной поготовкой я взялся готовить к экзаменам и старшую В—ю.

Большинство моих билетов содержало отделы, легкомысленно упущенные в свое время, когда их проходили в классе. Мне нехватало ночей на их прохождение. Однако урывками, не разбирая часов и, чаще всего, на рассвете, я забегал к В — ой для занятий предметами, всегда расходившимися с моими, потому что порядок наших испытаний в разных гимназиях, естественно, не совпадал. Эта путаница осложняла мое положение. Я ее не замечал. О своем чувстве к В — ой, уже не новом, я знал с четырнадцати лет.

Это была красивая милая девушка, прекрасно воспитанная и с самого младенчества избалованная старухой-француженкой, не чаявшей в ней души. Последняя лучше моего понимала, что геометрия, которую я ни свет ни заря проносил со двора ее любимице, скорее Абелярова, чем Эвклидова. И весело подчеркивая свою догадливость, она не отлучалась с наших уроков. Втайне я благодарил ее за вмешательство. В ее присутствии чувство мое могло оставаться в неприкосновенности. Я не судил его и не был ему подсуден. Мне было восемнадцать лет. По своему складу и воспитанию я все равно не мог и не осмелился бы дать ему волю.

Это было то время года, когда в горшечках с кипятком распускают краску, а на солнце, предоставленные самим себе, праздно греются сады, загроможденные сваленным отовсюду снегом. Они до краев налиты тихой, яркою водой. А за их бортами, по ту сторону заборов, стоят шеренгами вдоль горизонта садовники, грачи и колокольни, и обмениваются на весь город громкими замечаниями сто-

ва по два, по три в сутки. О створку форточки трется мокрое, шерстисто-серое небо. Оно полно неушедшей ночи. Оно молчит часами, молчит, молчит, да вдруг возьмет и вкатит в комнату круглый грохоток тележного колеса. Он обрывается так внезапно, точно это палочка-ручалочка, и у телеги другого дела не было, как с мостовой в форточку, так что теперь ей больше не водить. И еще загадочнее праздная тишина, ключами вливающаяся в дыру, вырубленную звуком.

Не знаю, отчего все это запечатлелось у меня в образе классной доски, не дочиста оттертой от мелу. О если бы остановили нас тогда, и отмыв доску до влажного блеска, вместо теорем о равновеликих пирамидах каллиграфически с нажимами изложили то, что нам обоим предстояло в будущем, о как бы мы обомлели!

Откуда же это соображение и отчего оно мне тут явилось?

Оттого что была весна, вчерне заканчивавшая выселение холодного полугодья, и кругом на земле, как неразвешанные зеркала, лицом вверх лежали озера и лужи, говорившие о том, что безумно емкий мир очищен, и помещение готово к новому найму. Оттого, что первому, кто пожелал бы тогда, дано было вновь обнять и пережить всю, какая только есть на свете жизнь. Оттого, что я любил В — ю.

3

Но на свете есть так называемое возвышенное отношение к женщине. Я скажу о нем несколько слов. Есть необозримый круг явлений, вызывающих самоубийства в отрочестве. Есть круг ошибок младенческого воображения, детских извращений, юношеских голодовок, круг Крейцеровых сонат и сонат, пишущихся против Крейцеровых сонат. Я побывал в этом кругу, и в нем позорно долго пробыл. Что же это такое?

Он истерзывает, и кроме вреда от него ничего не бывает. И однако освобождения от него никогда не будет. Все, входящие людьми в историю, всегда будут проходить через него. Потому что эти сонаты, являющиеся преддверьем к единственно полной нравственной свободе, пишут не Толстые и Ведекинды, а их руками — сама природа. И только в их взаимопротиворечии — полнота ее замысла.

Основав материю на сопротивлении, и отделив факт от мнимости плотиной, называемой любовью, она, как о целости мира, заботится о ее прочности. Здесь пункт ее помешательства, ее болезненных преувеличений. Тут поистине можно сказать, она, что ни шаг, делает из мухи слона.

Но, виноват, — слонов-то ведь она производит взаправду! Говорят, это главное ее занятие. Или это фраза? А история видов? А история человеческих имен? И ведь изготовляет-то она их именно тут, в зашлюзованных отрезках живой эволюции, у плотин, где так разыгрывается ее встревоженное воображение.

Нельзя ли в таком случае сказать, что в детстве мы преувеличиваем и у нас расстраивается воображение, потому что в это время, как из мух, природа делает из нас слонов?

Держась той философии, что только почти-невозможное действительно, она до крайности затруднила чувство всему живому. Она по-одному затруднила его животному, по-другому — растению. В том, как она затруднила его нам, сказалось ее захватывающе высокое мнение о человеке. Она затруднила его нам не какими-нибудь автоматическими хитростями, но тем, что на ее взгляд обладает для нас абсолютною силой. Она затруднила его нам ощущением нашей мушиной пошлости, которое охватывает каждого из нас тем сильнее, чем мы дальше от мухи. Это гениально изложено Андерсеном в «Гадком утенке».

Всякая литература о поле, как и самое слово «пол» отдают несносной пошлостью, и в этом их назначение. Именно только в этой омерзительности пригодны они природе, потому что как раз на страхе пошлости построен ее контакт с нами, и ничто не пошлое ее контрольных средств бы не пополняло.

Какой бы материал ни поставляла наша мысль по этому поводу, судьба

этого материала в ее руках. И с помощью инстинкта, который она прикомандировала к нам от всего своего целого, природа всегда распоряжается этим материалом так, что все усилия педагогов, направленные к облегчению естественности, ее неизменно отягощают, и так это и надо.

Это надо для того, чтобы самому чувству было что побеждать. Не эту отоpoнь, так другую. И безразлично, из какой мерзости или ерунды будет сложен барьер. Движение, приводящее к зачатию, есть самое чистое из всего, что знает вселенная. И одной этой чистоты, столько раз побеждавшей в веках, было бы достаточно, чтобы, по контрасту, все то, что не есть оно, отдавало бездонной грязью.

И есть искусство. Оно интересуется не человеком, но образом человека. Образ же человека, как оказывается, — больше человека. Он может зародиться только на ходу, и притом не на всяком. Он может зародиться только на переходе от мухи к слону.

Что делает честный человек, когда говорит только правду? За говорением правды проходит время, этим временем жизнь уходит вперед. Его правда отстает, она обманывает. Так ли надо, чтобы всегда и везде говорил человек?

И вот в искусстве ему зажат рот. В искусстве человек смолкает и затоваривает образ. И оказывается: только образ поспевает за успехами природы.

По-русски врать — значит скорее нести лишнее, чем обманывать. В таком смысле и врет искусство. Его образ обнимает жизнь, а не ищет зрителя. Его истины не изобразительны, а способны к вечному развитию. Только искусство, твердя на протяжении веков о любви, не поступает в распоряжение инстинкта для пополнения средств, затрудняющих чувство. Взяв барьер нового душевного развития, поколение сохраняет лирическую истину, а не отбрасывает, так что с очень большого расстояния можно вообразить, будто именно в лице лирической истины постепенно складывается человечество из поколений.

Все это необыкновенно. Все это захватывающе трудно.

Нравственности учит вкус, вкусу же учит сила.

4

Сестры проводили лето в Бельгии. Стороной они узнали, что я в Марбурге. В это время их вызвали на семейный сбор в Берлин. Проездом туда они пожелали меня проведать.

Они остановились в лучшей гостинице городка, в древнейшей его части. Три дня, проведеные с ними неотлучно, были так же непохожи на мою обычную жизнь, как праздник на будни. Без конца им что-то рассказывая, я упивался их смехом и знаками понимания случайных окружающих. Я их куда-то водил. Обеих видели вместо со мной на лекциях в университете. Так пришел день их от'езда.

Накануне, накрывая к ужину, кельнер сказал мне: «Das ist wohl ihr Henkersmahl nicht wahr?», т. е. «Покушайте напоследок; завтра вам на виселицу, не правда ли?»

Утром, войдя в гостиницу, я столкнулся с младшей из сестер в коридоре. Взглянув на меня и что-то сообразив, она не здороваясь отступила назад и заперлась у себя в номере. Я прошел к старшей и, страшно волнуясь, сказал, что дальше так продолжаться не может, и я прошу ее решить мою судьбу. Нового в этом, кроме одной настоятельности, ничего не было. Она поднялась со стула, пятясь назад перед явностью моего волненья, которое как бы наступало на нее. Вдруг у стены она вспомнила, что есть на свете способ прекратить все это разом, и — отказала мне. Вскоре в коридоре поднялся шум. Это поволокли сундук из соседнего номера. Затем постучались к нам. Я быстро привел себя в порядок. Пора было отправляться на вокзал. До него было пять минут ходу.

Там уменье прощаться совсем оставило меня. Лишь только я понял, что простился с одною младшей, со старшей же еще и не начинал, у перрона вырос плавно движущийся курьерский из Франкфурта, и почти в том же движеньи, быстро приняв пассажиров, быстро взял с места. Я побежал вдоль поезда и у конца перрона, разбежавшись, вскочил на

вагонную ступеньку. Тяжелая дверца не была захлопнута. Раз'яренный кондуктор преградил мне дорогу, в то же время держа меня за плечо, чтобы я чего доброго не вздумал жертвовать жизнью, устыдившись его резонов. Изнутри на площадку выбежали мои путешественницы. Кондуктору стали совать кредитки мне в избавленье и на покупку билета. Он смилостивился, я прошел за сестрами в вагон. Мы мчались в Берлин. Сказочный праздник, едва не прервавшийся, продолжался, удесятеренный бешенством движенья и блаженной головной болью ото всего только что испытанного.

Я вспрыгнул на ходу только для того, чтобы проститься, и снова забыл об этом и опять вспомнил, когда было уже поздно. Не успел я опомниться, как прошел день, настал вечер, и прижав нас к земле, на нас надвинулся гулко дышащий навес берлинского дебаркадера. Сестер должны были встретить. Было нежелательно, чтобы при моих расстроенных чувствах их увидели вместе со мною. Меня убедили, что прощанье наше состоялось, и только я его не заметил. Я потонул в толпе, сжатой газообразными гулами вокзала.

Была ночь, моросил скверный дождик. До Берлина мне не было никакого дела. Ближайший поезд в нужном мне направленьи отходил поутру. Я свободно мог бы дождаться его на вокзале. Но мне невозможно было оставаться на людях. Лицо мне подергивала судорога, к глазам поминутно подступали слезы. Моя жажда последнего, до конца опустошающего прощанья осталась неутоленной. Она была подобна потребности в большой каденции, расшатывающей больную музыку до корня, с тем, чтобы вдруг удалить ее всю одним рывком последнего аккорда. Но в этом облегченьи мне было отказано. И какая-то хроматическая тоска кружила меня.

Была ночь, моросил скверный дождик. На привокзальном асфальте было так же дымно, как на дебаркадере, где мячом в веревочной сетке пучилось в железе стекло шатра. Перецокиванье улиц походило на углекислые взрывы. Все было затянуто тихим брожением дождя. По непредвиденности оказии я был в чем вышел из дому, то есть без пальто, без вещей, без документов. Из номеров меня выпроваживали с одного взгляда, вежливо отговариваясь их переполненностью. Нашлось наконец место, где легкость моего хода не составила препятствий. Это были номера последнего разбора. Оставшись один в комнате, я сел боком на стул, стоявший у окна. Рядом был столик. Я уронил на него голову.

Зачем я так подробно обозначаю свою позу? Потому, что я пробыл в ней всю ночь. Изредка, точно от чьего-то прикосновенья, я подымал голову и что-то делал со стеной, широко уходившей вкось от меня под темный потолок. Я как саженью промерял ее снизу своей неглядящей пристальностью. Тогда рыданья возобновлялись. Я вновь падал лицом на руки.

Я обозначил положенье моего тела с такой точностью, потому что это было его утреннее положенье на ступеньке летевшего поезда, и оно ему запомнилось. Это была поза человека, отвалившегося от чего-то высокого, что долго держало его и несло, а потом упустило и, с шумом пронесясь над его головой, скрылось навеки за поворотом.

Наконец я стал на ноги. Я оглядел комнату и распахнул окно. Ночь прошла, дождь повис туманной пылью. Нельзя было оказать, идет ли он или уже перестал. За номер было уплачено вперед. В вестибюле не было ни души. Я ушел, никому не сказавшись.

5

Тут только бросилось мне в глаза то, что началось вероятно раньше, но все время заслонялось близостью случившегося и уродливостью того, как плачет взрослый человек.

Меня окружали изменившиеся вещи. В существо действительности закралось что-то неиспытанное. Утро знало меня в лицо и явилось точно затем, чтобы быть при мне и меня **никогда** не оставить. Туман рассеялся, обещая жаркий день. Мало-помалу город стал приходить в движенье. По всем направленьям заскользили тележки, велосипеды, фурго-

ны и поезда. Над ними незримыми султанами змеились людские планы и вожделенья. Они дымились и двигались со сжатостью близких и без об'ясненья понятных притч. Птицы, дома и собаки, деревья и лошади, тюльпаны и люди стали короче и отрывистей, чем их знало детство. Свежий лаконизм жизни открылся мне, перешел через дорогу, взял за руку и повел по тротуару. Менее чем когда-либо я заслуживал братства с этим огромным летним небом. Но об этом пока не говорилось. Временно мне все прощалось. Я должен был где-то в будущем отработать утру его доверье. И все кругом было до головокруженья надежно, как закон, согласно которому по т а к и м ссудам никогда в долгу не остаются.

Достав без труда билет, я занял место в поезде. Ждать отхода пришлось недолго. И вот я вновь катил из Берлина в Марбург, но на этот раз, в отличье от первого,—днем, на готовое и совершенно другим человеком. Я катил с удобством на деньги, заимообразно взятые у В., и образ моей марбургской комнаты то-и-дело мысленно вставал предо мною.

Против меня, задом к цели движенья, куря, качались в ряд: человек в пенсне, норовившем соскользнуть с носа в близко подставленную газету, чиновник лесного департамента с ягдташем через плечо и ружьем на дне вещевой сетки, и еще кто-то и кто-то еще. Они стесняли меня не больше марбургской комнаты, мысленно видевшейся мне. Род моего молчанья их гипнотизировал. Изредка я намеренно его нарушал, чтобы проверить его власть над ними. Его понимали. Оно ехало со мной, я состоял в пути при его особе и носил его форму, каждому знакомую по собственному опыту. А то, разумеется, соседи не платили бы мне безмолвным участием за то, что я скорее любезно третировал их, чем с ними общался, и скорее без позы позировал отделению, чем в нем сидел. Ласки и собачьего чутья в купэ было больше, чем сигарного и паровозного дыма, навстречу мчались старые города, и обстановка моей марбургской комнаты от времени до времени мысленно виделась мне. По какой причине?

Недели за две до наезда сестер произошла безделица, для меня тогда немаловажная. Я выступил докладчиком в обоих семинариях. Доклады удались мне. Они получили одобрение.

Меня уговорили поподробнее развить свои положенья и представить их еще в исходе летнего семестра. Я ухватился за эту мысль и заработал с удвоенным жаром.

Но именно по этому пылу искушенный наблюдатель определил бы, что ученого из меня никогда не выйдет. Я п е р е ж и в а л изученье науки сильнее, чем это требуется предметом. Какое-то растительное мышленье сидело во мне. Его особенностью было то, что любое второстепенное понятье, безмерно развертываясь в моем толкованьи, начинало требовать для себя пищи и ухода, и, когда я под его влияньем обращался к книгам, я тянулся к ним не из бескорыстного интереса к знанью, а за литературными ссылками в его пользу. Несмотря на то, что работа моя осуществлялась с помощью логики, воображенья, бумаги и чернил, больше всего я любил ее за то, что по мере писанья она обрастала все сгущавшимся убором книжных цитат и сопоставлений. А так как при ограниченности срока мне в известную минуту пришлось отказаться от выписок, взамен которых я просто стал оставлять авторов на нужных мне разгибах, то наступил момент, когда тема моей работы матерьялизовалась и стала обозрима простым глазом с порога комнаты. Она вытянулась поперек помещенья подобьем древовидного папоротника, налегая своими лиственными разворотами на стол, диван и подоконник. Разрознить книги значило разорвать ход моей аргументации, полная же их уборка была равносильна сожжению неперебеленной рукописи. Хозяйке было строго-настрого запрещено к ним прикасаться. В последнее время у меня не убирали. И когда дорогой в вагоне я видел в воображении свою комнату, я, собственно говоря, видел во плоти свою философию и ее вероятную судьбу.

6

По приезде я не узнал Марбурга. Гора выросла и втянулась, город исхудал и почернел.

Мне отворила хозяйка. С головы до ног оглядев меня, она попросила, чтобы впредь в таких случаях я заблаговременно извещал ее или ее дочь. Я сказал, что не мог их предупредить заранее, потому что встретил надобность, не заходя к себе, срочно побывать в Берлине. Она посмотрела на меня еще насмешливей. Мое быстрое появление налегке, как с вечерней прогулки, с другого конца Германии не укладывалось в ее понятья. Это показалось ей неудачной выдумкой. Все время покачивая головой, она подала мне два письма. Одно было закрытое, другое — местною открыткой. Закрытое было от петербургской двоюродной сестры, неожиданно очутившейся во Франкфурте. Она сообщала, что направляется в Швейцарию и во Франкфурте пробудет три дня. Открытка, на треть исписанная безлично аккуратным почерком, была подписана другою, слишком знакомою по подписям под университетскими об'явлениями рукой Когена. Она содержала приглашенье на обед в ближайшее воскресенье.

Между мной и хозяйкой произошел по-немецки такой, примерно, разговор: «Какой нынче день?»—«Суббота».—«Я чаю пить не буду. Да, чтоб не забыть. Мне завтра во Франкфурт, разбудите меня пожалуйста к первому поезду».—«Но ведь, если не ошибаюсь, господин тайный советник...».—«Пустяки, успею». —«Но это невозможно. У господина тайного советника садятся за стол в двенадцать, а вы...».

Но в этом попеченьи обо мне было что-то неприличное. Выразительно взглянув на старушку, я прошел к себе в комнату.

Я присел на кровать в состоянии рассеянности, вряд ли длившейся больше минуты, после чего, справясь с волной ненужного сожаленья, сходил на кухню за щеткой и совком и замкнул дверь. Скинув пиджак и засучив рукава, я приступил к разборке коленчатого растенья. Спустя полчаса комната была как в день в'езда, и даже книги из фундаментальной не нарушали ее порядка. Аккуратно увязав их в четыре тючка, чтобы были под рукою, как будет случай в библиотеку, я задвинул их ногою глубоко под кровать. В это время ко мне постучалась хозяйка. Она шла сообщить по указателю точный час отхода завтрашнего поезда. При виде происшедшей перемены она вся замерла и вдруг, тряхнув юбками, кофтой и наколкой, как шарообразно вспыренным опереньем, в состояньи трепещущего окоченения поплыла мне навстречу по воздуху. Протянув руку, она деревянно и торжественно поздравила меня с окончанием трудной работы. Мне не хотелось разочаровывать ее в другой раз. Я оставил ее в ее благородном заблужденьи.

Потом я умылся и, утираясь, вышел на балкон. Вечерело. Растирая шею полотенцем, я смотрел вдаль, на дорогу, соединявшую Окергаузен и Марбург. Уже нельзя было вспомнить, как смотрел я в ту сторону в вечер своего приезда. Конец, конец. Конец философии, то есть какой бы то ни было мысли о ней. Как и соседям по купе, ей придется считаться с тем, что всякое живое потрясенье есть переход в новую веру.

7

Удивительно, что я не тогда же уехал на родину. Ценность города была в его философской школе. Я в ней больше не нуждался. Но у него об'явилась другая.

Существует психология творчества, проблемы поэтики. Между тем изо всего искусства именно его происхождение переживается всего непосредственнее, и о нем не приходится строить догадок.

Мы перестаем узнавать действительность. Она предстает в какой-то новой категории. Категория эта кажется нам ее собственным, а не нашим состояньем. Помимо этого состоянья все на свете названо. Не названо и ново только оно. Мы пробуем его назвать. Получается искусство.

Самое ясное, запоминающееся и важное в искусстве есть его возникновенье, и лучшие произведенья мира, повествуя

наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своем рождении. Впервые во всем об'еме я это понял в описываемое время.

Хотя за об'ясненьями с В—ой не произошло ничего такого, что изменило бы мое положение, они сопровождались неожиданностями, похожими на счастье. Я приходил в отчаянье, она меня утешала. Но одно ее прикосновенье было таким благом, что смывало волной ликованья отчетливую горечь услышанного и не подлежавшего отмене. Обстоятельства дня походили на шибкую и шумную беготню. Все время мы точно влетали с разбега во мрак и, не переводя дыханья, стрелой выбегали наружу. Так, ни разу не присмотревшись, мы раз двадцать в течение дня побывали в трюме, полном народу, откуда приводится в движенье гребная галера времени. Это был именно тот взрослый, зрелый мир, к которому я с детских лет так яро ревновал В—ую, по-гимназически любив гимназистку.

Вернувшись в Марбург, я оказался в разлуке не с девочкой, которую знал в продолженьи шести лет, а с женщиной, виденной несколько мгновений после ее отказа. Мои плечи и руки больше не принадлежали мне. Они, как чужие, просились от меня в цепи, которыми человека приковывают к общему делу. Потому что вне железа я не мог теперь думать уже и о ней, и любил только в железе, только пленницею, только за холодный пот, в котором отбывает красота свою повинность. Всякая мысль о ней моментально смыкала меня с тем артельно хоровым, что полнит мир лесом вдохновенно-затверженных движений и похоже на сраженье, на каторгу, на средневековый ад и мастерство. Я разумею то, чего не знают дети и что я назову чувствованьем настоящего.

В начале «Охранной грамоты» я сказал, что временами любовь обгоняла солнце. Я имел в виду очевидность чувства, которая каждое утро опережала все кругом достоверностью вести, только что в сотый раз наново подтвержденной. В сравненьи с ней даже восход солнца приобретал характер городской новости, хотя и сенсационной, но еще требующей поверки. Другими словами, я имел в виду очевидность силы, перевешивающую очевидность света.

Если бы при знаньях, способностях и досуге я задумал теперь писать творческую эстетику, я построил бы ее на двух понятьях — на понятьи силы и понятьи символа. Я показал бы, что в отличье от науки, берущей природу в разрезе светового столба, искусство интересуется жизнью при прохожденьи сквозь нее луча силового. Понятье силы я взял бы в том же широчайшем смысле, в каком берет его теоретическая физика, с той только разницей, что речь шла бы не о принципе силы, а о ее голосе или о ее присутствии. Я пояснил бы, что в рамках самосознания сила называется чувством.

Когда мы воображаем, будто в Тристане, Ромео и Юлии и других памятниках изображается сильная страсть, мы недооцениваем содержанья. Их тема шире, чем эта сильная тема. Тема их — тема силы.

Из этой темы и рождается искусство. Оно более одностороннe, чем думают. Его нельзя направить по произволу куда захочется, как телескоп. Наставленное на действительность, смещаемую чувством, искусство есть запись этого смещенья. Оно его списывает с натуры. Как же смещается натура? Подробности выигрывают в яркости, проигрывая в самостоятельности значенья. Каждую можно заменить другою. Любая драгоценна. Любая на выбор годится в свидетельства состоянья, которым охвачена вся переместившаяся действительность.

Когда признаки этого состоянья перенесены на бумагу, особенности жизни становятся особенностями творчества. Вторые бросаются в глаза резче первых. Они лучше изучены. Для них имеются термины. Их называют приемами.

Искусство реалистично, как деятельность, и— символистично, как факт. Оно реалистично тем, что не само выдумало метафору, а нашло ее в природе и свято воспроизвело. Переноcный смысл точно так же не значит ничего в отдельности, а отсылает к общему духу всего искусства, как не значат ничего порознь части смещенной действительности.

Фигурой всей своей тяги и символично искусство. Его единственный символ в яркости и необязательности образов, свойственной ему всему. Взаимозаменимость образов есть признак положенья, при котором части действительности взаимно безразличны. Взаимозаменимость образов, то есть искусство, есть символ силы.

Собственно только сила и нуждается в языке вещественных доказательств. Остальные стороны сознанья долговечны без замет. У них прямая дорога к воззрительным аналогиям света: к числу, к точному понятью, к идее. Но ничем, кроме движущегося языка образов, то-есть языка сопроводительных признаков, не выразить себя силе, факту силы, силе длительной лишь в момент явленья. Прямая речь чувства иносказательна и ее нечем заменить[1].

8

Я ездил к сестре во Франкфурт, и к своим, к тому времени приехавшим в Баварию. Ко мне наезжал брат, а потом и отец. Но ничего этого я не замечал. Я основательно занялся стихописаньем. Днем и ночью и когда придется я писал о море, о рассвете, о южном дожде, о каменном угле Гарца. Однажды я особенно увлекся. Была ночь из тех, что с трудом добираются до ближайшего забора и, выбившись из сил, в угаре усталости свешиваются над землей. Полнейшее безветрие. Единственный признак жизни—это именно черный профиль неба, бессильно прислонившегося к плетню. И другой. Крепкий запах цветущего табака и левкоя, которым в ответ на это изнеможенье откликается земля. С чем только не сравнимо небо в такую ночь! Крупные звезды,— как званый вечер, млечный путь — как большое общество. Но еще больше напоминает меловая мазня диагонально протянутых пространств ночную садовую грядку. Тут гелиотроп и метиолы. Их вечером полили и свалили набок. Цветы и звезды так сближены, что, похоже, и небо попало под лейку и теперь звезд и белокрапчатой травки не расцепить.

Я увлеченно писал, и—другая, нежели раньше, пыль покрывала мой стол. Та, прежняя, философская, скоплялась из отщепенства, из дрожи за целость моего труда. Нынешней я не стирал солидарности ради, из симпатии к щебню Гиссенской дороги. И на дальнем конце столовой клеенки, как звезда на небе, блестел давно немытый чайный стакан.

Вдруг я встал, пронятый потом этого дурацкого всерастворенья, и зашагал по комнате. «Что за свинство, — подумал я. — Разве он не останется для меня гением? Разве это с н и м я разрываю? Его открытке и моим подлым пряткам от него уже третья неделя. Надо об'ясниться. Но как это сделать?»

И я вспомнил, как он педантичен и строг. «Was ist Apperzeption»? — спрашивает он у экзаменующегося не-специалиста, и на его перевод с латинского, что это означает... durchfassen (прощупать) — «Nein, das heisst durchfallen» (нет, это значит проваliться),—раздается в ответ.

У него в семинариях читали классиков. Он обрывал среди чтенья и спрашивал, к чему клонит автор. Назвать понятье требовалось наотруб, одним существительным, по-солдатски. Не только расплывчатости, но и близости к истине, взамен ее самой, он не терпел.

Он был туг на правое ухо. Именно с этой стороны подсел я к нему разбирать свой урок из Канта. Он дал мне разойтись и забыться, и когда я всего меньше этого ожидал, огорошил своим обычным: «Was meint der Alte?» (Что разумеет старик?)

Я не помню, что это было такое, но допустим, что по таблице умноженья идей на это полагалось ответить, как на пятью пять.—«Двадцать пять»,—ответил я. Он поморщился и махнул рукой в сторону. Последовало легкое видоизмененье ответа, не удовлетворившее его

[1] Во избежание недоразумений напомню. Я говорю не о матерьяльном наполнении и содержаньи искусства, а о смысле его явленья, о его месте в жизни. Отдельные образы, сами по себе— воззрительны и зиждутся на световой аналогии. Отдельные слова искусства, как и все понятия, живут познаньем. Но не поддающееся цитированью слово всего искусства состоит в иносказаньи и символически говорит о силе.

своей несмелостью. Легко догадаться, что пока он тыкал в пространство, вызывая знающих, мой ответ варьировался со все возраставшей сложностью. Все же пока говорилось о двух с половиной десятках или, примерно, о полусотне, разделенной на двое. Но именно увеличивавшаяся нескладность ответов приводила его во все большее раздраженье. Повторить же то, что сказал я, после его брезгливой мины, никто не решался. Тогда с движеньем, понятым как, дескать, выручай, Камчатка, он колыхнулся к другим. И: шестьдесят два, девяносто восемь, двести четырнадцать — радостно загремело кругом. Подняв руки, он еле унял бурю разликовавшегося вранья и, повернувшись в мою сторону, тихо и сухо повторил мне мой собственный ответ. Последовала новая буря — мне в защиту. Когда он взял все в толк, то оглядел меня, потрепал по плечу и спросил, откуда я и с какого у них семестра. Затем, сопя и хмурясь, попросил продолжать, все время приговаривая: «Sehr recht, sehr richtig. Sie merken wohl? Ja, ja. Ach, ach, der Alte!» (Правильно, правильно. Вы догадываетесь? Ах, ах, старик!) И много чего еще вспомнил я.

Ну как подступишься к такому? Что я скажу ему? «Verse»? — протянет он, «Verse»! Мало изучил он человеческую бездарность и ее уловки? — «Verse».

9

Вероятно все это было в июле, потому что цвели еще липы. Продираясь сквозь алмазины восковых соцветий, как сквозь зажигательные стекла, солнце черными кркужочками прожигало пыльные листья.

Я уже и раньше часто проходил мимо учебной площадки. В полдень над ней трамбовочным хопром ходила пыль, и слышалось глухое содрогающееся бряцанье. Там учили солдат, и в часы ученья перед плацем застаивались зеваки, — мальчики из колбасных с лотками на плечах и городские школьники. И правда, было на что поглядеть. Врассыпную по всему полю попарно подскакивали и клевали друг друга шарообразные истуканы, похожие на петухов в мешках. На солдатах были стеганые ватники и наголовники из железной сетки. Их обучали фехтованью.

Зрелище не представляло для меня ничего нового. Я вдоволь на него наглядедся в теченье лета.

Однако утром после описанной ночи, идучи в город и поровнявшись с полем, я вдруг вспомнил, что не дальше часу видел это поле во сне.

Так и не решив ничего ночью насчет Когена, я лег на рассвете, проспал утро, и вот, перед самым пробужденьем оно приснилось мне. Это был сон о будущей войне, достаточный, как говорят математики, и необходимый.

Давно замечено, что как много ни твердит о военном времени устав, вдалбливаемый в ротах и эскадронах, перехода от посылок к выводу мирная мысль не в силах произвести. Ежедневно Марбург, строем не проходимый по причине его тесноты, обходили низом бледные и до лбов запыленные егеря в выгоревших мундирах. Но самое большее, что могло притти в голову при их виде, так это писчебумажные лавки, где тех же егерей продавали листами, с гуммиарабиком в премию к каждой закупленной дюжине.

Другое дело во сне. Тут впечатления не ограничивались надобностями привычки. Тут двигались и умозаключали краски.

Мне снилось пустынное поле, и что-то подсказывало, что это — Марбург в осаде. Мимо проходили гуськом, подталкивая тачки, бледные долговязые Неттельбеки. Был какой-то темный час дня, какого не бывает на свете. Сон был во фридерицианском стиле, с шанцами и земляными укреплениями. На батарейных высотах чуть отличимо рисовались люди с подзорными трубами. Их с физической осязательностью обнимала тишина, какой не бывает на свете. Она рыхлой земляною вьюгой пульсировала в воздухе, и не стояла, а с о в е р ш а л а с ь. Точно ее все время подкидывали откуда-то с лопат. Это было самое грустное сновиденье из всех, какие мне когда являлись. Вероятно я плакал во сне.

Во мне глубоко сидела история с В—ой. У меня было здоровое сердце.

Оно хорошо работало. Работая ночью, оно подцепляло случайнейшие и самые бросовые из впечатлений дня. И вот оно задело за экзерцирплац, и его толчка было достаточно, чтобы механизм учебного поля пришел в движенье, и само сновиденье, на своем круглом ходу, тихо пробило: «Я — сновиденье о войне».

Я не знаю, зачем я направлялся в город, но с такой тяжестью в душе, точно и голова у меня была набита землей для каких-то фортификационных целей.

Было обеденное время. В университете знакомых в этот час не оказалось. Семинарская читальня пустовала. К ней снизу подступали частные зданья городка. Жара была немилосердная. Там и сям у подоконников возникали утопленники с отжеванными набок воротниками. За ними всплывали мученицы в капотах, проварившихся на теле, как в прачечных котлах. Я повернул домой, решив итти верхом, где под замковой стеной было много тенистых вилл.

Их сады пластом лежали на кузничном зное, и только стебли роз, точно сейчас с наковальни, горделиво гнулись на синем медленном огне. Я мечтал о переулочке, круто спускавшемся вниз за одной из таких вилл. Там была тень. Я это знал. Я решил свернуть в него и немного отдышаться. Каково же было мое изумленье, когда в том же обалденьи, в каком я собрался в нем расположиться, я в нем увидел профессора Германа Когена. Он меня заметил. Отступленье было отрезано.

Моему сыну седьмой год. Когда, не поняв французской фразы, он лишь догадывается о ее смысле по ситуации, среди которой ее произносят, он говорит: «Я это понял не из слов, а п о п р и ч и н е». И точка. Не по причине того-то и того-то, а: п о н я л по причине.

Я воспользуюсь его терминологией, чтобы ум, которым д о х о д я т, в отличье от ума, который прогуливают ради манежной гигиены, назвать у м о м п р и ч и н н ы м.

Такой причинный ум был у Когена. Беседовать с ним было страшновато, прогуливаться—нешуточно. Опираясь на палку, рядом с вами, с частыми остановками подвигался реальный дух математической физики, приблизительно путем такой же поступи, шаг за шагом подобравшей свои главные основоположения. Этот университетский профессор в широком сюртуке и мягкой шляпе был в известном градусе налит драгоценною эссенцией, укупоривавшейся в старину по головам Галилеев, Ньютонов, Лейбницев и Паскалей.

Он не любил говорить на ходу, а только слушал болтовню спутников, всегда негладкую ввиду ступенчатости марбургских тротуаров. Он шагал, слушал, внезапно останавливался, изрекал что-нибудь едкое по поводу выслушанного и, оттолкнувшись палкой от тротуара, продолжал шествие до следующей афористической передышки.

В таких чертах и шел наш разговор. Упоминанье о моей оплошности только ее усугубило, — он дал мне это понять убийственным образом без слов, ничего не прибавив к насмешливому молчанью упертой в камень палки. Его интересовали мои планы. Он их не одобрял. По его мненью, следовало остаться у них до докторского экзамена, сдать его и лишь после того возвращаться домой для сдачи государственного, с таким расчетом, чтобы, может быть, впоследствии вернуться на Запад и там обосноваться. Я благодарил его со всей пылкостью за это гостеприимство. Но моя признательность говорила ему гораздо меньше, чем моя тяга в Москву. В том, как я преподносил ее, он без ошибки улавливал какую-то фальшь и бестолочь, которые его оскорбляли, потому что при загадочной непродолжительности жизни он терпеть не мог искусственно укорачивающих ее загадок. И сдерживая свое раздраженье, он медленно спускался с плиты на плиту, дожидаясь, не скажет ли наконец человек дела после столь явных и томительных пустяков.

Но как мог я сказать ему, что философию забрасываю бесповоротно, кончать же в Москве собираюсь, как большинство, лишь бы кончить, а о последующем возвращеньи в Марбург даже и не помышляю? Ему, прощальные слова которого перед выходом на пенсию были о верности большой философии, сказанные университету так, что по ска-

ньям, где было много молодых слушательниц, замелькали носовые платочки.

10

В начале августа наши перебрались из Баварии в Италию и звали меня в Пизу. Мои средства истощались, их едва хватало на возвращенье в Москву. Как-то вечером, каких впереди предвиделось немало, сидел я с Г—вым на исконной нашей террасе и жаловался на печальное состоянье моих финансов. Он его обсуждал. Ему в разные времена довелось бедствовать всерьез, и как раз в такие периоды он много пошатался по свету. Он живал в Англии и в Италии и знал способы прожить в путешествии почти задаром. Его план был таков, что на остаток денег мне следовало бы с'ездить в Венецию и во Флоренцию, а потом к родителям, на поправочный прикорм и за новой субсидией на обратную поездку, в чем при скупом расходованьи остатка, может быть, и не встретилось бы надобности. Он стал наносить на бумагу цифры, давшие и правда прескромный итог.

В кафе со всеми нами дружил старший кельнер.

Он знал подноготную каждого из нас. Когда в разгар моих испытаний в гости ко мне приехал брат и стал стеснять днем в работе, чудак открыл у него редкие данные для бильярда и так приохотил к игре, что тот с утра уходил к нему совершенствоваться, оставляя комнату на весь день в мое распоряженье.

Он принял живейшее участье в обсужденьи итальянского плана. Поминутно отлучаясь, он возвращался, и стуча карандашом по Г—ской смете, находил даже и ее недостаточно экономной.

Прибежав с одной из таких отлучек с толстым справочником под мышкой, он поставил на стол поднос с тремя бокалами клубничного пунша и, раскорячив справочник, дважды прогнал его весь с начала и с конца. Найдя в вихре страниц, какую хотел, он об'явил, что ехать мне надо этой же ночью курьерским в три с минутами, в ознаменование чего предложил выпить вместе с ним за мою поездку.

Я недолго колебался. В самом деле, думал я, следя за ходом его рассуждений. Отписка из университета получена. Зачетные отметки в порядке. Сейчас половина одиннадцатого. Разбудить хозяйку грех небольшой. Времени на укладку за глаза. Решено и подписано. Еду.

Он пришел в такой восторг, точно ему самому на другой день предстоял Базель.

— Послушайте,—сказал он, облизнувшись и собрав пустые бокалы.—Вглядимтесь в друг друга попристальней, такой у нас обычай. Это может пригодиться, ничего нельзя знать наперед.

Я рассмеялся в ответ и уверил, что это излишне, потому что давно уже сделано и что я никогда его не забуду. Мы простились. Я вышел вслед за Г—вым, и смутный звон никелированных приборов смолк за нами, как мне тогда казалось,—навсегда.

Спустя несколько часов, изговорившись в лоск и до одури нашагавшись по городку, быстро истощившему небольшой запас своих улиц, мы с Г—вым спустились в прилегавшее к вокзалу предместье. Нас окружал туман. Мы неподвижно стояли в нем, как скот на водопое, и упорно курили с тем молчаливым тупоумьем, от которого то-и-дело тухнут папиросы. Мало-по-малу стал брезжить день. Огороды гусиной кожей стянула роса. Из мглы вырвались грядки атласной рассады. Вдруг на этой стадии светанья город вырисовался весь разом на присущей ему высоте. Там спали. Там были церкви, замок и университет. Но они еще сливались с серым небом, как клок паутины на сырой швабре. Мне даже показалось, что, едва выступив, город стал расплываться, как след дыханья, прерванного на полушаге от окна.

— Ну, пора!—сказал Г—в.

Светало. Мы быстро расхаживали по каменному перрону. В лицо нам, как камни, летели из тумана куски близившегося грохота. Подлетел поезд, я обнялся с товарищем и, вскинув кверху чемодан, вскочил на площадку. Криком раскатились кремни бетона, щелкнула дверца, я прижался к окну. Поезд по дуге срезал все пережитое, и раньше чем

я ждал, пронеслись, налетая друг на друга—Лан, переезд, шоссе и мой недавний дом. Я рвал книзу оконную раму, она не подавалась. Вдруг она со стуком опустилась сама. Я высунулся, что было мочи, наружу. Вагон шатало на стремительном повороте, ничего не было видно. Прощай философия, прощай молодость, прощай Германия!..

11

Прошло шесть лет. Когда все забылось. Когда протянулась и кончилась война и разразилась революция, в низкие полутораэтажные сумерки приполз по снегу из тьмы и раздался в квартире вневременный звонок по телефону.

Кто у телефона?—спросил я.

— Г—в,—последовал ответ. Я даже не удивился, так это было удивительно.

— Где вы?—вневременно выдавил я из себя. Он ответил. Новая нелепость. Место оказалось у нас под боком перейдя двор.

Он звонил из бывшей гостиницы, занятой общежитием Наркомпроса. Через минуту я сидел у него. Жена его ничуть не изменилась. Детей я раньше не знал.

Но вот что было неожиданно. Оказалось, что он все эти годы прожил на земле, как все, и—хотя за границей, но все под той же пасмурной войной за освобожденье малых народностей. Я узнал, что он недавно из Лондона. И не то в партии, не то ярый ее сочувственник. Служит. С переездом правительства в Москву автоматически переведен при подлежащей части наркомпросовского аппарата. Оттого и сосед. Вот и все.

А я бежал к нему, как к марбуржцу. Не для того, конечно, чтобы с его помощью начать жизнь сызнова с того туманного далекого рассвета, когда мы стояли во мгле, точно скот на коровьем броде, — и на этот раз поосторожнее, без войны, по возможности. О, конечно, не для того. Но зная наперед, что подобная реприза немыслима, я бежал удостовериться, чем она немыслима в моей жизни.

Впоследствии мне посчастливилось еще раз наведаться в Марбург. Я провел в нем два дня в феврале двадцать третьего года. Я ездил туда с женой, но не догадался его ей приблизить. Этим я провинился перед обоими. Однако и мне было трудно. Я видел Германию до войны, и вот увидел после нее. То, что произошло на свете, явилось мне в самом страшном раккурсе. Это был период Рурской оккупации. Германия голодала и холодала, ничем не обманываясь, никого не обманывая, с протянутой временам, как за подаяньем, рукой (жест для нее несвойственный), и вся поголовно на костылях. К моему удивленью, хозяйку я застал в живых. При виде меня она и дочь всплеснули руками. Обе сидели на тех же местах, что и одиннадцать лет назад, и шили, когда я явился. Комната сдавалась внаймы. Мне ее открыли. Я бы ее не узнал, если бы не дорога из Окерсгаузена в Марбург. Она, как прежде, виднелась в окне. И была зима. Неопрятность пустой захоложенной комнаты, голые ветлы на горизонте, все это было необычно. Ландшафт, когда-то слишком думавший о Тридцатилетней войне, кончил тем, что сам ее себе напророчил. Уезжая, я зашел в кондитерскую и послал обеим женщинам большой ореховый торт.

А теперь о Когене... Когена нельзя было видеть. Коген умер.

12

Итак — станции, станции, станции. Станции, каменными крутящимися мотыльками летящие в хвост поезда...

В Базеле была воскресная тишина, так что слышно было, как ласточки, снуя, оцарапывали крыльями карнизы. Пылающие стены глазными яблоками закатывались под навесы черновишневых черепичных крыш. Весь город щурил и топырил их, как ресницы. И тем же гончарным пожаром, каким горел дикий виноград на особняках, горело горшечное золото примитивов в чистом и прохладном музее.

«Zwei francs vierzig centimes»[1] — изумительно чисто произносит в лавке крестьянка в костюме кантона, но место слиянья обоих речевых бассейнов еще не тут, а направо, за низко нависшую

[1] Два франка сорок сантимов.

крышу, на юг от нее, по жаркой, вольно раздавшейся федеральной лазури, и все время в гору. Где-то под St. Gothard'ом, и — глубокой ночью, говорят.

И такое-то место я проспал, утомленный ночными бденьями двухсуточной дороги! Единственную ночь жизни, когда не подобало спать, — почти как какое-то «Симон, ты спишь?» —да простится мне. И все же, мгновеньями, пробуждался, стойком у окна, на позорно короткие минуты, «ибо глаза у них отяжелели»,—и тогда...

Крутом галдел мирской сход недвижно столпившихся вершин. Ага, значит, пока я дремал, и, давая свисток за свистком, мы винтом в холодном дыму ввинчивались из туннеля в туннель, нас успело обступить дыханье, на три тысячи метров превосходящее наше природное? Была непроглянейшая тьма, но эхо наполняло ее выпуклою скульптурой звуков. Беззастенчиво громко разговаривали пропасти, по-кумовски перемывая косточки земле. Всюду, всюду, всюду судачили, сплетничали и сочились ручьи. Легко было угадать, как развешаны они по крутизнам и спущены сучеными нитками вниз в долину. А сверху на поезд соскакивали висячие отвесы, рассаживались на крышах вагонов и перекрикиваясь и болтая ногами, предавались бесплатному катанью.

Но сон одолевал меня, и я впадал в недопустимую дремоту у порога снегов, под слепыми Эдиповыми белками Альпов, на вершине демонического совершенства планеты. На высоте поцелуя, который она, как Микель-Анджелова ночь, самовлюбленно кладет здесь на свое собственное плечо.

Когда я проснулся, чистое альпийское утро смотрело в окна. Какое-то препятствие, вроде обвала, остановило поезд. Нам предложили перейти в другой. Мы пошли по рельсам горной дороги. Лента полотна вилась разобщенными панорамами, точно дорогу все время совали за угол, как краденое. Мои вещи нес босой мальчик-итальянец, совершенно такой, каких изображают на шоколадных обертках. Где-то неподалеку музицировало его стадо. Звяканье колокольчиков падало ленивыми встрясками и отмашками. Музыку сосали слепни, на ней дергом ходила кожа. Благоухали ромашки, и ни на минуту не прекращалось переливанье из пустого в порожнее незримо шлепавшихся отовсюду вод.

Следствия недосыпанья не замедлили сказаться. Я был в Милане полдня и не запомнил его. Только собор, все время менявшийся в лице, пока я шел к нему городом, в зависимости от перекрестков, с которых он последовательно открывался, смутно запечатлелся мне. Он тающим глетчером неоднократно вырастал на синем отвесе августовской жары, и словно питал льдом и водой многочисленные кофейни Милана. Когда наконец неширокая площадь поставила меня к его подошве, и я задрал голову, он с'ехал в меня всем хором и шорохом своих пилястр и башенок, как снежная пробка по коленчатому голенищу весенней водосточной трубы.

Однако я едва держался на ногах, и первое, что обещал себе по прибытии в Венецию, так это основательно отоспаться.

13

Когда я вышел из вокзального зданья с провинциальным навесом в каком-то акцизно-таможенном стиле, что-то плавное тихо скользнуло мне под ноги. Что-то злокачественно-темное, как помои, и тронутое двумя тремя блестками звезд. Оно почти неразличимо опускалось и подымалось, и было похоже на почерневшую от времени живопись в качающейся раме. Я не сразу понял, что это изображенье Венеции и есть Венеция. Что я — в ней, что это мне не снится.

Привокзальный канал слепой кишкой уходил за угол, к дальнейшим чудесам этой пловучей галлереи на клоаке. Я поспешил к стоянке дешевых пароходиков, заменяющих тут трамвай.

Катер потел и задыхался, утирал нос и захлебывался, и тою же невозмутимой гладью, по которой тащились его затонувшие усы, плыли по полукругу, постепенно от нас отставая, дворцы Большого канала. Их зовут дворцами и могли бы звать чертогами и все равно никакие слова не могут дать понятия о коврах из цветного мрамора, отвесно спущен-

ных в ночную лагуну, как на арену средневекового турнира.

Есть особый елочный восток, восток прерафаелитов. Есть представленье о звездной ночи по легенде о поклоненьи волхвов. Есть извечный рождественский рельеф: забрызганная синим парафином поверхность золоченого грецкого ореха. Есть слова: халва и Халдея, маги и магний, Индия и индиго. К ним надо отнести и колорит ночной Венеции и ее водных отражений.

Как бы для того, чтобы тем прочней утвердить в русском ухе его ореховую гамму, на катере, пристающем то к одному берегу, то к другому, выкрикивают к сведению пассажиров: Fondaco dei turchi! Fondaco dei tedeschi!» Но разумеется, названья кварталов ничего общего с фундуками не имеют, а заключают воспоминанья о караван-сараях, когда-то основанных турецкими и германскими купцами.

Я не помню, перед каким именно из этих бесчисленных Вендраминов, Гримани, Корнеров, Фоскари и Лореданов увидел я первую или первую поразившую меня гондолу. Но это было уже по ту сторону Риальто. Она бесшумно вышла на канал из бокового проулка и, легши наперерез, стала чалить к ближайшему дворцовому порталу. Ее как бы подали со двора на парадное на круглой брюшине медленно выкатившейся волны. За ней осталась темная расселина, полная дохлых крыс и пляшущих арбузных корок. Перед ней разбежалось лунное безлюдье широкой водной мостовой. Она была по-женски огромна, как огромно все, что совершенно по форме и несоизмеримо с местом, занимаемым телом в пространстве. Ее светлая гребенчатая алебарда легко летела по небу, высоко несомая круглым затылком волны. С той же легкостью бежал по звездам черный силуэт гондольера. А клобучок кабины пропадал, как бы вдавленный в воду в седловине между кормой и носом.

Уже и раньше по рассказам Г—ва о Венеции я рассудил, что всего лучше будет поселиться мне в районе близ Академии. Тут я и высадился. Не помню, перешел ли я по мосту, или остался на правом берегу. Помню крошечную площадь. Ее обступали такие же дворцы, что и на канале, только серее и строже. И они упирались в сушу.

На залитой луной площади стояли, прохаживались и полулежали люди. Их было немного, и они точно ее драпировали движущимися, малоподвижными и неподвижными телами. Был необыкновенно тихий вечер. Мне бросилась в глаза одна пара. Не поворачивая друг к другу голов и наслаждаясь обоюдным отмалчиваньем, они напряженно всматривались в противобережную даль. Вероятно это была отдыхавшая прислуга палаццо. Сперва меня привлекла спокойная осанка лакея, его стриженая проседь, серый цвет его куртки. В них было что-то неитальянское. От них веяло севером. Затем я увидал его лицо. Оно показалось мне когда-то уже виденным, и только я не мог вспомнить, где это было. Подойдя к нему с чемоданом, я выложил ему свою заботу о пристанище на несуществующем наречьи, сложившемся у меня после былых попыток почитать Данте в оригинале. Он вежливо меня выслушал, задумался и о чем-то спросил стоявшую рядом горничную. Та отрицательно покачала головой. Он вынул часы с крышкой, поглядел время, защелкнул, сунул в жилет и, не выходя из задумчивости, наклоном головы пригласил следовать за собою. Мы загнули из-за залитого луною фасада за угол, где был полный мрак.

Мы шли по каменным переулочкам не шире квартирных коридоров, от времени до времени подымавшим нас на короткие мосты из горбатого камня. Тогда по обе руки вытягивались грязные рукава лагуны, где вода стояла в такой тесноте, что казалась персидским ковром в трубчатом свертке, едва улегшимся в кривой ящик.

По горбатым мосткам проходили встречные, и задолго до ее появления, с приближении венецианки предупреждал частый стук ее туфель по каменным лещадкам квартала.

В высоте, поперек черных, как деготь, щелей, по которым мы блуждали, светлело ночное небо и все куда-то уходило. Точно по всему Млечному пути тянул

пух семенившегося одуванчика, и будто ради того лишь, чтобы пропустить колонну — другую этого движущегося света, расступались порою переулки, образуя площади и перекрестки. И удивляясь странной знакомости своего спутника, я беседовал с ним на несуществующем наречьи и переваливался из дегтя в пух, из пуха в деготь, ища с его помощью наидешевейшего ночлега.

Но на набережных, у выходов к широкой воде царили другие краски, и тишину сменяла сутолока. На прибывавших и отходивших катерах толпилась публика, и маслянисто-черная вода вспыхивала снежно, как битый мрамор, разламываясь в ступках жарко работавших или круто застопоривавших машин. А по соседству с ее клокотаньем ярко жужжали горелки в палатках фруктовщиков, работали языки, и толклись и прыгали фрукты в бестолковых столбах каких-то недоварившихся компотов.

В одной из ресторанных судомоен у берега нам дали полезную справку. Указанный адрес возвращал к началу нашего странствования. Направляясь туда, мы проделали весь наш путь в обратном порядке, так что когда провожатый водворил меня в одной из гостиниц близ Campo Morosini, у меня было такое чувство, будто я только что прошел расстоянье, равное звездному небу Венеции, в направлении, встречном его движенью. Если бы у меня тогда спросили, что такое Венеция...—Светлые ночи, сказал бы я, крошечные площади и спокойные люди, кажущиеся странно знакомыми.

14

— Ну-с, дружище!—громко, как глухому, прокричал мне хозяин, крепкий старик лет шестидесяти в расстегнутой грязной рубахе,—я вас устрою, как родного.—Он налился кровью, смерил меня взглядом исподлобья и, заложив большие пальцы за пряжки подтяжек, забарабанил руками по волосатой груди.—Хотите холодной телятины?—не смягчая взгляда, рявкнул он, не сделав никакого вывода из моего ответа.

Вероятно это был добряк, корчивший из себя страшилище, с грозными усами à la Radetzki. Он помнил австрийское владычество, и, как вскоре обнаружилось, немного говорил по-немецки. Но так как язык этот представлялся ему языком унтеров далматинцев по преимуществу, то мое беглое произношение навело его на грустные мысли о паденьи немецкого языка со времени его солдатчины. Кроме того, у него вероятно была изжога.

Поднявшись как на стременах из-за стойки, он куда-то что проорал и пружинисто спустился во дворик, где протекало наше ознакомленье. Там стояло несколько столиков под грязными скатертями.

— Я сразу почувствовал к вам расположенье, как только вы вошли,—злорадно процедил он и, движеньем руки пригласив меня присесть, сам опустился на стул, стола через два или три от меня. Мне принесли пива и мяса.

Дворик служил обеденным залом. Стояльцы, если тут какие имелись, давно, верно, отужинали и разбрелись на покой, и только в самом углу обжорной арены отсиживался плюгавый старичок, во всем угодливо поддакивавший хозяину, когда тот к нему обращался.

Уплетая телятину, я уже раз или два обратил вниманье на странные исчезновенья и возвращенья на тарелку ее влажно-розовых ломтей. Видимо я впадал в дремоту. У меня слипались веки.

Вдруг, как в сказке, у стола выросла милая сухонькая старушка, и хозяин кратко поставил ее в известность о своей свирепой приязни ко мне, вслед за чем, куда-то поднявшись вместе с нею по узкой лестнице, я остался один, нащупал постель и без дальних размышлений лег в нее, раздевшись в потемках.

Я проснулся ярким солнечным утром, после десяти часов здорового, стремительного, беспересадочного сна. Небылица подтверждалась. Я находился в Венеции. Зайчики, светлой мелюзгой роившиеся на потолке, как в каюте речного парохода, говорили об этом и о том, что я сейчас встану и побегу ее осматривать.

Я оглядел помещенье, в котором лежал. На гвоздях, вбитых в крашеную перегородку, висели юбки и кофты, пе-

ряная метелка на колечке, колотушка, плетеньем зацепленная за гвоздь. Подоконник был загроможден мазями в жестянках, в коробке из-под конфет лежал неочищенный мел.

За занавеской, протянутой во всю ширину чердака, слышался стук и шелест сапожной щетки. Он слышался уже давно. Это верно чистили обувь на всю гостиницу. К шуму примешивалось женское шушуканье и детский шопот. В шушукавшей женщине я узнал мою вчерашнюю старушку. Она приходилась дальней родней хозяину и работала у него в экономках. Он уступил мне ее конуру, однако когда я пожелал это как-нибудь исправить, она сама встревоженно упросила меня не вмешиваться в их семейные дела.

Перед одеваньем, потягиваясь, я еще раз оглядел все кругом, и вдруг мгновенный дар ясности осветил мне обстоятельства минувшего дня. Мой вчерашний провожатый напоминал оберкельнера в Марбурге, того самого, что надеялся мне еще пригодиться. Вероятный налет вменения, заключавшийся в его просьбе, мог еще увеличить это сходство. Это и было причиной предпочтения, которое я инстинктивно оказал одному из людей на площади перед всеми остальными.

Тут нет ничего чудесного. Наши невиннейшие «здравствуйте» и «прощайте» не имели бы никакого смысла, если бы время не было пронизано единством жизненных событий, то есть перекрестными действиями бытового гипноза.

15

Итак, и меня коснулось это счастье. И мне посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на свиданья с куском застроенного пространства, как с живою личностью.

С какой стороны ни итти на пьяццу, на всех подступах к ней стережет мгновенье, когда дыханье учащается, и ускоряя шаг, ноги сами начинают нести к ней навстречу. Со стороны ли мерчерии, или телеграфа, дорога в какой-то момент становится подобьем преддверья, вслед за чем воздух отламывается от воздуха и, раскинув свою собственную, широко расчерченную поднебесную, площадь выводит, как на прием: кампанилу, собор, дворец дожей и трехстороннюю галлерею.

Постепенно привязываясь к ним, склоняешься к ощущенью, что Венеция—город, обитаемый зданьями. Четырьмя перечисленными, и еще несколькими в их роде. В этом утвержденьи нет фигуральности. Слово, сказанное в камне архитекторами, так высоко, что до его высоты никакой реторики не дотянуться. Кроме того оно, как ракушками, обросло вековыми восторгами путешественников. Растущее восхищенье вытеснило из Венеции последний след декламации. Пустых мест в пустых дворцах не осталось. Все занято красотой.

Когда перед посадкой в гондолу, нанятую на вокзал, англичане в последний раз задерживаются на пьяцетте в позах, которые были бы естественны при прощаньи с живыми людьми, площадь ревнуешь к ним тем острее, что, как известно, ни одна из европейских культур не подходила к Италии так близко, как именно английская.

16

Однажды под этими же штандартными мачтами, переплетаясь поколениями, как золотыми нитками, толпилось три великолепно вотканных друг в друга столетья, а невдалеке от площади недвижной корабельной чащей дремал флот этих веков. Он как бы продолжал планировку города. Снасти высовывались из-за чердаков, галеры подглядывали, на суше и на кораблях двигались по-одинаковому. Лунной ночью иной трехпалубник, уставясь ребром в улицу, всю ее сковывал мертвой грозой своего недвижно-развернутого напора. И в том же выносном величьи стояли фрегаты на якорях, облюбовывая с рейда наиболее тихие и глубокие залы.

По тем временам это был флот очень сильный. Он поражал своей численностью. Уже в пятнадцатом веке в нем одних торговых судов, не считая военных, насчитывалось до трех с половиной тысяч, при семидесяти тысячах матросов и судорабочих.

Этот флот был невымышленной явью Венеции, прозаической подоплекой ее сказочности. В виде парадокса можно сказать, что его покачивавшийся тоннаж составлял твердую почву города, его земельный фонд, и торговое и тюремное подземелье. В силках снастей скучал плененный воздух. Флот томил и угнетал. Но как в паре сообщающихся сосудов, с берега вровень его давленью поднималось нечто ответно-искупительное. Понять это значит понять, как обманывает искусство своего заказчика.

Любопытно происхожденье слова «панталоны». Когда-то, до своего позднейшего значенья штанов, оно означало лицо итальянской комедии. Но еще раньше, в первоначальном значеньи, «pianta leone» выражало идею венецианской победоносности и значило: водрузительница льва (на знамени), т. е.— иными словами — Венеция-завоевательница. Об этом есть даже у Байрона в Чайльд Гарольде:

Her very byword sprung from victory,
The Planter of the Lion, which through fire
And blood she bore o'er subject earth and sea [1]

Замечательно перерождаются понятья. Когда к ужасам привыкают, они становятся основаньями хорошего тона. Поймем ли мы когда-нибудь, каким образом гильотина могла стать на время формой дамской брошки?

Эмблема льва многоразлично фигурировала в Венеции. Так, и опускная щель для тайных доносов на лестнице цензоров, в соседстве с росписями Веронеза и Тинторетто, была изваяна в виде львиной пасти. Известно, какой страх внушала эта «bocca di leone» современникам, и как мало-по-малу стало признаком невоспитанности упоминанье о лицах, загадочно провалившихся в прекрасно изваянную щель, в тех случаях, когда сама власть не выражала по этому поводу огорченья.

Когда искусство воздвигало дворцы для поработителей, ему верили. Думали, что оно делит общие воззренья и разделит в будущем общую участь. Но именно этого не случилось. Языком дворцов оказался язык забвенья, а вовсе не тот панталонный язык, который им ошибочно приписывали. Панталонные цели истлели, дворцы остались.

И осталась живопись Венеции. Со вкусом ее горячих ключей я был знаком с детства по репродукциям и в вывозном музейном разливе. Но надо было попасть на их месторожденье, чтобы в отличье от отдельных картин увидать самое живопись, как золотую топь, кипящую под ногами, как особый язык, как один из первичных омутов творчества.

17

Я глядел на это зрелище глубже и более расплывчато, нежели это выразят теперь мои формулировки. Я не старался осознать увиденное в том направленьи, в каком его сейчас истолкую. Но впечатления сами отложились у меня сходным образом в теченье лет, и в своем сжатом заключеньи я ни на шаг не удалюсь от правды.

Я увидел, какое наблюденье первым поражает живописный инстинкт. Как вдруг постигается, каково становится видимому, когда его начинают видеть. Будучи запримечена, природа расступается послушным простором повести, и в этом состояньи ее, как сонную, тихо вносят на полотно. Надо видеть Карпаччио и Беллини, чтобы понять, что такое изображенье.

Я узнал далее, какой синкретизм сопутствует расцвету мастерства, когда, при достигнутом тождестве художника и живописной стихии, становится невозможным сказать, кто из троих и в чью пользу проявляет себя всего деятельнее на полотне — исполнитель, исполненное или предмет исполнения. Надо видеть Веронеза и Тициана, чтобы понять, что такое искусство.

Наконец, недостаточно оценив эти впечатленья в то время, я узнал, как мало нужно гению для того, чтоб взорваться.

Кто поверит? Торжество изображенного, изобразителя и предмета изображенья, или шире: смещенье силовых

[1] Даже и ее прозвище произошло от победы,— водрузительница льва, которого она несла сквозь огонь и кровь покоренным морям и землям.

осей об'ективности, вот что приводит его в ярость. Точно это пощечина, данная в его лице человечеству. И в его холсты входит буря, очищающая творческий хаос определяющими ударами страсти. Надо видеть Микель Анджело Венеции — Тинторетто, чтобы понять, что такое гений, то есть художник.

18

Однако в те дни я не входил в эти тонкости. Тогда в Венеции, и еще сильнее во Флоренции, или, чтобы быть окончательно точным, в ближайшие после путешествия зимы в Москве, мне приходили в голову другие, более далекие и специальные мысли.

Главное, что выносит всякий от встречи с итальянским искусством, это ощущенье осязательного единства нашей культуры, в чем бы он его ни видел и как бы ни называл.

Как много, например, говорилось о язычестве гуманистов, и как по-разному, как о теченьи законном и незаконном! И правда, столкновенье веры в воскресенье с веком Возрожденья — явление необычайное, и для европейской истории центральное и единственное. Кто также не замечал анахронизма, часто безнравственного в трактовках канонических тем всех этих «Введений», «Вознесений», «Бракосочетаний в Кане» и «Тайных вечерь», со всей их разнузданно-великосветской роскошью?

И вот именно в этом несоответствии сказалась мне тысячелетняя особенность нашей культуры.

Италия кристаллизовала для меня то, чем мы бессознательно дышим с колыбели. Ее живопись сама доделала для меня то, что я должен был по ее поводу додумать, и пока я днями переходил из собранья в собранье, она выбросила к моим ногам готовое, до конца выварившееся в краске наблюденье.

Я понял, что, к примеру, библия есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества. Я понял, что таково все вековечное. Что оно жизненно не тогда, когда оно обязательно, а когда оно восприимчиво ко всем уподобленьям, которыми на него озираются исходящие от него века. Я понял, что история культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причем этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, заложенная в основанье традиции, неизвестным же, каждый раз новым, — актуальный момент текущей культуры.

Вот чем я тогда интересовался, вот что тогда понимал и любил.

Я любил живую суть исторической символики, иначе говоря тот инстинкт, с помощью которого мы, как ласточки-саланганы, построили мир — огромное гнездо, слепленное из земли и неба, жизни и смерти, и двух времен, наличного и отсутствующего. Я понимал, что ему мешает развалиться сила сцепленья, заключающаяся в сквозной образности всех его частиц.

Но я был молод и не знал, что это не охватывает судьбы гения и его природы. Я не знал, что его существо покоится в опыте реальной биографии, а не в символике, образно преломленной. Я не знал, что в отличье от примитивов его корни лежат в грубой непосредственности нравственного чутья. Замечательна одна его особенность. Хотя все вспышки нравственного аффекта разыгрываются внутри культуры, бунтовщику всегда кажется, что его бунт прокатывается на улице, за ее оградой. Я не знал, что долговечнейшие образы оставляет иконоборец в тех редких случаях, когда он рождается не с пустыми руками.

Когда папа Юлий второй выразил неудовольствие по поводу колористической бедности сикстинского плафона, то в применении к потолку, изображающему созданье мира с полагающимися фигурами, Микель Анджело, оправдываясь, заметил: «В те времена в золото не рядились. Особы, здесь изображенные, были людьми небогатыми». Вот громоподобный и младенческий язык этого типа.

Предела культуры достигает человек, таящий в себе укрощенного Савонаролу. Неукрощенный Савонарола разрушает ее.

19

Вечером накануне от'езда на пьяцце был концерт с иллюминацией, какие часто там устраивались. Ограничивающие ее фасады сверху донизу оделись остриями лампочек. Ее с трех сторон озарил черно-белый транспарант. Лица слушавших под открытым небом вспарило банной яркостью, как в закрытом, великолепно освещенном бальном зале. Вдруг с воображаемого потолка стало слегка покрапывать, как на взаправдашней голландской площади далекого севера. Но едва начавшись, дождик другого города внезапно перестал. Иллюминационный отсвет ракетой из красного мрамора вжигал колокольню в розовый туман, до половины заволакивавший ее верхушку. Несколько подальше клубились темно оливковые пары, и в них сказочно прятался пятиголовый остов собора. Тот конец площади казался подводным царством. На соборном притворе золотом играла четверка коней, вскачь примчавшихся из древней Греции и тут остановившихся, как на краю обрыва.

Когда концерт кончился, стал слышен жернов равномерного шарканья, вращавшийся и раньше по галлерейному кругу, но тогда заглушавшийся музыкой. Это было живое кольцо фланеров, шаги которых шумели и сливались подобно скребу и шороху коньков в ледяной чашке катка.

Среди гулявших быстро и гневно проходили женщины, скорее угрожавшие, чем сеявшие обольщение. Они оборачивались на ходу, точно с тем, чтобы оттолкнуть и уничтожить, и, вызывающе изгибая стан, быстро скрывались под портиками. Когда они оглядывались, на вас уставлялось смертельно насурмленное лицо черного венецианского платка. Их быстрая походка в темпе allegro irato странно соответствовала черному дрожанью иллюминации в белых царапинах алмазных огоньков.

В стихах я дважды пытался выразить ощущенье, навсегда связавшееся у меня с Венецией. Ночью перед от'ездом я проснулся в гостинице от гитарного арпеджио, оборвавшегося в момент моего пробужденья. Я поспешил к окну, под которым плескалась вода, и стал вглядываться в даль ночного неба с таким видом, точно там можно было найти след мгновенно смолкнувшего звука. Судя по моему взгляду, посторонний сказал бы, что я спросонья исследую, не взошло ли над Венецией какое-нибудь новое созвездие, со смутно готовым представленьем о нем, как о созвездьи Гитары.

(Окончание следует)

Право первой постановки в Москве принадлежи
Московскому драматическому театру бывш. Кор[illegible]

Миллион терзаний

Водевиль

Валентин Катаев

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

1. Экипажев Анатолий Эсперович — весьма немолодой гражданин, интеллигентной наружности, без службы.
2. Калерия 35 лет — его дети.
3. Агнесса 20 „ — его дети.
4. Михаил 22 „ — его дети.
5. Шура Ключикова, 20 лет — кондуктор московского трамвая.
6. Ананасов Эжен — консультант по делам искусств, потрепанная личность в иностранных спортивных шароварах.
7. Парасюк Ваня — рабочий, студент Комакадемии.
8. Парасюк отец — пожилой рабочий, мастер — его родители.
9. Парасюк мать — пожилая женщина — его родители.
10. Парасюк дедушка — бывший дворник, очень стар, смахивает на Льва Толстого.
11. Артамонова Ангина Павловна — соседка Экипажевых, дама.
12. Первый жилец, робкий.
13. Второй жилец, бурный.
14. Почтальон.

Действие происходит в наши дни, в Москве в конце августа, в течение одного дня: первое и второе — в комнате Экипажева, третье — в квартире Парасюков.

АКТ I

Большая запущенная комната в некогда барской квартире. Претензии на интеллигентность. Пыль. Запустение. Закоулки. Фонарь на улицу.

Явление I

Шура читает. Экипажев дремлет. Пауза. Звонит будильник.

ШУРА *(вскакивает)*. Мамочки! На смену опоздаю. *(Останавливает будильник. Начинает собираться на смену.)*

ЭКИПАЖЕВ. Который час?

ШУРА. Пять минут двенадцатого... Ой!

ЭКИПАЖЕВ. Михаил Анатолиевич не приходил?

ШУРА. Чего это?

ЭКИПАЖЕВ. Я говорю, Михаил Анатолиевич не возвращался? Ну да, мой сын Миша не приходил?

В дверь заглядывает Миша в милицейской форме. Увидев Экипажева, он обращает испуганные глаза к Шуре и скрывается, не замеченный Экипажевым.

ШУРА. Не приходил.

ЭКИПАЖЕВ. Вторую ночь он где-то пропадает. Это меня начинает серьезно беспокоить.

ШУРА. А чего беспокоиться?

ЭКИПАЖЕВ. Странный вопрос. Среди современной молодежи такое чудовищное падение нравственности. Дурная среда. Я прихожу в ужас. Он еще совсем ребенок.

Миша выглядывает.

ШУРА. Чего это?

ЭКИПАЖЕВ. Я говорю, что Михаил Анатолиевич еще совсем ребенок. Он легко может поддаться бог знает каким влияниям.

ШУРА. Ровно ничего с ним не произойдет.

ЭКИПАЖЕВ *(строго)*. Вы были когда-нибудь матерью?

ШУРА. Чего это?

ЭКИПАЖЕВ. Я говорю, у вас были когда-нибудь дети?

ШУРА *(застенчиво хихикает)*. Как вы странно спрашиваете... Я ж девушка...

ЭКИПАЖЕВ. В таком случае вы не можете понять родительского сердца. Вы знаете, до чего он на-днях договорился?

ШУРА. Понятия не представляю.

ЭКИПАЖЕВ. На-днях он совершенно серьезно заявил, что собирается поступить в милицию. А?

ШУРА. И очень даже просто. Чем плохая служба?

ЭКИПАЖЕВ. Шура!!! Я вам раз навсегда запрещаю в моем доме говорить подобные вещи. Вы, кажется, злоупотребляете своим положением здесь. Вы не в вагоне трамвая. Ну да. Я нахожусь в стесненных обстоятельствах. Я — не служу. Я — сжат со всех сторон. Я принужден временно, подчеркиваю — временно — пока не возвратятся мои дочери — сдавать вам... э... кхм... э...

ШУРА. Койку?

ЭКИПАЖЕВ. Как это великодушно с вашей стороны. Койку! Мерси.

ШУРА. Ну — угол?

ЭКИПАЖЕВ. Койку... угол... ну да. Конечно. За двадцать пять рублей, которые вы мне платите в месяц, — за «койку», как вы выражаетесь, — вы можете третировать меня сколько вам угодно. И вы правы. На вашей стороне грубая сила денег. Я принужден молчать. Продолжайте. Продолжайте. Обливайте помоями седую голову старого русского интеллигента.

ШУРА. Ей богу, Анатолий Эсперович... Что вы такое говорите... При чем помои... Какие могут быть помои...

ЭКИПАЖЕВ. Продолжайте, продолжайте. Угол. Койка. Нары. Очень хорошо. Дальше. Дальше! Называйте скорее мой дом ночлежкой, а меня самого этим самым... Ну как это называется на современном советском жаргоне... Вышибалой, что ли? Не стесняйтесь. Валяйте. Вот до чего довели бедную русскую интеллигенцию. Мерси.

Миша выглядывает и делает Шуре отчаянные знаки.

ШУРА. Анатолий Эсперович.

ЭКИПАЖЕВ. Ну-те-с?

ШУРА. Анатолий Эсперович... *(Таинственно.)* Кто-то в уборной свет не погасил.

ЭКИПАЖЕВ. Опять? *(Гордо выпрямляясь.)* Ну, это уже хамство! *(Зловеще и твердо уходит.)*

Явление II

В комнату быстро вскакивает Миша.

ШУРА. Насилу сплавила вашего папашу.

МИША. А то прямо — гроб. Жильцы в коридор заглядывают, видят — милиционер. Беспокоятся. А я от них морду прячу за вешалку. Ни туда ни сюда. Прямо происшествие.

ШУРА. Демобилизуйтесь скорее.

МИША. К вам в сундучок можно милицейское барахлишко сунуть?

ШУРА. Давайте.

МИША. А то папаша найдет, тогда — гроб. *(Переодевается.)*

ШУРА. Ну, как служба?

МИША. Ничего служба. Стоим на посту. Сегодня жалованье платили.

ШУРА. Ну, стало быть, здравствуйте и прощайте. Мне на смену.

МИША. Я со смены — вы на смену. Вы со смены — я на смену. И так всю жизнь. Довольно глупо.

ШУРА. Не замечаю ничего глупого.

МИША. А я замечаю.

Явление III

Входит Экипажев.

ЭКИПАЖЕВ. В конце концов придется запереть уборную на замок и ключ выдавать в каждом отдельном случае. Здравствуй, Михаил. На всю комнату казармой несет. Откуда это? Какая-то помесь капусты и ефрейтора. Это от тебя? Фу, мерррзость какая.

МИША. Да, действительно. Что-й-то попахивает.

ШУРА. Это, Анатолий Эсперович, наверное у кого-то из жильцов на кухне щи варятся.

ЭКИПАЖЕВ. Гм... Действительно, нечто вроде щей! У кого же могут быть сегодня щи? Странно.

ШУРА. Родненькие! Опоздала! *(Убегает.)*

Явление IV

Без Шуры.

ЭКИПАЖЕВ. Большая свиная нога варится в щах. Конечно. Им все, а нам ничего. Что это значит, Михаил?

МИША. В чем дело? Что случилось?

ЭКИПАЖЕВ. Надеюсь, пока еще ничего не случилось. Но меня крайне, подчеркиваю — крайне, — беспокоит твое поведение. Куда ты идешь? К чему ты стремишься? Какие у тебя идеалы?

Миша молчит

ЭКИПАЖЕВ. Я спрашиваю, какие у тебя идеалы?

МИША. Да нет у меня никаких идеалов.

ЭКИПАЖЕВ. У всех Экипажевых всегда были идеалы. До сих пор еще ни одного Экипажева не было без идеалов. Ни од-но-го... Не перебивай меня.

МИША. Да я тебя не перебиваю. Отстань.

ЭКИПАЖЕВ. Как ты смеешь грубить отцу! Кто тебя научил? Экипажевы никогда не грубили своим отцам. Слышишь: ни-ког-да!. Экипажевы высоко держали знамя русской интеллигенции и свято передавали его из рук в руки, из поколения в поколение. Твой прадед высоко держал знамя. Твой дед высоко держал знамя. Твой отец высоко держал знамя. И до сих пор еще держит довольно высоко, несмотря ни на что. Подчеркиваю — несмотря ни на что! Ну да. Святое знамя свободы и борьбы. А ты? Что общего может быть у сына Анатолия Экипажева с кондукторшей московского трамвая? Не перебивай меня. Господи, ты видишь... Мне некому передать мое знамя.

МИША. А вы сестрам не пробовали передавать?

ЭКИПАЖЕВ. Что?!

МИША. Ничего. Я только говорю, жет быть Каля и Аня...

ЭКИПАЖЕВ. Не смей говорить о своих сестрах на этом ужасном уличном жаргоне: Каля, Аня... В роду Экипажевых никогда не было никаких Каль и Ань. Калерия и Агнесса. Агнесса и Калерия.

МИША. Ну пускай — Калерия и Агнесса.

ЭКИПАЖЕВ. Не перебивай меня. Ты не достоин произносить их имен.

МИША. Так можешь передать им знамя.

ЭКИПАЖЕВ *(строго)*. Знамя передается исключительно по мужской линии. Но если ты будешь себя так вести... Если у тебя не будет идеалов и принципов, то придется... Имей в виду, Михаил, — придется передать... И видит бог, я передам. Не посмотрю на то, что они девушки, — и передам знамя. Особенно Калерии. Она ведет себя безупречно. Я еще не знаю, что будет с Агнессой. Я не знаю, чего она наберется в своем, как это называется на вашем ужасном языке, в своем вузе, кажется так — —вуз! Но за Калерию я ручаюсь... Она не изменит высоким принципам Экипажевых. И служению чистому искусству. Пока большевики не распродадут последнего шедевра последнего музея, она будет свято охранять музейные ценности, — единственное, что нам осталось от великого культурного наследия прошлого.

МИША. Да что ты зарядил, ей-богу: идеалы, большевики, распродадут шедевры... Вот достукаешься до того, что тебе пришьют дело.

ЭКИПАЖЕВ. Молчи! Я ничего не боюсь. Экипажевы никогда не скрывали своих убеждений. Пусть приходят, пусть надевают на меня кандалы. Я готов. Экипажевы всегда страдали за убеждения. Ну! Берите меня... Я подчиняюсь произволу... *(Стук в дверь. Пауза.)* Тс-с-с! *(Пауза)*. А... антрэ!

Явление V

В дверь заглядывает жилец.

1 ЖИЛЕЦ. Это к вам милиция? *(Входит в комнату.)*

ЭКИПАЖЕВ. К...какая м...милиция? За что же?

1 ЖИЛЕЦ. Жильцы, говорят, видели, как сюда к вам милиционер взошел. Я сам, конечно, не видел, но жильцы говорят, возле вашей двери милиционера видели...

ЭКИПАЖЕВ. Видит бог. Ни сном ни духом. Зачем же милиция! Я четырнадцать лет сочувствую...

МИША. Никакого тут милиционера не было. Что вы зря панику поднимаете. Видите — ну где милиционер?

1 ЖИЛЕЦ. Нету милиционера.

Явление VI

В дв[illegible] заглядывает 2 жилец[illegible] вается.

2 ЖИЛЕЦ. В чем дело? Что такое? Экипажева забирают?

ЭКИПАЖЕВ. Меня нельзя забирать. Я — лойяльный.

2 ЖИЛЕЦ *(кричит в коридор)*. Экипажева забирают.

Явление VII

Входит соседка Арт...

АРТАМОНОВА. Голубчик! Анатолий Эсперович! Да что же это делается! Да за что ж это вас в милицию!

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ. Господа! Экипажева забирают! Милиция пришла.

МИША. Граждане! Что за паника! Никакой милиции нет. Это вам показалось. Видите? А ну, граждане! Попрошу посторонних очистить помещение. *(Выпроваживает всех жильцов кроме Артамоновой. Кричит в коридор.)* Нету никакой милиции. Разойдитесь!

ЭКИПАЖЕВ. И в коридоре нету... милиции?

МИША. И в коридоре нету.

ЭКИПАЖЕВ. Ну-те-с.

АРТАМОНОВА. Я так переволнозалась. Так переволновалась.

ЭКИПАЖЕВ. Уверяю вас, госпожа Артамонова, — напрасное волнение. Берите с меня пример. Вы видите, — совершенно я спокоен. Мы, интеллигенция... Может быть в кухне — милиция?

МИША. Нету в кухне милиции. Нету! Успокойся.

ЭКИПАЖЕВ. Ну-те-с. Русская интеллигенция всегда была жертвой полицейских репрессий. Радищев. Декабристы. Октябристы. Пушкин, Лермонтов, Жуковский.... Слышишь, Михаил! Ты должен склонить голову перед этими святыми именами, а не глупо ухмыляться. Вот, госпожа Артамонова, современная молодежь. Полюбуйтесь.

АРТАМОНОВА *(со вздохом)*. Да ж... *(Оживившись.)* Анатолий Эксперович! Кстати, об интеллигенции. Нас с вами можно поздравить.

ЭКИПАЖЕВ. Что такое?

АРТАМОНОВА. Наконец-то советская власть взяла лучшую часть старой интеллигенции на особое снабжение.

ЭКИПАЖЕВ. Не может быть!

АРТАМОНОВА. Уверяю вас. Муж моей дочери, мой зять, инженер Белье прикреплен к закрытому распределителю. Представьте себе, в месяц по твердым ценам выдают кило масла, четыре с половиной кило мяса, тридцать литров молока, ...ло колбасных изделий...

ЭКИПАЖЕВ. Кило колбасных изделий...

АРТАМОНОВА. Тридцать штук ...ца, два с половиной кило рыбы, сто граммов чаю, пять кило сахару...

ЭКИПАЖЕВ. Сахару...

АРТАМОНОВА. И еще что-то там. Да, — кило сметаны, три кило фрукт... Вы разве не получили? Да, еще тридцать пачек папирос.

ЭКИПАЖЕВ. Н... нет. Не получил.

АРТАМОНОВА. Да, впрочем, вы ведь не служите. Ах, Анатолий Эсперович, голубчик, почему вы не служите?

ЭКИПАЖЕВ. Служить бы рад — прислуживаться тошно.

АРТАМОНОВА. Ну что вы, что вы. Давно все наши служат.

ЭКИПАЖЕВ. Все, но не я. Экипажевы никогда не продавали своих убеждений... как некоторые.

АРТАМОНОВА. Если это намек на мужа моей дочери, моего зятя, инженера Белье... Муж моей дочери, инженер Белье...

ЭКИПАЖЕВ. Французик из Бордо. О, да! Молчалины блаженствуют на свете.

АРТАМОНОВА. Анатолий Эсперович! При всем моем уважении к вам... Вы должны знать, что инженер Белье...

ЭКИПАЖЕВ. Я не хочу знать никакого Белье. Меня не интересует чужое белье. Да-с. Грязное чужое белье...

АРТАМОНОВА. Гражданин Экипажев! Вы — забываете, что я — мать. Это слишком. Вы сами три раза служили. И вас отовсюду выгоняли по чистке. Да, по чистке.

ЭКИПАЖЕВ. Я запрещаю вам говорить в моем доме подобные вещи.

АРТАМОНОВА. Этот дом такой же ваш, как и мой.

ЭКИПАЖЕВ. Ах, пардон. Я не знал, что вы за экспроприацию частной собственности. В таком случае, я запрещаю вам говорить подобные вещи на моей площади. Меня не выгоняли по чистке. Я сам уходил по чистке, потому что не желал работать с хамами. Да, с хамами! Как некоторые подозрительные «интеллигенты».

АРТАМОНОВА. Да кто вы такой? А может быть, вы сами и есть подозрительный интеллигент. Почем я знаю! Я с вами в университете не училась. Вызубрили десять слов — «интеллигенция», «идеалы», «принципы», «произвол», «знамя» — и

кричите на всю, всю квартиру, как попугай.

ЭКИПАЖЕВ. Молчите!

АРТАМОНОВА. Не замолчу! Всех жильцов терроризировали. Пикнуть вам наперекор боятся. А вдруг на самом деле — великий интеллигент, мученик за идею... Радищев...

ЭКИПАЖЕВ. Я запрещаю вам!

АРТАМОНОВА. Сюртуком путаете! Собственных детей убедили, что духовный интеллигент. У нас люди доверчивые, — поди проверь, что именно вы интеллигент и именно духовный.

ЭКИПАЖЕВ. Па-а-прашу вас не переступать больше порога моей комнаты.

АРТАМОНОВА. А может быть вы просто бывший околодочный надзиратель!

ЭКИПАЖЕВ. Мерси! Между нами все кончено. Идите! Ступайте скорее на кухню, варить свои обеды из подачек, полученных инженером Бельё от большевиков.

АРТАМОНОВА. И пойду. Тьфу! *(Уходит.)*

Явление VIII

Те же без Артамоновой.

ЭКИПАЖЕВ. Мерси! Масла — кило, мяса — четыре с половиной кило. Молока — тридцать литров. Колбасных изделий — кило. *(Мише.)* Что ж ты молчишь, как чурбан? Твоего отца оскорбляют в собственном доме, а ты прилип к окну и ничего не видишь и не слышишь. Я тебе говорю. Михаил! Чего ты в окне не видел? Советских трамваев не видел? Брось книжку. Брось эту дрянь! О, если бы твоя покойная мать видела это все! Некому передать знамя. Некому... *(Впадает в задумчивость.)* Тридцать штук яиц. Два с половиной кило рыбы. Сто граммов чаю. Пять кило сахару. Кило сметаны. Три кило фрукт. Да-с... Варятся щи с капустой. В щах лежит большая свиная нога... Ух-х-х!

Явление IX

Входит запыхавшись Шура с сумк

ШУРА. Вагон остановился.

ЭКИПАЖЕВ. Поздравляю вас.

ШУРА. Аккурат против самого дома. В окошко видать. Поглядите, Миша, стоит мой вагончик. Авария. Против самых наших ворот испортился. Такое счастье.

ЭКИПАЖЕВ. Вот-с. Картина. Панно. Советский транспорт. Нет людей. Нет настоящих интеллигентных людей.

ШУРА. Минут десять простоим. Ой, Анатолий Эсперович! Кого я только что видела! Я только что вашу дочку видела.

ЭКИПАЖЕВ. Мою дочку? Которую?

ШУРА. Калерию Анатолиевну. Ой, Миша, подержите сумку. Я такая взволнованная, такая взволнованная...

ЭКИПАЖЕВ. Где?

ШУРА. Возле Курского вокзала. Там наш вагончик остановился. Испортился. Аккурат напротив. Авария. Я смотрю, и вдруг вижу, Калерия Анатолиевна на извозчика с мужчиной садятся. Такая вся загорелая. Видать, прямо из Крыма. А мужчина, знаете, ее за талию поддерживает. Прямо цирк, не будь я гадом.

ЭКИПАЖЕВ. Стой! Какой мужчина?

ШУРА. Обыкновенный мужчина, просто человек. Понятия не представляю. Обыкновенный ее муж.

ЭКИПАЖЕВ. Как — муж! Вышла замуж?

ШУРА. Говорят, вышла замуж.

ЭКИПАЖЕВ. О, господи! Да что же ты с ней — разговаривала?

ШУРА. Ой, где там. Я ее только спросила, кто такой, а она кричит через все уличное движение, дескать, замуж вышла. Как раз между ними и нами грузовик пятитонка встрял. Я только успела через грузовик спросить — куда едете. А она обратно, через грузовик, говорит: сюда едет. К вам, Анатолий Эсперович.

ЭКИПАЖЕВ. Дальше. Дальше. И что же?

ШУРА. А дальше ничего. Еще один грузовик пятитонка между нами и ими встрял и два ломовика аккурат встряли. Ну, они и поехали. А потом мы поехали. А он ее за талию держит. Прямо цирк, не будь я гадом. Так что можно вас поздравить. Они сюда едут. А я, значит, теперь должна свою койку освободить?

ЭКИПАЖЕВ. Опять койку?

ШУРА. Ну — постельку, постельку...

ЭКИПАЖЕВ. Наоборот. Наоборот. Для меня этот брак собственно не является неожиданностью. Калерия мне недавно писала из Крыма, что за ней ухаживает один молодой человек. Прекрасный, интеллигентный, — подчеркиваю — интеллигентный, —

молодой человек из хорошей фамилии. Вы, вероятно, слышали, присяжный поверенный Николай Николаевич Ананасов? Так это его сын. Сын Ананасова. Консультант по делам искусств. Они будут жить у Ананасовых. Прекрасная партия, прекрасная.

МИША. Слава богу, наконец-таки Калька выскочила замуж.

ЭКИПАЖЕВ. Я тебе запрещаю говорить о старшей сестре и о браке в таком тоне. И приведи себя в порядок. Сейчас они приедут. Я требую, чтобы ты держал себя достойно. Надеюсь, ты не заставишь меня краснеть за тебя перед господином Ананасовым.

МИША. Я все равно ухожу сейчас.

ЭКИПАЖЕВ. Тем лучше... Да... Сюртук. Где мой сюртук? И — в парикмахерскую. Надо привести себя в порядок. *(Смотрит в зеркало.)* Боже, как я опустился. Как опустился. Шура, вы мне разрешите? Я у вас из сумки возьму в счет платы за... постельку один рубль или даже лучше два? А то у меня временно стесненные обстоятельства.

ШУРА. Ей богу, я не знаю, Анатолий Эсперович. Вчера вы брали. И позавчера брали.

МИША. Не надо. Вот возьми. Я сегодня получил сорок восемь рублей.

ЭКИПАЖЕВ. Вот как! Это другое дело!! Где ты получил? Впрочем, можешь не отвечать. Я не смею залазить тебе в душу и насиловать твое я. Экипажевы никогда не насиловали чужого я. Будем считать, что я беру у тебя эти деньги на сохранение.

МИША. Зачем на сохранение. Бери просто. Я у тебя живу. Ты без работы.

ЭКИПАЖЕВ. Ни слова. Я никогда не позволю себе брать деньги у собственного сына.

МИША. Ты же у Калерии и у Агнессы берешь?

ЭКИПАЖЕВ. Да. Беру. Но на сохранение. Подчеркиваю — на сохранение.

МИША. Пускай будет на сохранение.

ЭКИПАЖЕВ. Ну-те-с. Если они придут в мое отсутствие, прошу тебя, прими его радушно, но достойно. Не забывай, что он Ананасов, а ты Экипажев. Молодая поросль русского либерализма.

Величественно идет в парикмахерску

Явление X

Без Экипажева. Пауза. Звонит будильник.

МИША. Ух ты! Половина третьего. Пока папаша красоту наводит... *(Достает из сундука милицейскую форму и одевается.)*

ШУРА. Куда торопитесь? Подождите.

МИША. А может быть, мне на пост становиться надо.

ШУРА. А где ваш пост?

МИША. Мой пост там, где ваш маршрут не проходит.

ШУРА. А вы откуда знаете, где мой маршрут проходит?

МИША. Милиция обязана все маршруты знать. *(Оделся.)*

ШУРА. Что-то вы очень много о себе думаете.

МИША. Я не о себе думаю. Я о маршрутах думаю. А вы об чем думаете? *(За окном звонки трамвая.)*

ШУРА. Мамочки, вагончик мой трогается!

МИША. Это встречный. Ваш стоит на месте. Видите, какая пробка! На полчаса дело.

ШУРА. Хорошо вам, милицейским.

МИША. А чем хорошо?

ШУРА. Вы можете на посту книжку читать.

МИША. А вы можете в вагоне читать.

ШУРА. А вот в вагоне никак немыслимо.

МИША. Почему это немыслимо?

ШУРА. Публика невозможно грубая. Особенно гражданки попадаются проклятые. Только откроешь книжку, а она тебе так и норовит гривенник в глаз засунуть. Прямо как в автомат. Не будь я гадом.

МИША. Такую публику штрафовать надо.

ШУРА. По нашему маршруту, к сожалению, ни одного порядочного милиционера не стоит.

С улицы звонки.

ШУРА. Ой, вагон трогается.

МИША. Погодите, я тоже по вашему маршруту поеду. *(За дверью голоса.)* Ух... папаша. Происшествие! *(Прячется.)*

ШУРА *(выглядывая в дверь)*. Калерия Анатолиевна с мужем. Прямо цирк, не будь я гадом.

Явление XI

Входят Калерия и абсолютно пьяный Ананасов.

АНАНАСОВ *(хрипло)*. Папаша, дома?

КАЛЕРИЯ. Эжен... Я умоляю тебя... Я схожу с ума...

АНАНАСОВ. Я хочу видеть моего папу. Моего нового па... папочку.

КАЛЕРИЯ. Боже мой... боже мой...

АНАНАСОВ. *(Видит Шуру.)* О! Кондукторша. Я думал, что мы уже приехали. А ок-казывается мы еще едем...

КАЛЕРИЯ. Эжен, ради всего святого. Мы уже приехали, приехали. Это наша квартира.

АНАНАСОВ. Значит вы ж-живете пр...реимущ...щественно в трамвае?

КАЛЕРИЯ. Это комната, комната.

АНАНАСОВ. Странно. А почему кондукторша? Послушайте, дайте мне два билета... мне и моей жене... Передайте кондукторше. Будьте любезны. Извините... Меня со всех сторон толкают... Вагон страшно качает...

КАЛЕРИЯ. Эжен, на коленях умоляю тебя, идем.

АНАНАСОВ. Ви-но-ват. Я не желаю сходить. Можете позвать милиционера. Я себя веду вполне корректно.

КАЛЕРИЯ. Шурочка... Ради бога... Умоляю вас... Где папа?

ШУРА. Он в парикмахерской. Сейчас придет.

КАЛЕРИЯ. Господи, господи! Умоляю вас на коленях. Не говорите ему ни слова. Какой стыд. *(Появляется Миша.)* Мишенька! Ты уже служишь? Как я рада! Очень прошу тебя. Я его сейчас уведу. Ни слова папе. Это его убьет.

МИША. Поздравляю. *(Звонки трамвая.)*

ШУРА. Мамочки, поехали без меня! *(Убегает.)*

Явление XII

Те же без Шуры.

АНАНАСОВ *(видит Мишу)*. О! Милиционер. А где же кондукторша? Что такое? Куда меня привели?

КАЛЕРИЯ. Это наша квартира.

АНАНАСОВ. Значит вы живете пр-реимущ-щественно в милиции?.. Очень приятно. Можете меня арестовать. Ведите меня в темницу. Милиционер! Ха-ха-ха!

КАЛЕРИЯ. Миша, ради бога! Ни слова папе.

МИША. И ты ни слова, что я в милиции.

АНАНАСОВ. Милиционер. Можете составлять протокол. Так и пишите: потомственный почетный дворянин, консультант по делам искусств, Евгений Николаевич Ананасов. Не желает выходить из трамвая. Пожалуйста...

МИША. Возись с пьяными. Еще на пост опоздаю. *(Уходит.)*

Явление XIII

Те же без Миши.

АНАНАСОВ. Ах так? Кондукторша ушла. Милиционер ушел. Все ушли. Понимаю. Личный выпад? В таком случае тоже ухожу.

КАЛЕРИЯ. Куда ты?

АНАНАСОВ. Домой. К папе. К своему старому настоящему папочке. *(Рыдает.*

КАЛЕРИЯ. Вот и умница. Поезжай домой. Будешь дома бай-бай. А я сейчас приеду. Сейчас приеду.

АНАНАСОВ. Бай-бай...

КАЛЕРИЯ. Вот-вот, иди; солнышко иди. Ты дорогу домой найдешь?

АНАНАСОВ. Найду. Все прямо, прямо, прямо, и потом все налево, налево, налево. Бай-бай. *(Уходит.)*

Явление XIV

Калерия одна.

КАЛЕРИЯ. Боже мой... Кто б мог подумать... Мамочка! *(Рыдает у портрета матери.)* Милая моя мамочка!.. Отчего тебя нет со мной!

Явление XV

Входит Ананасов, шатаясь доходит до Шуриной постели, валится в нее и, бормоча „бай-бай", засыпает, незамеченный Калерией.

КАЛЕРИЯ. Он был такой нежный... такой благородный. В Крыму. *(Рыдает.)*

Явление XVI

Входит Экипажев с букетом и бутылкой шампанского.

ЭКИПАЖЕВ. Калерия!

КАЛЕРИЯ. Папочка!

ЭКИПАЖЕВ. Ты плачешь? Что случилось? Где твой муж? Где все?

КАЛЕРИЯ. Все ушли. А мой муж... Он очень устал с дороги... Он — завтра... Он очень извиняется. Он такой хрупкий. А я пришла и вот... Увидела мамочкин портрет и расстроилась...

ЭКИПАЖЕВ. Дитя мое... О, я понимаю. Как я тебя понимаю. Плачь, плачь. Это светлые, блаженные слезы счастья. Последние слезы суровой зимы и первые слезы, та-ра-ра, любви. За Ананасова?

КАЛЕРИЯ. За Ананасова.

ЭКИПАЖЕВ. Я очень рад. От души тебя поздравляю, Калерия. Ананасовы — прекрасная русская либеральная фамилия. Можешь смело носить ее, с гордостью, но никогда, подчеркиваю — никогда, —не забывай, что ты урожденная Экипажева.

КАЛЕРИЯ. Я не забуду.

Явление XVII

В дверь заглядывает 1 жилец.

ЭКИПАЖЕВ. Что такое? Милиция?

1 ЖИЛЕЦ *(входит в комнату).* Ах, нет! Никакой милиции. Вас, кажется, можно поздравить? Жильцы говорят, что Калерия Анатолиевна выходит замуж. Я сам, конечно, лично, не видел, но жильцы говорят, что выходит.

ЭКИПАЖЕВ. Вышла. Не выходит, а вышла. Ну-те-с?

1 ЖИЛЕЦ. В таком случае... Анатолий Эсперович! Калерия Анатолиевна! Позвольте принести свои самые сердечные извинения, то есть поздравления. Я, конечно, сам не видел, но жильцы говорят, так что позвольте принести.

Явление XVIII

В дверь заглядывает 2 жилец и врывается.

2 ЖИЛЕЦ. В чем дело? Что такое? У вас событие? Калерия Анатолиевна вышла замуж?

ЭКИПАЖЕВ. Как видите.

2 ЖИЛЕЦ *(в коридор).* Граждане, — у Экипажевых событие. Старшая дочь вышла замуж.

ЭКИПАЖЕВ. Ну-те-с?

Явление XIX

Входит соседка Артамонова, неся на тарелке пирожок.

АРТАМОНОВА. Голубчик! Анатолий Эсперович! Ну, допустим, я погорячилась. Кто старое помянет, тому глаз вон. Ради такого дня! Да что же это делается! Господи! Калерия Анатолиевна! Калечка! Душечка! Поздравляю вас! Анатолий Эсперович! Позвольте вам собственного печенья. Не побрезгуйте.

ЭКИПАЖЕВ. Мерси, мерси.

АРТАМОНОВА. Душечка! Калечка! За кого?

ЭКИПАЖЕВ. За сына присяжного поверенного Николая Николаевича Ананасова, консультанта по делам искусств, Евгения Николаевича Ананасова.

ВСЕ ЖИЛЬЦЫ. О!..

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ. Господа! У Экипажевых свадьба. Дочка замуж вышла за Ананасова.

АРТАМОНОВА. Моя дочь и муж моей дочери, мой зять, инженер Белье, будут так рады, так рады. Но где же, душечка, ваш супруг?

ЭКИПАЖЕВ. Евгений Николаевич очень устал с дороги. Они только что с курорта. При теперешнем состоянии советского транспорта, вы понимаете... Он такой хрупкий.

КАЛЕРИЯ. Да, да. Мне надо итти. Он такой хрупкий.

ЭКИПАЖЕВ. Вообще все Ананасовы такие хрупкие.

КАЛЕРИЯ. Я очень беспокоюсь за его здоровье. Извините. Мне надо итти.

ЭКИПАЖЕВ. Они будут жить у Ананасовых.

КАЛЕРИЯ. Мы придем скоро... Извините... Скоро... Сейчас...

АРТАМОНОВА. Ах, душечка, я вас очень понимаю. Идите, душечка, идите.

КАЛЕРИЯ. До свиданья. Извините. До свидания. *(Уходит.)*

Явление XX

Те же без Калерии.

ЭКИПАЖЕВ. Ну-те-с... *(Все смотрят на бутылку шампанского.)* Ну-те-с!

АРТАМОНОВА. Теперь, Анатолий Эсперович, остается только найти хорошего женишка для Агнессочки...

ЖИЛЬЦЫ. Хорошего женишка для Агнессочки... (*Смотрят на бутылку. Стук в дверь.)*

ЭКИПАЖЕВ. Антре!

Явление XXI

Входит почтальон.

ПОЧТАЛЬОН. Заказное письмо Экипажеву. Кто Экипажев?

ЭКИПАЖЕВ. Я Экипажев.

ПОЧТАЛЬОН. Получите.

ЭКИПАЖЕВ. От Агнессы.

АРТАМОНОВА. Легка на помине.

ЭКИПАЖЕВ. От Агнессы Экипажевой из Сталинграда. Она там на производстве, на практике. Для молодой девушки весьма интересное место. Инженеры. Иностранцы. Гм... как знать...

ПОЧТАЛЬОН. Распишитесь.

ЭКИПАЖЕВ. Одну минуточку. Ручка есть, а пера нету. Ах, вот перо. Не действует. То есть перо действует, а чернила не действуют. Высохли. Чорт знает что. У русского интеллигента высохли чернила. Как это называется, господа? Символическое высыхание чернил! А? *(Горько смеется.)*

ПОЧТАЛЬОН. Гражданин, нате карандаш.

ЭКИПАЖЕВ. Огрызок какой-то. Его надо слюнить. Еще анилином отравишься. Впрочем, пускай. Итак — затравили. Вот-с. Удивляюсь, как я еще не разучился писать свою фамилию: Э-ки-па-жев. Мерси. Вот-с, товарищ почтальон. Такие дела. Старшую дочь только что за хорошего человека выдал. Присяжного поверенного Ананасова знали? Интеллигентнейший человек. Не знали? Так за его сына. А вот теперь от младшей письмо. Постойте, голубчик. Вы мне принесли письмо от любимой дочери. Нежный документ, сувенир. Не считайте это оскорблением. Возьмите рубль, сдачи не надо.

ПОЧТАЛЬОН *(застенчиво)*. У нас не полагается.

ЭКИПАЖЕВ. Ах, не полагается, Пардон. *(Прячете рубль обратно.)*

Почтальон, помявшись, уходит.

ЭКИПАЖЕВ. Ах, классовая гордость. Пожалуйста.

Явление XXII

Без почтальона.

ЭКИПАЖЕВ. Простите великодушно. *(Распечатывает письмо и читает.)* Что ??? А-а-а! *(Испускает вопль).*

ВСЕ. Что такое? Что случилось?

ЭКИПАЖЕВ. Поздравляю вас, господа. Моя младшая дочь, Агнесса Экипажева, вышла замуж за хама. Поздравляю вас всех, господа!

1 ЖИЛЕЦ. Почему всех?

2 ЖИЛЕЦ. При чем тут мы?

ЭКИПАЖЕВ. Так. Всех. Всю русскую духовную интеллигенцию. Господин Белинский. Вас тоже поздравляю! *(Кланяется портрету Достоевского.)* Вот. Где это? Не вижу. Ничего не вижу. В глазах потемнело. Читайте, читайте. Вот тут. Ангина Павловна, читайте.

АРТОМОНОВА. *(Читает)*. «Дорогой папочка, я так счастлива. Наконец я полюбила и меня полюбили. Я вышла замуж. Хотя мой муж и рабочий...» Какой мезальянс! «Хотя мой муж и рабочий...»

ЭКИПАЖЕВ. Довольно. Больше ни слова. Вот. Дочь Экипажева вышла замуж за мастерового. Нет, вы слышите? Госпожа Артамонова? Вы — мать. Вы — поймете меня. Ну, представьте себе. Дочь, чистая девушка из интеллигентной, культурной семьи. Нежный бутон, капля дождя... и вдруг — муж хам. Ха-ха-ха! Муж войдет в мой дом. Вот сюда он войдет — муж моей дочери, дочери Экипажева, — пьяница, алкоголик, тупица, хулиган, низкий обезьяний лоб. Господа, я — либерал. Я против крепостного права. Больше того, я — демократ: Экипажевы всегда держали знамя демократизма... Но это, это... Нет! Поймите же вы меня. Только вы можете понять меня, госпожа Артамонова. Они приедут сюда. Вот, вот... *(Хватает письмо.)* Они уже едут. Уже может быть под'езжают... *(Рвет письмо.)* Вот сейчас войдет мой пьяный зять и потребует водки и закуски. Он ляжет на мой письменный стол, на мои бумаги и брошюры и задерет ноги. Он развесит свои портянки на вашем портрете, господин Белинский. *(Кланяется портрету Достоевского.)* Он будет крутить цыгарки из Брокгауза и Ефрона. *(Плачет.)* Он будет пропивать вещи. Сюртук мой пропьет. Будильник пропьет. Он будет меня бить.

2 ЖИЛЕЦ. Еще из комнаты, пожалуй, выселит. В происхождении начнет копаться.

ЭКИПАЖЕВ. Вы думаете? Ох, комната! Ох, происхождение! Нет! Что скажет старик Ананасов! Уйдите, господа! Оставь-

те меня одного. Пусть я буду умирать один в своей пещере, как раненый лев. О, как мне трудно жить!

АРТАМОНОВА. А вы ложитесь, товарищ Экипажев. Может быть, вам в лежачем положении легче жить будет.

ЭКИПАЖЕВ. Уходите... Уходите, господа, прошу вас...

Все уходят.

Явление XXIII

Экипажев один. Лежит и стонет.

ЭКИПАЖЕВ. Поздравляю вас, господа. Благодарю. Поздравляю. Мерси.

Явление XXIV

Бурно входит Агнесса. Еще за сценой слышно, как она громко поет.

АГНЕССА. «По морям, по морям, нынче здесь, а завтра там, — по морям, морям, морям...» Дорогу женщине! Престарелый отец! Честь имею явиться! Ура! Прими в свои об'ятия блудную дочь Агнессу! Завод — красота. Один сборочный — три гектара. Девятьсот пятнадцать американских автоматов. Лаборатория—на-ять! Волга под боком. Купайся — не хочу. Ваньку чуть током не убило. Мы хохочем, а он висит на изоляторе и визжит, как белуга. Да что с тобой такое, очнись. Посмотри, какие у меня руки стали. Во! Красота. Ну?

ЭКИПАЖЕВ. Как ты посмела сюда явиться? Я тебя проклял.

АГНЕССА. Когда ты меня проклял?

ЭКИПАЖЕВ. Четверть часа тому назад.

АГНЕССА. Здравствуйте. За что?

ЭКИПАЖЕВ. Мне гадко на тебя смотреть.

АГНЕССА. Ну, знаешь, это просто свинство. Два месяца не видались и вдруг, здравствуйте. Нет, вы видали что-нибудь подобное? Ты разве не получил моего письма? Я так счастлива. Мы так счастливы с мужем.

ЭКИПАЖЕВ. С мужем? Я запрещаю вам произносить это священное слово. Я не давал согласия на ваш брак. Это — не муж. Это ваш сожитель. Мерси.

АГНЕССА. Ты что — окончательно спятил?

ЭКИПАЖЕВ. Будьте любезны сообщить мне, кто, собственно, тот суб'ект, которого вы называете своим мужем?

АГНЕССА. Здравствуйте. Я ничего не понимаю. Я ж написала, — Ваня рабочий.

ЭКИПАЖЕВ. Мерси. А кто Ванин батюшка?

АГНЕССА. Тоже рабочий. Мастер.

ЭКИПАЖЕВ. А дедушка?

АГНЕССА. Не знаю. Наверное тоже.

ЭКИПАЖЕВ. Так. Вопросов больше не имею. Пошла вон. *(Пауза.)*

АГНЕССА. Здравствуйте. Новые фокусы!

ЭКИПАЖЕВ. Пошли вон из моего дома.

АГНЕССА. Ты болен. Факт. Я не понимаю. Бросают больного человека одного. А Миша? А соседи? А Шура? Неужели никто не мог послать за доктором?

ЭКИПАЖЕВ. Боже мой. Что скажет Ананасов?

АГНЕССА. Какой Ананасов? Что за Ананасов?

ЭКИПАЖЕВ. Ананасов. Присяжный поверенный, Николай Николаевич Ананасов, отец мужа твоей сестры Калерии.

АГНЕССА. Калька вышла замуж? Когда?

ЭКИПАЖЕВ. Только что.

АГНЕССА. Вот так номер — я чуть не помер! Ай да Калька! Поздравляю.

ЭКИПАЖЕВ. Ты привела его сюда?

АГНЕССА. Кого?

ЭКИПАЖЕВ. Ну этого... Так называемого Ваню... Твоего сожителя...

АГНЕССА. Нет, он сейчас занят.

ЭКИПАЖЕВ. Ах, занят. Я знаю, чем он занят. Прямо с вокзала в кабак пошел.

АГНЕССА. Папа!

ЭКИПАЖЕВ. Не лги. Я знаю. Какую же фамилию ты теперь носишь?

АГНЕССА. Фамилию мужа. Мы зарегистрировались в Сталинграде.

ЭКИПАЖЕВ. Именно?

АГНЕССА. Конечно, папа. Это предрассудки. Но у меня теперь фамилия такая странная. Но в общем миленькая фамилия. К ней очень легко привыкнуть.

ЭКИПАЖЕВ. Фамилия!!!

АГНЕССА. Она даже может понравиться. Лично мне, например, нравится.

ЭКИПАЖЕВ. Фамилия!

АГНЕССА. Парасюк.

ЭКИПАЖЕВ. Как?

АГНЕССА *(нежно)*. Парасюк.

ЭКИПАЖЕВ. *(кричит)*. А-а-а! Парасюк! Па-ра-сюк! Я чувствовал это. Фамилия моей дочери — Парасюк! Ты больше мне не дочь! А! Я знаю! Ты его привела и прячешь? Тебе стыдно показать в интеллигентной семье человека с фамилией Парасюк. Это не фамилия, а кличка. Я знаю. Он сейчас сюда придет и начнет скандалить. Копаться в происхождении. Я его как вижу: Парасюк! Я не хочу. О боже!..

АНГЕССА. У тебя жар. Факт. Погоди, не рыпайся. Я сейчас все устрою. Вот, действительно, не было печали. *(Уходит.)*

Явление XXV

Экипажев один.

ЭКИПАЖЕВ. Свершилось.

Явление XXVI

Из-за ширмы появляется еще не вытрезви Ананасов.

АНАНАСОВ. Папа. П...
Ку-ку!

ЭКИПАЖЕВ. Вот он, Парасюк.

АНАНАСОВ. Папулечка! Старичок! Дорогой родственник. А я сюда прямо из милиции... Тут милиционер протокол составлял. Насчет приданого. И кондукторша. Дай я тебя поцелую.

ЭКИПАЖЕВ. Как вы смеете. К...кой милиционер?

АНАНАСОВ. Не хочешь? Не надо. Ну дай в таком случае водки.

ЭКИПАЖЕВ. Это что — шантаж? У нас в доме нет водки.

АНАНАСОВ. Ка... какой же ты профессор, если у тебя водки нет. Может быть, у тебя спирт есть? Пр-репараты к...какие-нибудь?.. Младенцы в банках... Давай сюда младенцев. За неимением водки будем младенцев ж... жарить.

ЭКИПАЖЕВ. Младенцев?.. Вы с ума сошли!

АНАНАСОВ. А, это другое дело. Тогда давай приданое. Гони бриллианты.

ЭКИПАЖЕВ. Сначала проспитесь. Вы пьяны, как сапожник.

АНАНАСОВ. Совершенно верно. Ну, помиримся. Дай пять. А это что такое? *(Видит бутылку шампанского.)* А-а-а! Старый мошенник. У тебя в погребах шампанское, а ты молчишь. *(Берет бутылку.)* Плут!.. Плутишка!..

ЭКИПАЖЕВ. Будьте добры... Я требую...

АНАНАСОВ. Виноват. Ви-но-ва-ат!

ЭКИПАЖЕВ. Ступайте вон.

АНАНАСОВ. И пойду. И опять приду. За приданым. Ну, старик, помиримся. Дай пять. Не хочешь? Ну и чорт с тобой. До свиданья. До скорого свиданья, безнравственный старик. *(Уходит с шампанским.)*

Явление XXVII

Экипажев один.

ЭКИПАЖЕВ Скорей! Скорей! Он придет требовать приданое. Он пропьет вещи! Пока не поздно. *(Хватает вещи и прячет их под матрац; будильник прячет под подушку.)* Белинского тоже. А то он пропьет Белинского. Это будет ужасный скандал. *(Прячет портрет Достоевского. Ложится в постель.)*

Явление XXVIII

Агнесса входит с водой и порошками.

АГНЕССА. Прими.

ЭКИПАЖЕВ. Не приму его. Как он смел сюда ворваться?

АГНЕССА. Кто?

ЭКИПАЖЕВ. Хам. Твой хам, Парасюк. Он требовал младенцев. Он оскорблял меня, грозил посадить в милицию...

АГНЕССА. Каких младенцев?.. Какая милиция? Ты просто бредишь. Ваня — в академии.

ЭКИПАЖЕВ. Вот тут. Он стоял вот тут. Он похитил мое шампанское — Абрау-Дюрсо, Мумм-Экстра-Дрей.

АГНЕССА. Похитил шампанское? Мумм-Экстра-Дрей? Эге! Я понимаю. Успокойся. Выпей воды.

ЭКИПАЖЕВ. Не буду пить воды. Она — с инфузориями. Пошла вон.

АГНЕССА. Ну, хорошо, хорошо. Я уйду. Только ты успокойся и постарайся заснуть.

ЭКИПАЖЕВ. Заснуть! Ха-ха! Заснуть! Разве я могу заснуть? Парасюк! О-о-о!

АГНЕССА. А ты попробуй слонов считать. Радикальное средство. Один слон и один слон — два слона. Два слона и один слон — три слона. Три слона да один

слон — четыре слона. Как досчитаешь до десяти слонов, так непременно и заснешь. Факт. Попробуй. Только не торопись. Считай методично. Один слон да один слон...

ЭКИПАЖЕВ. Пошла вон. Я буду один считать слонов. Парасюк. О-о! О-о!

Явление XXIX

Вбегает Шура.

ШУРА. Опять против самого дома авария. Агнесса Анатолиевна! С приездом!

Под подушкой у Экипажева звонит будильник.

ШУРА. Ой, мамочки!

АГНЕССА. Ну, что еще такое?

ЭКИПАЖЕВ. Это я себе температуру меряю. У меня сорок.

ШУРА. Батюшки!

ЭКИПАЖЕВ *(прекращает звон)*. Фу! Упала температура. Парасюк! О-о!

ШУРА. А я думала, вагончик трогается. *(Смотрит в окно.)* Куда там! На полчаса пробка.

ЭКИПАЖЕВ. Пошла вон.

АГНЕССА. Иду, иду. Хорошо. Только без фокусов. Ты за ним, Шурка, присмотри пока. Пусть слонов считает.

ШУРА. Ладно.

Агнесса уходит.

Явление XXX

Без Агнессы.

ШУРА. Считайте слонов, Анатолий Эсперович.

ЭКИПАЖЕВ. Один слон да один слон — два слона. Да, да. Мне надо заснуть. Мне надо быть свежим. Два слона да один слон — три слона.

ШУРА. Три слона.

ЭКИПАЖЕВ. Три слона да один слон — четыре слона.

ШУРА. ...да один слон — четыре слона.

ЭКИПАЖЕВ. Да-с! Четыре слона! Ч-етыр-ре сл-л-лона-с! Я покажу им, на что способен Экипажев, когда у него свежая голова. Четыре слона до один слон — пять слонов.

Звонки трамвая.

ШУРА. Мамочки. Вагончик трогается! Вы без меня сами слонов досчитайте, Анатолий Эсперович. *(Убегает.)*

Явление XXXI

Экипажев один.

ЭКИПАЖЕВ. Фу, чорт! Всех слонов распугала. Сколько слонов было? Сначала считать придется. Один слон и один слон — два слона. Два слона и один слон — три слона. Три слона и один слон — четыре слона...

Занавес.

АКТ II

Там же. Прошло несколько часов.

Явление I

Экипажев один. Дым коромыслом.

ЭКИПАЖЕВ. Сто шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят пять слонов и один слон — сто шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят шесть слонов. Сто шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят шесть слонов...

Явление II

Входит Шура в новой кофточке и туфлях.

ШУРА. Мамочки! Сколько слонов! Прямо цирк, не будь я гадом.

ЭКИПАЖЕВ. Молчите... И один слон — сто шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят... семьдесят...

ШУРА. Так и не уснули?

ЭКИПАЖЕВ. Семьдесят... Тьфу. Дым в голове. Не перебивайте. Разве с этими чортовыми слонами заснешь? Семьдесят... *(Прикидывает на счетах.)* ...семьдесят девять слонов... то есть семьдесят десять... Ах ты... Ну вот, — опять вы мне всех слонов распугали. Мерси. Кажется, придется сначала Один слон да один слон..

ШУРА. Будет вам, Анатолий Эсперович. Бросьте слонов.

ЭКИПАЖЕВ. Не могу заснуть.

ШУРА. Так это вы от слонов и не можете заснуть. Вас слоны давят.

ЭКИПАЖЕВ. Я во что бы то ни стало должен заснуть. Хоть на полчаса. У меня должна быть ясная голова.

ШУРА. На что вам ясная голова, Анатолий Эсперович? У вас и так довольно ясная.

ЭКИПАЖЕВ. Вы думаете? Она должна быть еще более ясная. Она должна быть холодной и прозрачной, как хрусталь.

ШУРА. Зачем это?

ЭКИПАЖЕВ. Я жду нападения. Я жду нашествия хама.

ШУРА. Чего это?

ЭКИПАЖЕВ. Сейчас придет хам и будет требовать приданое.

ШУРА. Какой такой хам?

ЭКИПАЖЕВ. Так называемый «муж» моей младшей дочери — «товарищ» Парасюк.

ШУРА. У нас в трамвайном парке один товарищ Парасюк в прошлом году кружок политграмоты вел. Ваня Парасюк.

ЭКИПАЖЕВ. Вот именно. Ваня. *(Вспомнив и ужасаясь.)* Парасюк! У-у-у!

ШУРА. Так Агнесса Анатолиевна с ним зарегистрировалась? Ой, мамочки! Не будь я гадом! Даже завидно. Такой превосходный молодой человек. У нас все девчонки от него прямо с ума сходили. Потом он в Сталинград поехал.

ЭКИПАЖЕВ. В Сталинград... Да...

ШУРА. Ну, значит, он самый. Ваня Парасюк! Только вы зря Анатолий Эсперович, говорите, что — хам. Я, знаете, не могу позволить, чтобы при мне всеми уважаемого партийного старшего товарища хамом обзывали. Я, конечно, извиняюсь.

ЭКИПАЖЕВ. Так он партийный?

ШУРА. А как же? И вам, как интеллигентному человеку должно быть довольно совестно так отзываться о партийном товарище. Я, конечно, очень извиняюсь.

ЭКИПАЖЕВ. Пардон, пардон... Вы, Шурочка, не думайте...

ШУРА. Да я ничего лично против вас не имею, Анатолий Эсперович.

ЭКИПАЖЕВ. Партийный Ваня... Зять... Парасюк!.. О-о-о!

ШУРА. Фу, отдежурилась. Аж ноги позатекли. Чай, что ли, будем пить, Анатолий Эсперович? Я тут кой-чего получила в закрытом распределителе. Пожалуйста, товарищ Экипажев, не стесняйтесь, пользуйтесь. *(Дает сверток.)* Между прочим, кило рафинаду, четыре пачки папирос. Я сама некурящая, но, поскольку знаю, что вы курящий... Берите, берите... Тут еще печенье Бабаева...

ЭКИПАЖЕВ. Экипажевы никогда не протягивали руку за подаянием.

ШУРА. Чего это?

ЭКИПАЖЕВ. Я говорю, Экипажевы никогда не одолжались у посторонних.

ШУРА. Какая же я посторонняя!.. Я у вас в квартире постельку занимаю. Вы меня, Анатолий Эсперович, обижаете. Берите, берите. Поскольку вы безработный интеллигент умственного труда. А я все равно некурящая и чай с сахаром пью у нас в буфете в депо. Берите.

ЭКИПАЖЕВ. Хорошо. Мерси. Но имейте в виду, что все эти продукты я беру на с о х р а н е н и е.

ШУРА. Нехай, на сохранение.

ЭКИПАЖЕВ. Гм... Старые новые Дели. *(Закуривает.)* Ну-те-с.

ШУРА. Курите на здоровьечко. А я сейчас смотаюсь, чайник согрею. *(Берет чайник, поет:)* «Ах, чай пила, самоварничала, всю посуду перебила, накухарничала».

ЭКИПАЖЕВ. А вы, знаете, — миленькая. Некультурная, но миленькая. *(Берет у нее чайник. Игра.)*

ШУРА. Чего это?

ЭКИПАЖЕВ. Этакий дикий цветок. Цветок душистых прерий. Огурчик. Вас так и хочется скушать. Гам!

ШУРА. Отдайте чайник.

ЭКИПАЖЕВ. Колючий огурчик.

ШУРА. Отдайте чайник.

ЭКИПАЖЕВ. А что мне за это будет?

ШУРА. А вы зачем крючок на дверь накидываете?

ЭКИПАЖЕВ. А что б не дуло, что б не дуло.

ШУРА. Сымите крючок. У вас дети взрослые.

ЭКИПАЖЕВ. Тем более... Дурочка, чего ж ты боишься? Я просто хочу любоваться тобой, как статуэткой.

ШУРА. Чего это?

ЭКИПАЖЕВ. Как статуэткой, говорю. Статуэткой.

ШУРА. Анатолий Эсперович. Я за статуэтку могу печеньем Бабаева по шее с'ездить.

ЭКИПАЖЕВ. Дура! Да ты знаешь, что такое статуэтка?

ШУРА. Знаем. Не беспокойтесь. Грамотные. У нас одну кондукторшу за прогулы уволили, так она статуэткой сделалась. Отдайте чайник! Вот я Мише все расскажу. Михаилу Анатолиевичу. Он вам за статуэтку спасибо не скажет.

ЭКИПАЖЕВ. Узнаю — прокляну!

ШУРА. Успокойте свои нервы! *(Уходит.)*

Явление III

Экипажев один.

ЭКИПАЖЕВ. Кондукторша, а такая вредная. Ну, Мишка, смотри у меня! Парасюк! У-у-у! С одной стороны — Ананасов, а с другой — Парасюк. О-о! Я с ума сойду. *(Нюхает воздух.)* Однако артамоновские щи на всю квартиру пахнут. Господину Бельё — все, а настоящей духовной интеллигенции ничего. Просто сживают со света. Не выдают нам с вами, господин Белинский. *(Кланяется портрету Достоевского.)* Ничего не выдают... Перец выдают. Наждак выдают... Парасюка выдали... Парасюк! У-у-у! Ну, не могу я с этой фамилией примириться. Не могу! Однако — щи. Ух! Так бы в них и плюнул... хр... в них... в проклятых...

Явление IV

Входит Шура с чаем.

ШУРА *(поет.)* «Эх, чай пила, самоварничала...» Анатолий Эсперович, подите посмотрите, — в уборной опять свет не погасили.

ЭКИПАЖЕВ. Ну, это уже окончательно хамство! Остается одно. *(Достает из комода очень большой висячий замок и идет навешивать его).*

Явление V

Быстро вбегает Миша в милице

МИША. Отдежурил. *(Переодевается.)*

ШУРА. И я отдежурила.

МИША. Вы со смены...

ШУРА. И вы со смены...

МИША. Ну так как же?

ШУРА. Ничего не имею против. Не возражаю.

МИША. Так в два счета. Хватай документы.

ШУРА. Анатолий Эсперович проклинать грозился.

МИША. Пускай проклинает. Не маленькие. Ну! Живо! Одна нога здесь, другая там. Я тебя у ворот подожду. *(Убегает.)*

Явление VI

Шура одна. Торопится, пьет чай, обжигается, ищет документы.

ШУРА *(поет.)* «Эх, чай пила, самоварничала».

Явление VII

Входит Экипажев.

ЭКИПАЖЕВ. Ключ в карман и буду выдавать в каждом отдельном случае. Не больше двух раз в сутки каждому жильцу.

ШУРА. Ах, какие страсти! А если кому-нибудь три раза ключ понадобится?

ЭКИПАЖЕВ. Не дам. Пусть к знакомым в гости идет. Я не настолько богат, чтобы переплачивать за электрическую энергию. А у Артамоновой-то, действительно, щи со свиной ногой. Жирные щи.

ШУРА. А вы в кастрюлю заглядывали, что ли?

ЭКИПАЖЕВ. Ну уж, — заглядывал. Так только. Слегка крышку приподнял... И этак... Хр... *(Делает губами звук не то плевательный, не то чмокающий.)* Этак... Хр...

Явление VIII

Входит Калерия.

ШУРА *(Калерии)*. Здравствуйте и прощайте.

КАЛЕРИЯ. Ничего не сказала?

ШУРА. Будьте у верочки. *(Уходит.)*

Явление IX

Без Шуры.

КАЛЕРИЯ. Эжена еще нет? Тем лучше. Он должен сейчас притти.

ЭКИПАЖЕВ. Как его здоровье?

КАЛЕРИЯ. О, вполне. Он совершенно выспался, то есть поправился. Я надеюсь, он тебе понравится. Ты полюбишь его, когда узнаешь ближе. Ты должен его полюбить. Он такой слабый, такой хрупкий...

ЭКИПАЖЕВ. Охотно. Охотно. Я уже люблю его, дитя мое. Он моя последняя надежда. Ему, только ему я смогу спокойно передать знамя. И никому другому. Потому что... Потому что... У меня нет больше...

КАЛЕРИЯ. Что? Что случилось?

ЭКИПАЖЕВ. Случилось несчастье.

КАЛЕРИЯ. С кем? С Агнессой? Ради бога! С Агнессой?

ЭКИПАЖЕВ. С Агнессой.

КАЛЕРИЯ. Что? Попала в машину? Утонула?

ЭКИПАЖЕВ. Хуже. Она вышла замуж.

КАЛЕРИЯ. Агнеса вышла замуж? За кого?

ЭКИПАЖЕВ. За хама.

КАЛЕРИЯ. Когда?

ЭКИПАЖЕВ. Как только ты ушла — письмо. Трах. Как обухом по голове. И через полчаса — сама со своим хамом. Мастеровой. Морда как у обезьяны. Разумеется, пьян как стелька, фамилия — Парасюк! *(Вспомнив.)* Парасюк! У-у! Ну не могу я примириться с этой фамилией. Не могу! Вдумайтесь в это, Агнесса, — Парасюк.

КАЛЕРИЯ. Но я все-таки хочу ее видеть!

ЭКИПАЖЕВ. Не советую. И, что самое ужасное, он ворвался сюда и прежде всего потребовал ее приданое. Ты ведь знаешь, Калерия, — твоя покойная мама, царство ей небесное, оставила после себя бриллиантовые серьги. Всем сестрам по серьгам. Тебе — одну сережку и Агнессе — другую сережку. Это было ваше приданое от мамочки, царство ей небесное. Вы это знали. Серьги лежали у меня. Ну-те-с.

КАЛЕРИЯ *(с беспокойством).* На сохранении.

ЭКИПАЖЕВ. Ну да. На сохранении. Лежали. Царство небесное... то есть, что я... Лежали...

КАЛЕРИЯ. Лежали? А теперь? Они пропали?

ЭКИПАЖЕВ. Собственно, они не пропали, но они... исчезли.

КАЛЕРИЯ *(убитая).* Когда?

ЭКИПАЖЕВ. На-днях.

КАЛЕРИЯ. Что ж это будет? Эжен так рассчитывал. Мы с Эженом так рассчитывали!

ЭКИПАЖЕВ. Вы с Эженом рассчитывали — это ничего! Мы с Евгением Николаевичем — оба интеллигентные люди и, надеюсь, всегда поймем друг друга. Можешь вполне положиться на мой такт. Но Парасюк! Что скажет Парасюк! *(Вспомнив.)* Парасюк! О-о-о! Ну не могу я примириться с этой фамилией. Не могу! Он меня бить будет! Просто бить по морде. А с Эженом мы быстро договоримся.

КАЛЕРИЯ. Ох, нет! Ты не знаешь Эжена!

ЭКИПАЖЕВ. Я знаю Эжена. Эжен — интеллигентный... Эжен хрупкий.

КАЛЕРИЯ. Ох, не очень хрупкий.

ЭКИПАЖЕВ. Нет, хрупкий, хрупкий. Уверяю тебя. Хрупкий. Я знаю. *(Стук в дверь.)* Антре!

Явление X

Заглядывает 1 жилец.

1 ЖИЛЕЦ. Анатолий Эслерович, дайте ключик.

ЭКИПАЖЕВ. Вы сегодня сколько раз пользовались?

1 ЖИЛЕЦ. Один раз, Анатолий Эсперович.

ЭКИПАЖЕВ. Ой ли?

1 ЖИЛЕЦ. Честное, благородное слово. Все жильцы могут подтвердить. Дайте ключик.

ЭКИПАЖЕВ. Э, нет. На руки ключ ни-ко-му! Пожалуйте вместе. Извини, душечка, я на две-три минуты. Пожалуйте. *(Уходят.)*

Явление XI

Калерия одна.

КАЛЕРИЯ *(убито).* Неужели! Этого не может быть. *(Открывает комод, роется, достает футляр.)* Вот. *(Открывает его.)* Пустой! *(Из футляра на пол падает квитанция, не замеченная Калерией.)* Это ужасно! Что я скажу Эжену? *(Кладет футляр в комод. Плачет.)*

Явление XII

Входят Агнесса и Парасюк.

АГНЕССА. Калька! Каличка!

КАЛЕРИЯ. Агнесса!

АГНЕССА. Солнышко! Лошадка! Скамеечка! Чего ж ты ревешь, как белуга? Вот дура!

КАЛЕРИЯ. Поздравляю тебя.

АГНЕССА. А я тебя. А я тебя. Ах ты черная! Ах ты носатая! Перестань же реветь. Вот дуреха! Ваня, иди сюда. Это моя единоутробная сестра. А это мой единоутробный супруг. Познакомьтесь.

ПАРАСЮК. Будем знакомы. Парасюк.

АГНЕССА. Цыц! Я тебе что говорила? Ты еще при папаше ляпни — Парасюк. Вот будет тебе тогда Парасюк. Ты не знаешь, что тут сегодня утром делалось. Старик прямо на стенку полез. Помалкивай пока. К такой фамилии надо постепенно пожило

го человека приучать. Я и то два дня привыкала.

ПАРАСЮК. А я, представьте себе, даже ничего такого странного не замечаю. Ну, Парасюк и Парасюк. Обыкновенная украинская фамилия.

АГНЕССА. Цыц! Забудь! На два часа забудь свою обыкновенную украинскую фамилию. Можешь ты это сделать для меня?

ПАРАСЮК. Пожалуйста. Ничего не имею. Хоть на целый квартал могу забыть. Анекдот.

АГНЕССА. Ваничка, ты здесь посиди. Подожди старика один. А то старик сразу двух Парасюков в одной комнате не выдержит. Факт. Только имей в виду. Никакого Парасюка. Цыц. Муж вашей дочери — и точка. И насчет Маркса с ним не очень. Он политически довольно-таки отсталый суб'ект. Пойдем, Каличка.

ПАРАСЮК. Ладно.

АГНЕССА. А главное — никаких Парасюков. Муж вашей дочери и цыц! *(Уходят.)*

Явление XIII

Парасюк один.

ПАРАСЮК *(осматривается)*. Это, вероятно, Аничкина мама. Красивая женщина. Достоевский... Интеллигенция! Муж вашей дочери... и цыц...

Явление XIV

Входит Экипажев.

ЭКИПАЖЕВ *(пряча ключ в карман)*. Ну-те-с... *(Видит Парасюка.)* Чем могу?

ПАРАСЮК. Муж вашей дочери. Парас... цыц... Муж вашей дочери.

ЭКИПАЖЕВ. *(про себя)*. Ананасов! Неужели тоже приданое будет требовать? *(Ему.)* А! Голубчик! Наконец-то вы появились! Очень, очень рад приветствовать вас у себя в доме. Дочь вышла? Тем лучше. Этак мы скорее поймем друг друга. Как мужчина мужчину. Садитесь. Чаю? Кофе? Какао? Впрочем, кажется кофе и какао нет. Ну так чаю. С бисквитом. Хоть и советского производства Бабаева, но весьма, весьма... Гм... Чай совсем простыл. Шура! Впрочем Шуры нет. Ну-те-с. Прекрасные сигаретты. Старые новые Дели.

ПАРАСЮК. Как это — старые новые?

ЭКИПАЖЕВ. А есть еще новые старые. Затем новые-новые и старые-старые. Хе-хе! Советские тонкости. Курите, пожалуйста.

ПАРАСЮК. Не курю. Бросил. Зачем себе зря организм отравлять.

ЭКИПАЖЕВ. Золотые слова. Но, к сожалению, не вся современная молодежь так здраво рассуждает. Далеко не вся. Антр ну суа дит, вся современная, так называемая советская молодежь, — это просто какие-то подонки. Всеобщий разврат. Ругаются, плюются, хамят...

ПАРАСЮК. Ну уж, вы это слишком загибаете. Например комсомол...

ЭКИПАЖЕВ. Вот, вот. Я про комсомол и говорю. Поголовно — бандиты.

ПАРАСЮК. Позвольте!

ЭКИПАЖЕВ. Не позволю, голубчик, не позволю. И вы знаете что? С вами можно говорить совершенно откровенно. Как интеллигентный человек вы меня поймете. По-моему, все дело тут в происхождении. Происхождение всегда дает себя знать.

ПАРАСЮК. Да, но Чарльз Дарвин...

ЭКИПАЖЕВ. Дарвин... Да, да. Там еще у него что-то про обезьян. Я помню. Но, дорогой мой, Дарвин Дарвином, обезьяны обезьянами, а факт налицо. Настоящий человек есть настоящий человек, а хам есть хам. Взять например меня. Или вас. Достаточно только посмотреть на вас — и сразу все ясно! Кровь. Порода. Вековые традиции. Идеалы, всосанные с молоком матери. Высокий лоб. Тонкие черты лица. Надбровные дуги. Глаза. Интеллектуальные уши...

ПАРАСЮК. Ну, уж это вы, Анатолий Эсперович, положим, сильно преувеличиваете...

ЭКИПАЖЕВ. Нет, нет! Я понимаю вашу скромность. Это делает вам честь. Но факт остается фактом. Против факта, батенька, не попрешь.

ПАРАСЮК. С этим, конечно, можно спорить, но... Однако ж вы и дымите, Анатолий Эсперович. Как паровоз.

ЭКИПАЖЕВ. Увы! Скверная привычка. Я, знаете, ужасно много курю. Особенно во время процесса мышления или же когда чем-нибудь взволнован.

ПАРАСЮК. Чем же вы взволнован

ЭКИПАЖЕВ. Ах, не говорите. У нас в семье такое несчастье. Мне даже вам как-то совестно говорить. Но все равно, вы свой человек. Шила в мешке не утаишь. Моя другая дочь вышла замуж за хама.

ПАРАСЮК. За хама?

ЭКИПАЖЕВ. За форменного хама. Это ужасно, но факт. Просто за мастерового.

ПАРАСЮК. У нас нет мастеровых. У нас рабочие.

ЭКИПАЖЕВ. Это безразлично. Мастеровой, рабочий — одно и то же. По-ихнему — рабочие, а по-нашему — хамы.

ПАРАСЮК. Однако вы чересчур загибаете.

ЭКИПАЖЕВ. Но если б вы его только видели! Я лежу болен. У меня сорок. И вдруг он вваливается. Водкой несет, как из бочки. Руки непропорционально длинные. Череп — обезьяний. Уши плебейские. Двух слов связать не умеет. Только мычит нечто нечленораздельное: «Папочка, папулечка, ку-ку». — А вы говорите — Дарвин... И нагло требует приданое. Приданое, а? Как это вам покажется?

ПАРАСЮК. На четырнадцатом году пролетарской революции—приданое? Анекдот.

ЭКИПАЖЕВ. Именно анекдот. Скверный анекдот. Да как требует — чуть ли не через милицию. С ножом к горлу. Верите ли, он меня почти задушил. И знаете, какое кровожадное животное? Все время каких-то младенцев требовал. Я их, кричит, сейчас жарить буду. Младенцев жарить — а? Ужас! Ужас!

ПАРАСЮК. Ничего себя зять. Так это ж просто какой-то уголовный тип. Люмпен.

ЭКИПАЖЕВ. Во-во! Золотые слова! Уголовный тип. Именно. Но ужаснее всего — это приданое. Откуда-то он вообразил, что я даю за дочерьми приданое. Действительно, в свое время я предполагал. Были такие небольшие сережки... Но теперь, вы сами понимаете... А? Вы ведь понимаете? А он требует. Разве так бы поступил интеллигентный человек, как, например, вы? А?

ПАРАСЮК. Действительно — анекдот. Прямо для «Крокодила». Что у нас — эпоха феодализма, чтобы брать за девушками какое-то приданое? Еще, может быть, калым!

ЭКИПАЖЕВ. Вы действительно так думаете?

ПАРАСЮК. А как же иначе?

ЭКИПАЖЕВ. Благодарю вас. Благодарю вас. *(Жмет ему руку.)* Другого я от вас и не ожидал. А дочь еще опасалась. Но я был уверен. Так вы, значит, действительно не претендуете?

ПАРАСЮК. Я? Претендую??? На что??? На приданое? Да вы меня просто смешите. Какие могут быть разговоры. Конечно, нет. Все совершенно ясно.

ЭКИПАЖЕВ. Ясно? Мерси. Мерси. *Рукопожатие).*

ПАРАСЮК. Да наконец советское законодательство не признает никаких приданых.

ЭКИПАЖЕВ. Не признает?

ПАРАСЮК. Не признает.

ЭКИПАЖЕВ. Вы это наверное знаете?

ПАРАСЮК. Да господи ж!

ЭКИПАЖЕВ. О, благодарю вас. Благодарю. *(Рукопожатие.)* Я этому хаму так и заявлю. Вы знаете, антр ну суа дит, это единственное мероприятие советской власти, которое я вполне одобряю. Но все-таки это ужасно. Каждую минуту он может ворваться сюда. Я даже не знаю, ну как мне с ним говорить: «ты» или «вы», «братец», или «голубчик», или «любезнейший», или «товарищ»? И о чем, ну о чем мне с ним говорить? О кабаках? О харчах? О спинжаках? О портянках? Не представляю себе! Посоветуйте?

ПАРАСЮК. Да что ж тут советовать. Будет безобразничать — гоните его в шею, не глядя, что зять.

ЭКИПАЖЕВ. Что вы! Что вы! Нельзя. Он же — партийный.

ПАРАСЮК. Партийный? Ну, значит — тем более. Таких партийных надо из партии вон.

ЭКИПАЖЕВ. Из партии вон? Вы меня воскрешаете. Мерси. Мерси.

ПАРАСЮК. Да вы не расстраивайтесь. Все уладится.

ЭКИПАЖЕВ. Мерси. Мерси. Я так и сделаю.

ПАРАСЮК. Анатолий Эсперович. Мои старики очень вас просили. Особенно папаша. Вечерком — к нам, на стаканчик чаю.

ЭКИПАЖЕВ. О, с восторгом, с восторгом! Я давно мечтал потолковать с вашим батюшкой. Мы ведь с вашим батюшкой, можно сказать, люди одной закваски. Последние, так сказать, дубы. Так сказать, — обломки старого русского либерализма. Ведь ваш батюшка отчаянный либерал?

ПАРАСЮК. Да... как сказать. Пожалуй, что и отчаянный, но только либерал ли, кто его знает.

ЭКИПАЖЕВ. Либерал, либерал. Я знаю, — либерал!

ПАРАСЮК. А уж поговорить с интеллигентным, просвещенным человеком — это у него первое удовольствие.

ЭКИПАЖЕВ. Хе-хе-хе! Да и я, знаете, не прочь стариной тряхнуть.

ПАРАСЮК. Так я вам адресок запишу.

ЭКИПАЖЕВ *(мечтательно декламирует):* «О чем шумите вы, народные витии».

Явление XV

Врывается 2 жилец.

2 ЖИЛЕЦ *(бурно)*. Анатолий Эсперович! Ключ!

ЭКИПАЖЕВ. «Зачем анафемой грозите вы России?»... Который раз?

2 ЖИЛЕЦ. Второй! Второй!

ЭКИПАЖЕВ. Ой, третий?

2 ЖИЛЕЦ. Второй! Второй! Ключ!

ЭКИПАЖЕВ. На руки ключ никому! Пожалуйте, вместе. Извините, дорогой мой, я вас оставлю на две-три минуты. Мне тут нужно по одному общественному делу. Я, знаете ли, как старый общественный деятель, даже в частной жизни не могу без общественных обязанностей...

2 ЖИЛЕЦ. Да ну вас! Ну же! Идем.

ЭКИПАЖЕВ. Пардон. *(Уходят.)*

Явление XVI

Парасюк один, пишет адрес.

ПАРАСЮК. Рогожская застава, третий Песочный переулок, дом № 3а, 4 корпус, 3-й под'езд, квартира № 70, спросить Парасю... Цыц! Никаких Парасюков. *(Зачеркивает слово Парасюк.)*

Явление XVII

Входит сияющая Шура.

ШУРА. Ванька! Здорово!

ПАРАСЮК. Шурка Ключикова. Ты как сюда попала?

ШУРА. Так же само, как и ты.

ПАРАСЮК. Как это?

ШУРА. А очень просто. Парасюк! Ох, нет, ни за что не скажу.

ПАРАСЮК. Ну все-таки?

ШУРА. Я здесь постельку нанима

ПАРАСЮК. Что нанимаешь?

ШУРА. Ну — постельку, коечку.

ПАРАСЮК. Ах, у Экипажевых угол снимаешь?

ШУРА. Угол! Фи, как вы вульгарно выражаетесь. Может, еще ночлежка — скажете. Постельку, постельку. А ты что, в зятья к Экипажеву заделался?

ПАРАСЮК. Экипажев сам по себе, а я сам по себе.

ШУРА. Такую себе подругу оторвал!

ПАРАСЮК. Что, хороша?

ШУРА. Во! Большой палец! С присыпкой.

ПАРАСЮК. А ты все ездишь?

ШУРА. Езжу, чтоб им всем повылазило! Ох, Парасюк, поди сюда, что я тебе скажу. Нет, нипочем не скажу. Хоть ты меня зарежь.

ПАРАСЮК. Учиться бросила?

ШУРА. Какой там. Учусь как собака. И Мишка учится. Мишка — это Экипажев сын, Михаил Анатолиевич. Мы оба думаем в сентябре держать в техникум.

ПАРАСЮК. Ишь, как разоделась. В пух и прах. Ты что — ограбила кого-нибудь или обокрала?

ШУРА. Сверхурочные получила. Сорок два рубля. Тапочки новые купила. Во! Гуляем! Ох, Парасюк! Значит, мы теперь с тобой вроде как... ох, не скажу!

ПАРАСЮК. Малахольная! *(Смотрит на часы.)* Ого! Мне еще в Комакадемию надо смотаться. Тут где-то Агнесса, так ты ей скажи, чтоб меня не ждала. И старику скажи. Он тут по каким-то общественным делам пошел.

ШУРА. Дежурит с ключом возле уборной, чтоб жильцы свет тушили. Вот тебе и всех общественных делов.

ПАРАСЮК. Ах ты, маленькая язва! Приходи вечерком... с Мишкой со своим... А?...

ШУРА. Ах ты, язва, не будь я гадом. *(Парасюк уходит.)*

Явление XVIII

Шура одна.

ШУРА. А набросано. А накурено. Только выскочи из квартиры. *(Поднимает с полу квитанцию.)* Квитанция какая-то: «Магазином Госторга уплачено гр. Экипажеву А. Э. за дамские бриллиантовые серьги 4500 рублей». Такой документ прямо на полу валяется, как сметье. Ей-богу, эти интеллигенты — чистые дети. Такой денежный документ! Надо его спрятать и Мишке отдать, а то старик уж совсем никуда не годится.

Явление XIX

Входит Экипажев.

ЭКИПАЖЕВ. Где зять?

ШУРА. Сказал, что извиняется. В Академию пошел. *(Уходит.)*

ЭКИПАЖЕВ. Зять пошел в Академию. Вот это зять! А вы говорите Дарвин!

Явление XX

Входит Ананасов, трезвый перепою.

ЭКИПАЖЕВ *(про себя)*. Парасюк.

АНАНАСОВ. Здравствуйте.

ЭКИПАЖЕВ *(про себя)*. За приданым пришел.

АНАНАСОВ. Здравствуйте, папаша!

ЭКИПАЖЕВ *(про себя)*. А вот я тебе сейчас пропишу папашу. *(Ему.)* Здравствуй, братец. Ты что ж это себе позволяешь, любезнейший? А?

АНАНАСОВ. Простите великодушно. Несчастный случай. Немножко с дороги переложил. Ничего не помню.

ЭКИПАЖЕВ. Ах, ничего не помнишь? Так я тебе могу напомнить.

АНАНАСОВ. Кажется, я с вами на брудершафт не пил.

ЭКИПАЖЕВ. На брудершафт? Вот как! Оказывается, ты даже такие тонкие слова понимаешь? Бру-дер-шафт! Хм... Это любопытно.

АНАНАСОВ. Позвольте.

ЭКИПАЖЕВ. Не позволю! Да как ты осмелился? Да я, братец, не посмотрю на то, что ты мастеровой.

АНАНАСОВ. Позвольте!

ЭКИПАЖЕВ. Не поз-волю! Да что же это ты, милейший, а? Советского законодательства не знаешь? Против собственной власти прешь? Приданое требуешь?

АНАНАСОВ. Уговор дороже денег.

ЭКИПАЖЕВ. Уговор? С кем уговор?

АНАНАСОВ. С дочкой вашей. С моей супругой.

ЭКИПАЖЕВ. Вот как! Успел уговориться уже! Напрасно, любезный, торопился. Я ее проклял и лишаю приданого. Ну-те-с!

АНАНАСОВ. Не имеете права.

ЭКИПАЖЕВ. Не имею права? Ах, так! Ты, кажется, позволяешь себе учить меня советскому законодательству? Бриллиантов тебе подавай? Жемчугов? Рубинов? Сапфиров? Хризопразов? А тебе, хаму, не известно, что в советской стране приданое отменяется? Тебе что, феодализма захотелось? А вот я тебя за такие мысли в милицию сейчас отправлю. Вот будет тебе тогда в милиции феодализм!

АНАНАСОВ. Но, папаша...

ЭКИПАЖЕВ. Молчать! Никакой я тебе не папаша! Я не давал согласия на ваш брак. Вон из моего дома!

АНАНАСОВ. Что вы этим хотите сказать?

ЭКИПАЖЕВ. А то самое. Пошел вон из моего дома.

АНАНАСОВ. А! После того, что вы позволили себе по отношению ко мне, нам остается одно: взять свои вещи, немедленно переселиться к вам и жить до тех пор, пока вы не отдадите приданое, чтобы мы могли купить себе приличную комнату.

ЭКИПАЖЕВ. Ну, нет-с, любезнейший. Дудки! Хоть ты и директор, и класс гегемон, и хозяин положения, и прочее и прочее, но попрошу не забывать, что я не одинок. На моей стороне первоклассный юрист Ананасов.

АНАНАСОВ. Ананасов?

ЭКИПАЖЕВ. Д-с! Старик Ананасов! Я сегодня приглашен к старику Ананасову на чашку чаю.

АНАНАСОВ. Плевал я на старика Ананасова! Я сам себе Ананасов!

ЭКИПАЖЕВ. Вы видите, господин Белинский?

АНАНАСОВ. Только без лирики. Я — не марксист. Короче: серьги на бочку или я вам устрою небывалый, феерический скандал в публичном месте!

ЭКИПАЖЕВ. Вон!

АНАНАСОВ. Ах, так! Но имейте в виду. От меня никуда не скроетесь. Ни-ку-да-а! На дне моря найду. Найду и публично набью морду.

ЭКИПАЖЕВ. Вон!

Ананасов уходит.

Явление XXI

Входит Шура.

ШУРА. Батюшки! Что случилось?

ЭКИПАЖЕВ. Меня оскорбил хам. Мерси. Но мы еще посмотрим.

ШУРА. Не будь я гадом.

Явление XXII

Входит неподвижная и холодная, как статуя, Артамонова с кастрюлей дымящихся щей. Ее сопровождают оба жильца, которые изредка заглядывают в кастрюлю.

ЭКИПАЖЕВ *(к Артамоновой)*. Ангина Павловна! Вы интеллигентная женщина. Только вы одна можете понять меня. Почему вы молчите? Меня только что оскорбил хам, а вы молчите? Ах, простите, у вас руки заняты...

Явление XXIII

Входит Миша в штатском.

МИША. Папаша, я...

ШУРА. Говори, говори...

ЭКИПАЖЕВ *(сыну)*. Здравствуй, любезнейший! Что же это ты, братец?... А? То есть, что я такое говорю. Здравствуй, Михаил.

МИША. Я, папаша...

ШУРА. Говори, говори, не бойся.

МИША. Папаша, я... *(Шуре.)* Не могу.

ШУРА. Ну, давай, я скажу.

МИША. С ума сошла. Я, папаша, знаешь, все подумываю, не поступить ли мне действительно на службу. Нельзя же в самом деле все время без работы небо коптить. Например, я определенно думаю поступить в милицию...

ЭКИПАЖЕВ. Молчи! Ни слова! Младшая дочь вышла замуж за хама. Не хватало еще, чтобы единственный сын сделался городовым. Имей в виду, перед всеми говорю, увижу тебя в милицейской форме — прокляну.

МИША. Ну что вы расстраиваетесь, папаша. Жизнь меняется. Отцы и дети.

ЭКИПАЖЕВ. Дворянское гнездо. Записки охотника. Тарас Бульба. Не раздражай меня. Молчи. *(Вспомнив.)* Парасюк! У-у! Ангина Павловна, вы — мать. Вы одна можете понять. Ах, у вас руки заняты. Пардон... Вот-с, господин Белинский! Я же вам говорил: придет хам. И он пришел. Пришел и требует у нас с вами приданое. От лица русской интеллигенции — мерси!

ШУРА. Это Достоевский, Анатолий Эсперович.

ЭКИПАЖЕВ. Разве? Фу, чорт. До того мухи за тринадцать лет засидели, что неизвестно, где кончается Достоевский и где начинается Белинский. Мерси. Но мы еще повоюем с хамом, чорт возьми. Теперь нас двое — я и Ананасов. Нас с Ананасовым голыми руками не возьмешь. Скорее. Где мой старый верный боевой сюртук! К Ананасову. К Ананасову! Где это?... *(Вынимает адрес.)* Рогожская застава. Эк ведь куда порядочного человека большевики загнали... А впрочем, район весьма фешенебельный. Не правда ли, Ангина Павловна? Третий Песочный переулок... Спасибо, что не четвертый... Дом № 3-а... Все-таки А, а не Б. И то хорошо... 4-й корпус, 3-й под'езд, квартира номер 70... Эх, Николай Николаевич, Николай Николаевич... Бедная, бедная русская интеллигенция... Но! Терпенье, терпенье. Мы еще увидим небо в алмазах, не так ли, Ангина Павловна! Ах, извините. У вас руки заняты. Мы еще высоко держим знамя... Она еще взойдет, заря, заря пленительного счастья... Чем ночь черней, тем ярче звезды...

АРТАМОНОВА. Анатолий Эсперович! Скажите правду. Это вы плюнули в кастрюлю?

ЭКИПАЖЕВ. Что вы этим хотите сказать?

АРТАМОНОВА. Я вас спрашиваю: это вы плюнули в наш борщ?

ЭКИПАЖЕВ. Какая гадость!

АРТАМОНОВА. Я знаю. Это вы плюнули.

ЭКИПАЖЕВ. Клянусь честью — не я!

АРТАМОНОВА. Нет, вы!

ЭКИПАЖЕ. Откуда вы знаете?

ШУРА *(заглядывает в кастрюлю)*. Слюна желтая. Во всей квартире только у вас у одного слюна табачная. Не будь я гадом.

Занавес.

АКТ III

Вечер то о же дня. Квартира Парасюков в новом кооперативном доме. Открыт балкон. Внизу гулянье, может быть, музыка. Парасюки переселились сюда дня три тому назад. Есть книги и портреты. Дверь в ванну. Еще очень светло.

Явление I

Парасюки: мать и дедушка.

МАТЬ. Вот тебе чистое белье.

ДЕДУШКА. Не буду купаться.

МАТЬ. Здравствуйте! Это что за новости?

ДЕДУШКА. Не буду купаться в ва не. Освободи.

МАТЬ. Как это — не буду? За милую душу искупаешься.

ДЕДУШКА. Я не граф, чтоб в ваннах купаться. Я лучше на балкончике посижу, музыку послушаю. А в ваннах пускай графы купаются. Освободи.

Явление II

Из ванной выходит отец. Он в синем холщевом халате, мокрый, причесывается.

ОТЕЦ. Битте-дритте! Хар-рошая штука — душ после работы. Кто его выдумал? Я б этому человеку непременно поставил большой памятник на самом видном месте. Факт.

МАТЬ. А он не хочет купаться.

ОТЕЦ. Кто не хочет купаться?

МАТЬ. Дедушка.

ОТЕЦ. Срам какой.

ДЕДУШКА. Я не граф.

МАТЬ. Заладил.

ОТЕЦ. Ну, многоуважаемый Иван Сидорович, хоть ты мне и папаша, хоть ты и не граф, а придется, кажется, к тебе применить революционное насилие. Иди в ванну.

ДЕДУШКА. Увольте. Освободите.

ОТЕЦ. Хватай-ка его, мать, за руки, я его возьму за ноги.

ДЕДУШКА. Не щекотите меня. Ну вас. Не щекотите! Я не граф!

ОТЕЦ. В два счета.

ДЕДУШКА. Не пойду!

ОТЕЦ. Иди!

ДЕДУШКА. Не пойду. Ну вас!.. Пустите!.. Грех вам!..

МАТЬ. Снимай портки!

ОТЕЦ. Живо!

ДЕДУШКА. Не сниму!

МАТЬ. Ты что же, всю нашу фамилию осрамить хочешь? Знаешь, какого человека мы к себе в гости ждем? И ты хочешь перед этим интеллигентным родственником появиться такой неумытой хрюшкой?

ДЕДУШКА. Хоть собакой назови. Не пойду!

ОТЕЦ. Иди, иди. Раз-два и готово. *(Водворяет дедушку в ванную комнату.)* Битте-дритте. Смотри, хорошенько мойся. Не жалей горячей воды. Наша!

Явление III

Входит Парасюк.

ПАРАСЮК *(в дверях)*. Привет родителям.

МАТЬ. Поаккуратнее в дверях, поаккуратнее. В заливного судака ногами не влезь.

ПАРАСЮК. Не влезу. Что за шум, а драки нету?

ОТЕЦ. Дедушку купаем.

ПАГАСЮК. Великое национальное событие. Шум на всю лестницу. Агнесса не приходила?

ОТЕЦ. Не приходила.

МАТЬ. Ну что, самого пригласил?

ПАРАСЮК. Пригласил.

МАТЬ. Придет?

ПАРАСЮК. Придет.

МАТЬ. Сам?

ПАРАСЮК. Сам.

МАТЬ. Сегодня?

ПАРАСЮК. Сегодня.

МАТЬ. Когда?

ПАРАСЮК. Сейчас.

МАТЬ *(отцу)*. Слышишь? Сейчас сам придет. А ты в халате, как арестант. Ступай, хоть в пиджак переоденься.

ОТЕЦ. Погоди. Что ж он из себя за человек?

ПАРАСЮК. Увидишь.

ОТЕЦ. Интеллигент?

ПАРАСЮК. Вроде.

МАТЬ. Профессор?

ПАРАСЮК. Вроде.

МАТЬ. Ну тебя. Заладил. *(Отцу.)* Слышишь? Профессор! Галстук надень.

ОТЕЦ. Надену. *(Дедушка выглядывает из ванны.)* Стой! Ты куда?

Явление IV

Выходит дедушка из ванны.

ДЕДУШКА. В баню пойду, а в ванну не пойду.

ПАРАСЮК. Брысь!

ДЕДУШКА. Неужто так-таки и придется на старости лет в ванне купаться?

ПАРАСЮК. Определенно.

ДЕДУШКА. Я ж не граф. Ну, дети нынче пошли! Ну, внучки нынче пошли! Наказанье! *(Скрывается. Отец уходит переодеваться.)*

Явление V

Без дедушки.

МАТЬ. Ваничка, у меня в духовом шкафу пироги с груздями. Товарищ Экипажев любит пироги с груздями?

ПАРАСЮК. Любит.

МАТЬ. Очень приятно. А заливного судака кушает?

ПАРАСЮК. Кушает, кушает. Он у нас все кушает.

МАТЬ. Сразу видать образованного человека. *(Вытаскивает и ставит на подоконник фикус.)*

Явление VI

Входит разодетый отец.

ОТЕЦ. Н-да. Давненько я собираюсь с настоящим культурным, образованным человеком вплотную потолковать. Стой! Откуда фикус! Я ж сказал, чтоб эту дрянь на новую квартиру не перевозить. Сырость только от них.

МАТЬ. Один, один.

ОТЕЦ. Тьфу! Н-да. Интеллигенция — она сила! Ого-го!

МАТЬ. А не заробеешь?

ОТЕЦ. Чего мне робеть? Кой в чем и мы подковались. Эх, мать моя, старушка моя дорогая, жизнь-то какая разворачивается вокруг... *(Обнимает ее в дверях балкона.)*

ПАРАСЮК Она и он, — луна, балкон. Я давно подозревал, что у меня родители Ромео и Джульетта.

МАТЬ. Родной матери такие слова. Бандит.

Звонок.

ПАРАСЮК. Идет профессор.

МАТЬ. Голубчики! Профессор! А я-то! На что похожа! Отвори, Ваничка! *(Убегает.)*

ОТЕЦ. Идет. Идет. *(Мечется, натыкается на другой фикус.)* Стой! Опять фикус! А ч-чорт!

Явление VII

Входят торжественный Экипажев и Парасюк, открывший ему дверь.

МАТЬ *(из-за двери)*. В дверях поаккуратней. В заливное не влезьте. *(Скрывается.)*

ЭКИПАЖЕВ. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Я бочком.

ОТЕЦ. Пожалуйте, милости просим.

ПАРАСЮК. Ну вот. Знакомьтесь. Гражданин Экипажев. Гражданин Пара... цыц! Гражданин — мой отец.

ЭКИПАЖЕВ. Очень приятно, очень приятно.

ОТЕЦ. Очень приятно, очень приятно.

ПАРАСЮК. Историческая встреча. *(Уходит к себе в комнату.)*

ЭКИПАЖЕВ. Я давно с вами мечтал познакомиться.

ОТЕЦ. И я, знаете, мечтал. И я-с.

ЭКИПАЖЕВ. И вот, на старости лет... На склоне дней... Два, так сказать, обломка... Извините, не в силах сдержать слез... При таких исключительных обстоятельствах... Так сказать, соединенные родственными узами... гименея...

ОТЕЦ. Вот именно. В самую точку. Именно — родственными... Как это вы хорошо выразили, товарищ Экипажев. Вроде как бы смычка с интеллигенцией.

ЭКИПАЖЕВ. Именно, именно... Смычка интеллигенции... прекрасно сказано. Исторический момент... Две молодых поросли русского либерализма — моя нежная дочь и ваш превосходный сын... соединились, так сказать...

ОТЕЦ. Дочка ваша, действительно, молодец. Такая умница, такая работящая, бедовая девушка.

ЭКИПАЖЕВ. Мерси, мерси. И ваш замечательный сын тоже. Такой молодой и уже академик... Это, знаете, чего-нибудь да стоит. Но впрочем, вполне понятно. Происхождение-с. У такого отца, как вы, не может быть другого сына. Не может!

ОТЕЦ. Самый обыкновенный отец.

ЭКИПАЖЕВ. Нет-с. Нет-с! Необыкновенный. Я уважаю вашу скромность, но позвольте вам сказать, что необыкновенный! Я давно, давно слежу за вашими блестящими судебными процессами.

ОТЕЦ. Да чего там. Обыкновенные показательные процессы. Приходится и обвинять, приходится и защищать... Завком выдвигает. Неудобно отказываться.

ЭКИПАЖЕВ. Еще бы, еще бы. Я давно за вами слежу по газетам. Ваши портреты...

ОТЕЦ. Ну, один раз, действительно... В «Рабочей Москве»... И то узнать нельзя. Какая-то клякса вместо физиономии.

ЭКИПАЖЕВ. Да, да. В «Русском слове», в «Новом времени», поистинно...

ОТЕЦ. Разве и за границей было?

ЭКИПАЖЕВ. Еще бы, еще бы! Ах вы, скромник! Везде! В Париже!.. В Баден-Бадене! Однако у вас прелестная квартирка. Я никогда не думал, что в таком районе... может быть... этакая бонбоньерка.

ОТЕЦ. Два дня как переехали.

ЭКИПАЖЕВ. Прелестно, прелестно. Все так культурно, интеллигентно, масса света, зелени... фикусы... очаровательные фикусы... книги, гравюры... Да-с... Вот что отличает настоящего культурного человека от какого-нибудь парвеню и хама. Книги-с. Когда, я вас спрашиваю, когда наконец наш темный, невежественный хамский народ начнет читать книги? «Эх, эх, придет ли времечко, придет ли... гм... желанное, когда мужик не Блюхера и не Милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара принесет...»

ОТЕЦ. Гоголь есть. Пять томов. Старенький, но в переплете. А Белинский госиздатовский. Но, к сожалению, без переплета. Все никак не соберусь. Общественная работа заедает.

ЭКИПАЖЕВ. И меня, знаете, общественная работа тоже ужасно заедает.

ОТЕЦ. Зато Шекспиром могу похвастаться. Брокгауза и Ефрона издание. На книжном базаре выиграл. Не знаю только, как перевод. Говорят Шекспира переводить трудно очень. Вы не знаете?

ЭКИПАЖЕВ. Трудновато. Трудновато.

ОТЕЦ. Вы ведь, небось, основательно изучили иностранные языки. В особенности английский?

ЭКИПАЖЕВ. Английский язык? Да. Я знаю. Гм. Мад ин Энгланд. Впрочем отсутствие практики. Духовная интеллигенция поставлена в такие ужасные условия.

Явление VIII

Входит переодевшаяся мать.

МАТЬ. Да что ты, ей-богу, вцепился в профессора. Извините, товарищ профессор, он не понимает никакого обращения с интеллигентным человеком. Пожалуйте на балкончик закусить, чайку попить. Под музыку. Милости просим.

ОТЕЦ. Это моя половина.

ЭКИПАЖЕВ. Очень приятно. Мадам. *(Пытается поцеловать ей ручку.)*

МАТЬ. Да что вы! Да ей-богу! Да вы меня конфузите. Не надо.

ЭКИПАЖЕВ. Нет-с, надо. Именно надо! Такую прелестную ручку нельзя не поцеловать. Пароль донер!

МАТЬ. Ох, честное слово!..

ЭКИПАЖЕВ. Нет, уж позвольте! Мадам, я очарован вашим супругом, вашим сыном, вашей квартирой, всем вашим милым, милым старым интеллигентным домом.

Явление IX

Дедушка выскакивает из ванной в одних подштанниках с намыленным лицом.

ДЕДУШКА. Глаза щиплет... Намылился, а кранта не могу найти... Ироды.

МАТЬ. Зарезал...

ОТЕЦ. Это наш дедушка.

ДЕДУШКА. Промойте глаза, черти... Кранта не могу найти. Ох!

МАТЬ. Иди. Ступай. Ах, зарезал. Извините. Сейчас, сейчас.

ДЕДУШКА. Я, знатца, намылил физиономию а кранта и не могу найти... Ой, щиплет... Ироды...

МАТЬ. Иди, иди... Срам. *(Уводит деда.)*

Явление X

Без дедушки и матери.

ОТЕЦ. С непривычки, знаете. Что поделаешь! Старик. И то два часа бились, покуда заставили его в ванну сесть. Простите.

ЭКИПАЖЕВ. Ну что вы, что вы! Такой милый своеобразный старичок. Выли-

тый Лев Толстой. Кстати о Льве Толстом. У меня, знаете, тоже домашняя библиотека.

О Т Е Ц. Ну, ваша библиотека! Разве с вами потягаешься? Надо полагать, огромная библиотека!

Э К И П А Ж Е В. Порядочная, порядочная. Не так, впрочем, велика, как хорошо подобрана. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона... И еще кое-что...

О Т Е Ц. А Брокгауз не устарел?

Э К И П А Ж Е В. О, нет! я беру свои книги. Что осталось нам кроме книги? Не так ли? Весь Брокгауз как новенький. Только пяти томов не хватает.

О Т Е Ц. А у нас «Малая Советская». Нынче предпоследний том принесли. «Техническая» тоже. Надо, знаете, держаться в курсе...

Э К И П А Ж Е В *(видя на стене портрет)*. Это кто, Помяловский?

Явление XI

Входит П а р а с ю к из своей комнаты

П А Р А С Ю К. Энгельс.

Э К И П А Ж Е В. Энгельс? Разве? А я почему-то представлял его себе бритым. Удивительно напоминает Помяловского... И Добролюбова... А этот с бородкой... Некрасов?

О Т Е Ц. Дзержинский.

Э К И П А Ж Е В. Дзержинский! Ой! А похож, знаете. Я даже сразу спутал. Вижу что-то знакомое.

П А Р А С Ю К. Вы не туда смотрите. Это Белинский.

Э К И П А Ж Е В. Ах, у вас Белинский? У нас тоже Белинский... То есть Достоевский. А это?

П А Р А С Ю К. Блок.

Э К И П А Ж Е В. Какой Блок? Член третьей государственной думы? Я помню, там был один блок. Кажется, националистов и октябристов.

П А Р А С Ю К. Это поэт Александр Блок.

Э К И П А Ж Е В. Ах, поэт. Я очень люблю поэтов.

П А Р А С Ю К. «Двенадцать» написал.

Э К И П А Ж Е В. Да, да. Я знаю: Двенадцать томов. Читал, как же, читал. Все двенадцать прочитал. Прелестно.

Явление XII

Входят А н а п а с о в и м а т ь.

М А Т Ь. Извините, насилу отмыла старика. *(Звонок.)* Иду, иду. *(Идет отворять.)*

Явление XIII

А Н А Н А С О В. Фу ты, чор-тт! В какую -то мерзость ногой вступил.

М А Т Ь. Ах! В заливного судака.

Э К И П А Ж Е В *(про себя в ужасе)*. Парасюк!

А Н А Н А С О В *(ласково)*. Ах, вы тут?

Э К И П А Ж Е В. Извините, господа, позвольте вам... мой зять...

А Н А Н А С О В. Это совершенно лишнее.

М А Т Ь. Милости просим.

Э К И П А Ж Е В. Ты что же это, братец, а? Следишь за мной? Преследуешь меня по пятам, как сыщик?

А Н А Н А С О В. А вы думали, что от меня так легко отделаться? Дудки-с! Спрашиваю вас в последний раз: отдадите вы мне бриллианты или не отдадите?

Э К И П А Ж Е В. Да как ты осмелился, любезнейший, врываться в чужой, интеллигентный дом?

А Н А Н А С О В. Отдадите или не отдадите?

Э К И П А Ж Е В. *(Парасюку)*. Вот-с. Я вам говорил. Что же теперь прикажете с ним делать?

А Н А Н А С О В *(шипя)*. Милостивый государь, за такие фокусы публично бьют по морде.

Э К И П А Ж Е В. Голубчик. Ради бога! Где угодно, но только не здесь. — Не в этом интеллигентном доме... Это недоразумение. Уверяю тебя. Никаких бриллиантов нет.

А Н А Н А С О В. Как нет? А где же они?

Э К И П А Ж Е В. Их... их украли.

А Н А Н А С О В *(ласково)*. Ах, их украли? Кто же их украл?

Э К И П А Ж Е В. Кто?.. Гм.. Вы знаете, господа, в моем доме живут посторонние люди. Я принужден временно отдавать часть своей площади, гм, кондукторше Ключиковой. Антр ну суа дит, я вполне уверен, что это Ключикова.

А Н А Н А С О В *(еще ласковей)*. Ах, Ключикова?

ЭКИПАЖЕВ. Только ради бога, братец, не делай из этого историю.

АНАНАСОВ *(вкрадчиво задыхаясь)*. Ах, Ключикова?

Явление XIV

Входит Шура с фикусом.

ЭКИПАЖЕВ. Вот-с! *(Все молчат.)*

ШУРА. С новосельем! Я вам цветочек принесла. Еще раз здравствуйте! А Мишка сейчас придет. Он тут невдалеке стоит. Какая квартирка миленькая! *(Все молчат.)* Об чем речь? *(Все молчат.)*

АНАНАСОВ. Гражданка Ключикова. Вчера у гражданина Экипажева пропала одна ценная вещь, хранившаяся в комоде. Вы об этом ничего не знаете?

ШУРА. Понятия не представляю.

АНАНАСОВ. Ты взяла бриллианты?

ШУРА. Честное, благородное слово, Анатолий Эсперович! Чтоб у меня руки отсохли.

ЭКИПАЖЕВ. Не знаю, милая, не знаю. К нему обращайся. Я, так сказать, отстраняюсь.

АНАНАСОВ. Воровка!

ШУРА. Я? Воровка? Да что ж это делается? Господи... Миша... Где же Миша?.. Товарищи... Скажите же... Подтвердите... Я не воровка... Ох, Мишечка... *(Плачет.)*

АНАНАСОВ. Не реви, не реви. Говори, куда девала серьги? Где серьги?

ШУРА. Серьги?.. Дамские серьги?.. Погодите. Я давеча подобрала на полу одну бумажку на серьги... Где это? Ах ты, боже мой... Да где ж этот проклятый документ?..

ЭКИПАЖЕВ. Какой... документ?

ШУРА *(ищет)*. Вроде квитанции. Ах ты, чорт... Вот... *(Нашла.)*

АНАНАСОВ. А!

ЭКИПАЖЕВ. Шура, я запрещаю вам. Слышите?

ШУРА. А идите вы к чортовой матери.

ЭКИПАЖЕВ. Шурочка, ну я прошу вас...

АНАНАСОВ. А-а-а!

ШУРА. Не смейте до меня прикасаться, старый гад, а то я как двину в ухо фикусом!

ЭКИПАЖЕВ. Вы видите, господин Белинский... *(Кланяется портрету Дзержинского)*... то есть Дзержинский. Мерси.

МАТЬ. Шурка! Не разоряйся! Тут не трамвай.

ОТЕЦ. Постой, мать. Дай-ка, Шура. *(Берет квитанцию.)*

ЭКИПАЖЕВ *(отцу)*. Миль пардон. На два слова. Ан де.

ШУРА. Читайте! Пусть все слышат!

ЭКИПАЖЕВ *(Эжену)*. Голубчик... на два слова... тет-а-тет...

АНАНАСОВ. Да вы что, издеваетесь надо мной? Читайте!

Явление XV

Те же и дедушка; он выходит из ванны.

ДЕДУШКА. Здравствуйте, Анатолий Эсперович. Не признали? А я у вашего покойного папаши в дворниках состоял. У них, у Экипажевых, на Коровьем валу домик свой был. Вы тогда еще такой лихой молодой человек были... Ох, лихой студентик... ох, лихой!

ЭКИПАЖЕВ. Иван? Ты как сюда попал?

ДЕДУШКА. Прямо из ванны и попал. Очень просто. Душ принимал.

ОТЕЦ. Домик на Коровьем Валу?

ЭКИПАЖЕВ. А как же! Помилуйте! Весьма порядочный домик, — двадцать пять квартир. Отобрали-с... Экспроприировали-с...

ОТЕЦ. Эге!

Дедушка быстро уходит.

Явление XVI

Без дедушки.

АНАНАСОВ. Ну, читайте же, читайте.

ШУРА. Читайте. А ну вас всех!

ЭКИПАЖЕВ. Пардон. Мне пора. Общий поклон. По-английски.

АНАНАСОВ. Нет, зачем же по-английски. Пусть лучше будет по-русски. *(Шопотом.)* Будьте любезны, атанде, — или в рыло.

ШУРА. Куда! Поперек двери лягу!

Явление XVII

Входит Калерия.

ОТЕЦ. Тише... *(Читает.)* «Магазином Госторга уплачено гражданину Экипажеву...

ЭКИПАЖЕВ. Это не я.

ОТЕЦ. ...Экипажеву А. Э.

ЭКИПАЖЕВ. А. Э. — это я.

ОТЕЦ. ...за дамские серьги 4500 рублей.

ЭКИПАЖЕВ. Ах, да, действительно. Теперь помню. Как раз перед самым весенним дерби.

КАЛЕРИИЯ. Я так и предчувствовала!..

ШУРА. Ну, что ему теперь сделать? В морду плюнуть?

АНАНАСОВ. Что же это в конце концов значит, многоуважаемый товарищ, об'ясните?

ЭКИПАЖЕВ. Господа! Вы должны понять и простить. В минуту жизни трудную. Интеллигенцию так жали, так жали...

КАЛЕРИЯ. Но ведь я служила. Я всегда служила... Я отдавала тебе все жалованье до копейки.

ЭКИПАЖЕВ. На сохранение, на сохранение. Кроме того, господа, у меня могли быть слабости. Маленькие человеческие слабости... При изнурительном умственном труде. ...Бега освежают... Это так естественно. У... гм... Наполеона тоже были слабости... таково свойство высоко интеллигентных индивидуумов.... Я даже как-то об этом писал в одной из своих философических брошюр.

Явление XVIII

Входит дедушка с брошюрой.

ДЕДУШКА. Вот она брошюрка-то. Книжечка. Вы мне ее тогда еще подарили. Для народного просвещения. Она у меня всегда в сундучке. Вот-с.

ПАРАСЮК (*берет брошюру, читает*). «Несколько интимных мыслей по вопросу об однополой любви в древней Греции, с иллюстрациями, сочинение доктора эстетики А. Э. Экипажева». Пустячок — философическая брошюрка!.. Гм...

ОТЕЦ. Да уж. Что и говорить. Не Герцен...

ДЕДУШКА. В особенности картинки... (*Фыркает.*)

КАЛЕРИЯ. Ты проиграл мое приданое на бегах! В тотализатор! Ты погубил мою жизнь... Мне тридцать пять лет! Тридцать пять лет! Кто меня возьмет? Ты мне больше не отец! Я ненавижу тебя! Доктор эстетики! Плюю на тебя! Ненавижу!

ЭКИПАЖЕВ. А я как раз собирался тебе передать знамя.

АНАНАСОВ. Заявляю публично, что вы стерва. Я тебе сейчас буду бить морду. (*Бросается на Экипажева. Драка.*)

МАТЬ. Ай, срам какой. Два образованных человека из-за приданого друг друга по мордам хлещут.

Драка, все их разнимают, валятся фикусы, посуда. Погром.

МАТЬ. Милиция! Милиция!

ПАРАСЮК. Ну, ну! Без драки тут! Это вам не Коровий Вал и не купеческая свадьба и не древняя Греция.

Явление XIX

Входит Агнесса.

АГНЕССА. Что за базар?

ЭКИПАЖЕВ. Вот-с. Полюбуйся на своего хама. Пенснэ мне разбил! Нет, каков гусь! Парасюк!

Начиная отсюда, сцена идет в четком, но очень замедленном темпе. После каждой реплики короткая пауза.

АГНЕССА. Где, Парасюк?

ЭКИПАЖЕВ (*показывая на Ананасова*). Вот Парасюк.

АГНЕССА. Он Парасюк?

АНАНАСОВ. Кто Парасюк?

ЭКИПАЖЕВ. Ты — Парасюк.

АНАНАСОВ. Я Парасюк?

КАЛЕРИЯ. Эжен!

ЭКИПАЖЕВ. Кто Эжен?

АНАНАСОВ. Я Эжен.

ЭКИПАЖЕВ. Ты Эжен?

КАЛЕРИЯ. Он Эжен.

ЭКИПАЖЕВ Парасюк — Эжен?

ЭКИПАЖЕВ. Парасюк — Эжен?

ЭКИПАЖЕВ. Эжен — Парасюк?

КАЛЕРИЯ. Эжен не Парасюк.

АНАНАСОВ. Эжен Ананасов.

ЭКИПАЖЕВ. Кто Ананасов?

КАЛЕРИЯ. Он Ананасов.

ЭКИПАЖЕВ (*на Парасюка*). Ананасов — он?

АНАНАСОВ. Ананасов — я.

ЭКИПАЖЕВ. Ананасов — вы?

АГНЕССА. Он — Ананасов.

ЭКИПАЖЕВ. Вы — Ананасов?

АНАНАСОВ. Я — Ананасов.

ЭКИПАЖЕВ. Позвольте... А тогда Парасюк?

АГНЕССА. Парасюк — он.

ЭКИПАЖЕВ. Он — Парасюк?

КАЛЕРИЯ. Парасюк — он.

ЭКИПАЖЕВ. Вы — Парасюк?

ПАРАСЮК. Я — Парасюк.

ЭКИПАЖЕВ. Позвольте. Значит — тот Парасюк, а этот — не Парасюк?

ДЕДУШКА. Да нет же! Тот — не Парасюк, а этот Парасюк.

ЭКИПАЖЕВ. А каким же образом тогда этот Парасюк попал в квартиру присяжного поверенного Ананасова?

МАТЬ. Кто присяжный поверенный Ананасов?

ЭКИПАЖЕВ. Он присяжный поверенный Ананасов.

МАТЬ. Присяжный поверенный Ананасов — он?

ЭКИПАЖЕВ. Он присяжный поверенный Ананасов.

ОТЕЦ. Кто?

ЭКИПАЖЕВ. Вы.

ОТЕЦ. Я?

ЭКИПАЖЕВ. Да.

ОТЕЦ. Нет.

ЭКИПАЖЕВ. Как нет? А кто же вы, если не присяжный поверенный Ананасов?

ОТЕЦ. Иван Иванович Парасюк.

ЭКИПАЖЕВ. Парасюк?

ОТЕЦ. Парасюк. А это старуха моя, Ванина мама, Елизавета Осиповна.

ЭКИПАЖЕВ. Парасюк?

МАТЬ. Парасюк. А это дедушка, Ивана Ивановича родитель.

ЭКИПАЖЕВ. Парасюк?

ДЕДУШКА. Парасюк.

ЭКИПАЖЕВ. А я и не знал, что твоя фамилия Парасюк. Парасюк — родственник — дворник... У! у-у-у!

ОТЕЦ. Еще Агнесса Анатолиевна, Ванина супруга.

ЭКИПАЖЕВ. Парасюк?

АГНЕССА (*вызывающе*). Парасюк! Ну, крест. Ты мне больше не отец.

ЭКИПАЖЕВ. Я тебя еще раньше проклял. Позвольте! Что же это делается! Все Парасюки, один я не Парасюк. Мерси. Господа... Подождите... У меня что-то не того... У меня душа как у Гамлета... она разорвана на две части... Великая, сложная душа русской интеллигенции... с одной стороны — Парасюк, но не Эжен, а с другой стороны — Эжен, но не Парасюк. Извините, я схожу с ума. Парасюк! О-о-о! В глазах рябит от Парасюков! (*Отцу*). Да что же это ты себе позволяешь, любезнейший? А? (*Неизменяемо.*) Ну, как харчи? Как одежа, обужа? Портянки часто меняешь? Ноги моешь? (*Запутался.*) То есть что это я такое говорю... наоборот... весьма польщен. Старые обломки русского либерализма! (*Кричит*). Парасюки! У-у-у! (*Скандалит*).

МАТЬ. Милиция! милиция!

Явление XX

Входит Миша.

МИША (*в форме*). Кто скандалит? А ну-ка?

ЭКИПАЖЕВ. Миша! Милиционер! Сын — милиционер! Ты осмелился? Я тебя проклинаю. Экипажевы никогда не служили в милиции.

МИША. Да я больше не Экипажев.

ЭКИПАЖЕВ. Как не Экипажев? А кто же ты?

МИША. Я теперь Ключиков.

ЭКИПАЖЕВ. Ключиков?

МИША. Ключиков. Мы сегодня как раз с Шуркой в Загсе регистрировались...

ЭКИПАЖЕВ. Как! С кондукторшей! Мой сын! С кондукторшей! У-у-у!

МИША. И я принял ее фамилию. Очень просто. А Экипажев — это для нас чересчур шикарная фамилия.

ШУРА. Хотя и транспортная.

ЭКИПАЖЕВ. У-у-у! У меня нет больше сына. Мне окончательно некому передать знамя. Вот до чего довели великую русскую интеллигенцию! Затравили.

ОТЕЦ. Насчет интеллигенции это вы, положим, бросьте.

ЭКИПАЖЕВ. Дочь—Парасюк, сын—Ключиков... О-о! Миллион терзаний! Миллион терзаний, как сказал покойный Репин.

ПАРАСЮК. Не говорил этого Репин.

ЭКИПАЖЕВ. Ну, значит, он был неразговорчивый... как сказал...

ОТЕЦ. Не пугайте. Грамотн

Явление XXI

Вбегают 1 и 2 жильцы и Артамонова.

1 ЖИЛЕЦ. Анатолий Эсперович. Мы вас по всему городу ищем. Все жильцы очень нервничают. Что вы с нами делаете?

2 ЖИЛЕЦ. Ключ! Ключ! Вы забрали с собой ключ!

АРТАМОНОВА. Муж моей дочери, мой зять, инженер Белье...

ЭКИПАЖЕВ. Который раз?

АРТАМОНОВА. В третий раз! Анатолий Эсперович! В виде исключения! Как инженеру.

ЭКИПАЖЕВ. Никаких исключений.

1 ЖИЛЕЦ. Да что за счеты, когда вся квартира просто с ума сходит!

2 ЖИЛЕЦ. Ключ, ключ, чорт вас дери!

ЭКИПАЖЕВ. На руки — никому. Нико-му!

2 ЖИЛЕЦ. Да вы просто псих! Ключ! Я уполномочен жильцами.

2 ЖИЛЕЦ. Инженер Белье...

ЭКИПАЖЕВ. Чихал я на Белье. *(Кричит.)* Никому на руки ни-ко-му!

МИША. Гражданин Экипажев, попрошу вас не хулиганить. Гражданин Ананасов! На улице додеретесь. Попрошу посторонних очистить помещение! *(Свистит.)* Пожалуйте в отделение. *(Берет Экипажева за шиворот.)* Пожалуйте, гражданин.

ШУРА. Граждане! Вагон не резиновый! Сойдите с площадки.

ЭКИПАЖЕВ. Поздравляю вас, господа. Родной сын!

МИША. Бывший, папаша, бывший.

ЭКИПАЖЕВ. Родного отца!

МИША. Бывшего, папаша, бывшего. *(Оттесняет Экипажева к двери.)*

ДЕДУШКА. Уф! От таких делов я взопрел.

За окном фейерверк, прожектора. Пауза. Живая картина.

ДЕДУШКА. Давно чтой-то я в ванне не купался. Пойти, что ли, душ принять?

Музыка играет марш.

Занавес.

Мама, умирай!

Петро Панч

П. Г. Тычине

Кудлатый пес, с репейниками в хвосте, бросился к воротам и хрипло залаял. Гнат Голод, такой же кудлатый, как и пес его, выглянул из-за хлева, где он копал грядку, и спросил:

— А кто там?

Над наклонившимся с улицы плетнем показалась знакомая голова.

— На собрание не пойдешь, Гнат?

— На собрание? На какое собрание?

Собрание могло быть коллектива и могло быть комнезама. Коллектив теперь к нему никакого отношения не имеет, потому что он уже вышел из него, а в комнезам, после того как жена сделала из него посмешище, он уже не мог и глаз показать. Некоторая доля вины, правду говоря, была в этом и его самого. Он уступил слезам Марии, своей жены, а она потом ходила и похвалялась: «Так и вы сделайте со своими: и ему не стыдно, и тебе покойнее». Этого не мог простить ей Гнат Голод и до сих пор, хотя уже прошло три месяца с тех пор, как было первое собрание по поводу коллективизации.

В сельсовете играл тогда духовой оркестр, кулаки позабивались в самые углы, за столом сидел агроном из округа. Было какое-то праздничное настроение. Гнат Голод, как и другие, поставил агроному ряд вопросов, например, как быть с детьми: у него их семеро и все тянутся к миске, а земли у него, хоть и в шести кусках, но только три десятины? Хотел еще спросить, как быть со стариками, потому его матери уже девяносто пятый год. Вяжет она руки, — ведь старый — что малый: только лежит на лавке, а есть просит, — и подать и прибрать надо. Но подумал, что, может, она уже не дотянет до весны, и спросил: как быть со скотом? Агроном на все дал исчерпывающий ответ. Гнат Голод погадал еще на пуговицах своей свитки:

— Ежели чет — будет хорошо, ежели нечет — плохо.

Посчитал все пуговицы — чет! Еще раз вспомнил свои постоянные невзгоды, сказал про себя: «Ну, господи, помоги!» — и огрызком карандаша подписал заявление в колектив «Новый быт».

Всю дорогу домой он раздумывал над тем, как бы получше рассказать об этом своей жене, чтобы она поняла его, и они вместе ладком потолковали бы о будущем. Руки у них развяжутся: сиди тогда дома и смотри только за детьми, а с трудоднями он и один управится: ведь руки у него, что свалят и вола.

С этим он переступил мокрый от снега порог своей хаты. На лавке рядышком, как сороки на жердочке, сидели соседки. Гнат Голод сразу сообразил, почему это сборище, но, притворяясь равнодушным, пошутил:

— Здравствуйте, коллективные женщины!

Все вопросительно вытянули к нему свои носы из теплых платков. Они сидели в тулупах, и по хате шел тяжелый дух.

Мария босая, высохшая, как тарань, стояла на мокром полу; неумело притворяясь веселой, она спросила:

— А эту тоже в коллектив? Чтоб я с ней век возилась?

На другой лавке под заплесневевшим окном в грязном тряпье лежала его

мать. Это была уже груда сухих костей, обтянутых желтой кожей, с провалившимся ртом и клювом, достигавшим подбородка. Увидев сына, она поманила рукой и зашамкала:

— Попа позвали бы, помирать буду.

Гнат махнул рукой, а Мария ответила:

— Слышали уже об этом сто раз. — Она старалась перед соседками сложить свои тонкие губы в приятную улыбку, но они предательски дергались. — Не раз уже слышали. Ох, соседушки, верите, руки мои связаны, света белого не вижу. Десять лет вот так. И сколько этих свечек извела, так неужто ж ты еще и коллектив на мою голову выдумаешь? — неожиданно обернулась она к Гнату.

Гнат Голод заморгал из-под низких бровей глазами. «Ведь он же хочет лучшего, только вдуматься надо», — но он знал характер Марии, которая может вмиг вспыхнуть, как порох, и тогда ее уж ничем нельзя образумить, пока она не выплюнет на него всего запаса брани. Он оказался в критическом положении, но надеялся, что присутствие посторонних людей до некоторой степени сдержит Марию, и она хоть выслушает его. Гнат Голод, все еще притворяясь совершенно спокойным, ответил:

— Про старуху, правда, не спрашивал. Ну, да теперь все равно: считают не едоков, а трудодни. А мать, поди, не доживет уж до «Нового быта». — Семь головок с печи и пять головок из теплых платков вытянулись к нему. Гнат поднял к погнувшимся над головой балкам свои запавшие под брови глаза и закончил: — Теперь уж все равно. Теперь уж назад невозможно: расписался на «Новый быт», — и искоса посмотрел на Марию. От его слов она как будто приросла к полу. Среди тишины, сразу же воцарившейся в хате, явно послышалось шамканье высохших губ:

— Буду помирать, детки... Смерть моя приходит.

Одна за другой сорвались соседки и шмыгнули за порог. Вместо них с порога покатился клубами серый пар и спрятался под лавки. Мария, белее стены, повернула голову на тонкой шее и каким-то изменившимся голосом спросила:

— Ты это взаправду?

— Буду помирать, детки... — шамкала мать.

— Я спрашиваю, взаправду в коллектив?

— А чего же шутить, — уже оторопело ответил ей Гнат, — рыба ищет где глубже...

Мария стояла неподвижно.

На печи начали всхлипывать дети.

Мария мигом повернулась на босы ногах и уже во весь голос крикнула:

— А меня ты пожалел, а детей пожалел, что всех нас под печать подводишь? Пожалел, спрашиваю? Так я же тебя тоже пожалею, я тебе покажу «Новый быт».

Сорвав с себя платок, Мария, вся черная, как обгоревшая головешка, не переставая гудеть: «у-у-у... я вам покажу! — завертелась по хате, — я вам покажу! Мне теперь все равно: я ль их осирочу, ты ль их осиротишь!»

С лавки снова зашамкала мать:

— Не плачьте, мне уже пора.

Дети подняли визг и бросились с печи к матери.

Гнат Голод стоял в углу и сжимал руками свою кудлатую голову, пока не крикнул изо всех сил:

— Перестань! Слышь, перестань!

И первый раз за десять лет поднял над нею кулак. Мария, высохшая, как тарань, пронзительно взвизгнула и выскочила из хаты. Гнат Голод достал из-под лавки пару валенок, бросил их в сени вслед босой Марии и тяжело опустился на лавку.

Того, что Мария сделала потом, он, кажется, не простит ей до самой могилы. Думая, что она как всегда, побежала к соседям и теперь изливает там свою злобу, Гнат Голод, немного успокоившись и приласкав детей, подсел к разрисованному морозом окну чинить тулуп. Вдруг с улицы донесся крик. Собака беспокойно бросилась к воротам, а потом послышалось сразу несколько испуганных голосов:

— Гнат! Гнат! ты дома?

Он выскочил за дверь.

— Что такое?

— Мария твоя повеситься хочет. Видели ее с веревкой на шее. Бежала по улице.

Гнат Голод без шапки бросился на улицу. Навстречу, окруженную толпой, вели под руки по снегу растрепанную Марию, все еще с веревкой на шее.

Она кричала на всю улицу:

— Все равно повешусь. Я ему покажу «Новый быт»!

Позади Гнат услышал чей-то голос:

— Вишь, моя-то так и не придумала.

На другой день он вышел из коллектива. И этого не мог ей забыть и до сих пор, хотя прошло уже три месяца с тех пор, как было первое собрание по поводу коллективизации.

А теперь зачем он пойдет?

Дверь в сени заскрипела. На пороге появилась растрепанная голова Марии.

— Лучше поди, выволоки эту каргу из хаты, а ты, — обратилась она уже к соседу, — не дразнил бы собак.

— Значит, не пойдешь? — еще раз переспросил через плетень сосед. — А в коллективе новости есть.

Гнат Голод в сердцах воткнул в землю заступ и махнул рукой:

— Времени нет: нужно на поле ходить.

Загорелый, худой, в рваной рубахе Гнат Голод, не отзываясь на голос Марии, пошел со двора. Заулок, где стояла его маленькая, как курень, хатка, выходила в поле к балке. В овражках белел расцветший инеем терновник, нежно дрожали бирюзовые веточки верб, а за овражками дружно распускались голубые пролески, желтун-пшенка, радужная медуница, пушистый ряст, блестящий копытник и пряталась в тень свежая, жалящая крапива.

В заулке было тихо; долетало, как мохнатые шмели и пчелки весело играли над сладким медом в маленьких цветах на земле и на деревьях. Гнат Голод шел хмурый и равнодушно топтал широкими ступнями красоты весны. Он был весь поглощен мыслью о высушенной ветром черной пашне и солнце, плавлющем поджаренным желтком над головой в серой мгле. Буйная весна била ему в глаза жирными, зелеными пятнами на лугах, куда еще не успела пробраться весенняя сушь.

В глубоком овраге, в том месте, где растаял последний снег, сонно зеленела молодая трава. Гнат Голод нырнул в нее босыми ногами, почувствовал сквозь толстую потрескавшуюся кожу приятную прохладу и, словно в холодной воде, искупал свои ноги. От зеленой муравы он перевел из-под нависших бровей свои глаза по склону на гребень. Там, на вспаханном поле с рыжими заплатками глины убого пробивались всходы. Уже третью неделю дует суховей, и яровые начали гореть под ним.

Гнат Голод медленно взобрался на холм. Под ногами пересохшая земля превращалась в пыль. Ветер поднимал облака пыли и черной метелицей носился по полю.

Гнат еще издали увидел свой надел. Он чернел, как и все наделы, находившиеся по эту сторону дороги. Тяжело ступали на них грачи. Дальше тянулись уже необозримые поля «Нового быта». В одном конце стайка тракторов тащила дисковые бороны, и в том месте пашня поблескивала жирным бархатом, затканным зеленой каемкой. В другом месте дружно кончали пропашку, а вдали струился горячий воздух.

Гната Голода перекосило от зависти. Он чувствовал себя горемыкой, навеки прикованным к этому лысому клочку земли, из которого узкие границы как будто выдавили всю влажность. Безграничные поля «Нового быта» с сочной зеленью приковывали к себе взор. Чтобы не растравлять еще больше своей тоски, он перешагнул через сухой бурьян на меже, повернулся спиной к дороге и присел на корточки на своем клочке. Сухие комья земли давили на чахлые всходы, бессильные пробить их серую скорлупу, молодые побеги морщились и желтели, как его старая мать на лавке. Вспомнив мать, он рядом с ней увидел и свою высохшую, как тарань, неразумную Марию. Чувство гнева зашевелилось и подступило к самому горлу. Хата с полумертвой матерью, с ябедной Марией, приковавшей его к этому клочку, и кучей грязных детей показалась ему теперь тюрьмой. Он готов был си-

деть целый день голодным в поле, только бы не возвращаться домой, куда он должен доставлять с этого клочка земли пропитание на целый год. Гнат Голод поставил торчком пальцы и колупнул ими землю, но влажного слоя оттуда не добыл.

— Если б можно было перелущить, — вырвалось у него вслух: — так и уродило бы. А в коллективе, вестимо, уродит.

Он посмотрел на небо. Над головой стояла серая мгла, и сквозь нее слепым бельмом смотрело желтое солнце.

— Да нечем мне пересеять, нечем! — прямо солнцу крикнул он и снова опустил кудлатую голову к пересохшей земле. Ветер, играя, бросал ему в серое лицо теплые волны и рисовал по морщинам черные полоски.

Тихо босыми ногами подошел хозяин соседнего клочка, молча кивнул головой Гнату, опустился рядом и тоже колупнул поставленным торчком пальцами землю, но влажного слоя оттуда не добыл.

— А в коллективе уже зазеленело, — сказал он, глядя прямо в выкопанную ямку.

Гнат молчал.

Замолчал и хозяин соседнего надела. Они молча уже машинально копали перед собой ямки в поисках влажного слоя.

Сбоку, уже в сапогах, потрескивая подошвами по запекшейся корке, подошел еще один хозяин, тоже соседнего надела, молча кивнул им головой, опустился рядом и тоже колупнул торчком поставленными пальцами землю, но влажного слоя оттуда не добыл.

— Говорят, будто коллектив поможет, когда справится со своим.

Гнат молчал. Молчал босой хозяин соседнего надела. Умолк и хозяин в сапогах.

Теперь они сидели втроем. Молча все глубже и глубже копали перед собой землю и все тупо смотрели на дно ямок, вырытых собственными руками. В поле, сколько глазом охватишь, как дым, курилась сожженная суховеем пашня и покрывала черной пылью их лица и рваные рубашки. Над головами носились грачи.

Из глубокого рва вынырнула беленькая голова девочки Голода — Марыси. Он тревожно поднял глаза. Девочка бежала босыми ноженками напрямик по пашне и распугивала грачей. Гнат встал. На земле осталось двое.

Девочка подбежала, держась за бок.

— Батя...

— Чего ты?

Она тяжело дышала и не могла говорить.

— Ну, что там? — Гнат испуганно водил глазами по лицу Марыси, — мать, бабка, что случилось, говори?

Девочка на все кивала головой.

— Я сейчас. На гору больно тяжело. Бабушка померла! Мама велела бежать за тобой.

Двое хозяев соседних наделов подняли от земли свои глаза на Гната. На его лицо сразу легла каменная тень: оно вытянулось и окаменело. И сам Гнат даже отпрянул назад, так, как если бы он собственными глазами увидел смерть, и потому стал торжественным. Потом в спрятанных под бровями глазах засветились искорки, и опущенные книзу усы зашевелились: он как-то по-детски улыбнулся и переспросил:

— Бабушка умерла?

— Под забором.

— Под забором?

— Под забором. Мама вытащила ее из хаты на солнце, под забор, возле калитки, я бежала за ворота, а она — уже. Мама сказала побежать за тобой. Уже внесли в хату и обмывают.

Марыся, чтобы поспеть за его длинными ногами, должна была бежать, а на бегу не переставала, как маленькими колокольчиками, звенеть у него под ухом:

— А когда будем хоронить?

— Хоронить?

Он наморщил лоб, но улыбка все же пряталась в его лохматых усах и в лохматой бороде.

— А на что, дочка? И гроб надо. И яму надо. Надо, надо. Опять хлопоты.

— А в комнтете разве не дадут?

— Разве что в комитете.

— Теперь просторно будет в хате!

Гнат Голод переступил через порог. Мария, как только увидела его, — заголосила. Обида, которую он уже три ме-

сяца носил в своей груди, зашевелилась с еще большей силой, и он отвернулся к лавке. На лавке под окном лежала сухим комком его мать, которую уже обрядили и переодели в чистую сорочку. Открытый беззубый рот был похож на ямку, которую он выкопал в поле, но не добыл влажной земли. Гнат Голод закипел гневом, хотел сказать об этом Марии и искоса посмотрел на нее. Мария сквозь слезы глядела на него еще незнакомыми добрыми глазами, каких он и не запомнит, когда видал. Гнат Голод наклонился над матерью да так и застыл. Тоскливо повизгивали на петлях ставни. Возле печи хлопотливо тарахтели кочергами соседки, а за окнами толклась кучка ребят. Гнат поднялся, выпрямился во весь рост и уже взглянул на Марию, как на широкие покойные поля за дорогой, покрытые молодыми всходами, и почувствовал тихое умиротворение. Его запыленное лицо прояснилось. Он подошел к Марии и ласково сказал:

— Зачем плакать? Ей давно уже пора. А за дорогой яровые...

Мария стояла лицом к лавке, где лежала в белой сорочке ее обряженная свекровь. Она слушала, и глаза ее понемногу высыхали. Гнат Голод еще раз сказал:

— Таким давно пора, а наше погорело. За дорогой зеленеет. Яровые...

— Наше погорело?

Мария стояла лицом к лавке, и Гнат заметил, как с последним словом у нее мигнул испуганный огонек в глазах и она сразу побледнела. Гнат подумал, что, утомившись, она не удержится на ногах, и схватил ее за руку. Она оттолкнула его и побелевшими губами старалась что-то сказать, — может, о том, что поняла уже свое недомыслие, но словно лишилась языка. Гнат всполошился и крикнул:

— Дайте воды!

Но лицо Марии уже вспыхнуло огнем, и она крикнула на всю хату:

— Зачем же ты встаешь?

Гнат оглянулся, и волосы его зашевелились на голове. Обряженная и приодетая в белую сорочку для похорон, его мать старалась приподняться на локоть. Она опиралась на лавку и что-то шамкала. Соседки у печи разом вскрикнули, бросились к двери и, напуганные, мелькнули за окном. Кучка детей со двора кинулась на улицу и разбежалась в разные стороны. В раскрытую дверь вошел кудлатый пес, стал на пороге и пристально посмотрел на своего хозяина. Гнат с поникшей на грудь головой стоял посреди хаты, как вкопанный.

Мать наконец поднялась на локоть и внятно зашамкала:

— Сон мне привиделся, будто купалась я, а вода такая хорошая, такая чистая да теплая, и вдруг — яма. А Гнатко дома? Давно уже не купалась я. И вдруг — яма. Должно быть, сулит смерть.

— Мама, — со стоном вырвалось у Гната, — мама, умирай!

Увидев Гната, она снова зашамкала:

— Ты уже пришел, сынок? Сон мне привиделся. Снилось мне, что я тебе, сынок, голову мыла. Да такая вода хорошая, такая чистая. И вдруг — яма. Это уже смерть.

Гнат тяжело опустился на лавку, и по его окаменевшему лицу скатились две слезинки и оставили широкий след на серых щеках.

К нему тихо подошла босая Мария, осторожно положила руку на плечо и сказала:

— Теперь она умрет, — а потом посмотрела ласковыми глазами на его обветренную, как пашня, голову, и спросила: — А за дорогой зеленеет?.. Она умрет.

Авторизованный перевод с украинского
П. Зенкевича

Из поэмы „Электрозаводская газета"

5 в 4

(Передовица)

Годичный прирост царской промышленности
Был пять целых и шесть десятых.
Америка, напрягая мышцы,
    Выжала круглый десяток.
Мы же, обладатели солнечного клада—
Энтузиазма сорока наций,
Уже и сейчас не укладываемся
    В 29, 16.
Покуда на Западе Бём-Баверк
Тлеет в законе «предельной полезности»,—
Мы наступаем, мы бьем поверх,
И цифры бурно скачут по лестнице:
Каменный уголь.

Мы .	. Мир
двадцать один .	. пять с половиной

Прокатка стали
    Мы: ррр
    против нуля — семнадцать (Лавина!!!)
Канада, Германия, Польша и Штаты,
Подбитым бипланом чадя и низясь,
Лопаются, сокращают штаты,
Переживают кризис.
Кризис! Грифообразно плешив и лыс,
Нищим богатством хищно давясь,—
Всю систему раз'ел до язв
Этот капиталистический сифилис.
Желтые экономисты: Жюглар,
Сэй, Миллье, фон-Кауфманы, Рябины
Сотни теорий о кризисах стряпали,
Глядя на жизнь из-за угла;
А Джевонс, дитя английского юмора,
Собственной бабушки милое золотце,
Их об'яснил, не долго думая,
Пятнышками на солнце...
Но не излечат мир от ран
Ни пятна, ни Миллье, ни комиссии троек:

Производительные силы стран
Переросли социальный строй их.
Пока пролетарий системою лютой
Сажать обречен свой желудок на цепь,
Возможен только один рецепт:
 Революция!
И власть Советов пошла по богам,
По коронам, каскам, цилиндрам—
Штыком и Марксом, стихом и бугаем,
Метром ситца, молочным литром!
 Пятерка, которая — четыре,
В этой диалектике — сердце борьбы
Диктаторствующего пролетариата:
Она туземца из Барабы
Влечет в трубачи мирового театра;
Она зарубежные низы
Волнует своими «Даешь» и «Выжги»,
Она мужика из болотных низин
Подымает на коммунные вышки.
Это не только программа стройки
Такого-то количества фабрик страны,
И власть Советов из верфи в док
Грянула до самого дальнего угодья,—
Астрономический парадокс:
 «Пятилетка в четыре года».
О, этот лозунг. Он — барабан,
Вырезанный из живого бока,
В нем жертвами натянута кровавая борьба,
В нем — философия, эпоха.
План строительства узлового,
Вычерченный исключительно из
«Действительно действительных» (Ленин) условий,—
Это пятилетка. Реализм.
Темп организации столетнего хаоса,
Вспыхнувший исключительно из
Воли и пафоса рабочего класса,—
Это — «в четыре»! Романтизм!
Бронзовый сплав учета и страсти,
Крови в чернилах, фронта в тыле,—
В этой диалектике и есть своеобразье,
Не только срок и длина дороги
 К Вятке из Костромы.
По жилам планов энергией брызнем!
Но планы запланирóваны в План:
Здесь каждый гвоздь звенит коммунизмом,
О коммунизме рычит пила;
И эта волей сведенная бровь,
Челюсть, оттиснувшая горбя,—
Это второй раскаленный профиль
 Солнечной монеты Октября,
Где в желтых ожогах каждая пядь;
Но литье отольет по чеканке черты ей—
И вот с «пятачком» курносое — 5
Скошено в нос броненосца — 4.

Мы эту монету вносим в фонд,
В огненный фонд мировой революции—
И вызываем в той же валюте
Весь Коминтерн, Юнгштурм, Ротфронт,
Чтоб наконец откупиться раз—
И навсегда от классов и наций,
От пропасти белой и черной рас,
От разницы их интонаций.
Да! Исчезнут, может быть, Вятки,
Забудутся те, кто бились и строили,
Даты сгинут, и самые факты,
Как сор, выветрятся из истории,—
Но «5 в 4» войдут в века
Пословицей, термином, мимикой облик ,
Просто ли номером броневика,
Легендой распыленного в железное облако.
Они отразят, как зеркальная линза,
С барабанами, с джазами пополам,—
Пафос и подлость, образ и план —
Пейзаж строительства социализма.
И сталинской формулой плана и темпа
Великие числа векам прозвучат,
Как дедовский голос медного тембра,
Зовущий на соревнование внучат.
Но, будучи в будущем трубною темой,
Ничем которую не перебить,
Сегодня, сейчас, — это клич борьбы,
Классовый штурм плана и темпа.
Над нами, как тучи, жиреют угрозы,
Желчь проливая над каждым гвоздем...
Мы бьем литьем, огрызаемся рожью
(А сабля в огнях, а курок на стороже)..
Ждем...

Илья Сельвинский

Из цикла „Катехизис материалиста“

1

Плыли из Европы на Восток
Крестоносцы, франки и норманны.
Каждый был наивен и жесток.
Но прошли столетия с тех пор,
Как в Клермоне бушевал собор, —
И о них написаны романы.

Сколько рослых низколобых орд
В сарацинской полегло пустыне!
Сколько волчьих и драконьих морд
И девизов наглых на гербах!
Сколько бранной пены на губах!
Сколько зря расплесканной латыни...

Гроб Христа им снился — иль базар
В сутолоке Смирны и Багдада?
Папа ли обетом их вязал?
Или вправду начата игра
Сволочью Амьенского Петра,
Блеяньем беспастырного стада?

Как ни кинь, но двинул их напор
Многих воль и многих сил броженье.
Но прошли столетия с тех пор, —
Церковь им дарует благодать.
А подробности, чтоб не гадать,
Пусть подскажет нам воображенье!

Мимо рвов, и рынков, и таверн,
Государственных границ и боен,
Затхлых склепов и горючих скверн—
Тронемся! Висит клоками дым.
Встанем вровень с временем седым,
Взглянем на столетие любое.

Жгут костры под вопли аллилуй;
Спаивают чернокожих братьев.
Восклицает с паперти холуй:
— Власти, аще не от бога, нет! —
И внимает хоровод планет
Текстам, не пытаясь разобрать их.

Времени наперерез — вперед!
Рим дряхлеет. Золотом сверкая,
Шамкает беззубый папский рот.
И рекламы в тысячи карат
Над наместником Петра горят:
— Здесь творится! суета!! мирская!!

Папа буллы шлет и льет елей,
Позади — присутствием особым,
Словно цифры с выводком нулей,
Спят кастраты, пузами урча,
И контральто каждого рвача
Раздувается индючьим зобом.

Делать — нечего. Не перечесть
Мух в чернилах папских канцелярий.
Если спишь, хвала тебе и честь!
Хоть тысячелетие проспи, —
Власть твою, одиннадцатый Пий,
Десять предыдущих растеряли.

Но когда смолкает певчих вой, —
Жженной шерстью пахнет или чор-
том? —
Некий человечек деловой
Заклинает папу по ночам,
Чтобы внял ему, чтобы начал,
Чтобы осенил крестом простертым

Старую Европу. И пока
Папа размякает постепенно, —
Над Европой виснут облака,
Пакля скуки забивает рты,
И швыряют в доки и порты
Океаны безработной пеной.

Тяжело дышат Рур и Корнуэльс.
И, дымясь от Ревеля до Гавра,
В иглах готики и в свивах рельс,
В бюллетенях бирж, в стихах баллад,
Издыхает европейский ад,
Старый, как скелет ихтиозавра.

Папа смотрит на Европу — и,
Сладко потянувшись, как спросонок,
Молвит: «Где вы, рыцари мои?
Ибо час воистину хорош:
Смутно в мире. И цена мне грош,
Если я не соберу спасенных».

Заскрипело папское перо.
Прочищают кардиналы глотки.
От корреспондента «Фигаро»
Пар идет. Качая курс валют,
Крестоносцы воют и блюют
Помесью истерики и водки.

И на фресках страшного суда
Шевелятся гады преисподней.
И да сгинут нехристи! И да
Возликует Рим! Пляши и пой!
...Высоко чернея над толпой,
Стяг крестового похода поднят!

Нет! Мало еще доказательств! До дна
Ты разоблачиться, Природа, должна!
Довольно мошенничать, козыри прячь
В бессмысленной абракадабре горячек.

Нет! Мало пилотов на бой и на слет,
Слепящих прожекторов, жгущих кислот,
И формул, и ветра, и выдумки мало, —
Чтоб ты, наконец, нашу клетку сломала!

А ты — заливаешь нам уши враньем.
И каркают монастыри вороньем.
И бродит легенда, чертовка босая,
На отыгрыш кости раскопок бросая.

И бухают колокола литургий.
И в бреднях какой-нибудь лысой карги
Мерещится людям судьба. И об этом
Попрежнему лестно трепаться поэтам.

Пора! Сквозь дремоту, сквозь чащу волос,
В охапках грозы, как давно повелось, —
Для обсерваторий расчищено небо
И кажется, — бог никогда там и не был!

Там — круговорот центробежных погонь,
Безбожная вьюга, безбожный огонь,
Неистовый темп, ледяная гангрена,
Рожденье амебы и гибель Мальмгрена.

Туда — в серебро межпланетного льда —
Сквозь время, сквозь вьюгу, сквозь гибель — туда
Мы мчимся. И лучшего жребия нет нам,
Чем стать человечеством междупланетным!

Павел Антокольский

Зимние ямбы

1

Январь,
но тает во дворах,
и снег чернеет по дорогам,
а тонких облаков игра
напоминает мне
о многом.

Такая нежность в небесах,
как будто
в дымных хороводах
на сверхчувствительных весах
судьба колеблется природы.

И вдруг —
заговорит вода,
и вдруг —
качнется на антенне
грачиха
с веткой для гнезда.
и заскользят по небу тени,
и снова станешь молодым,
и выбежишь
без шапки в сени.

Все это сделал тонкий дым —
Пародия зори весенней.

2

Летучим пеплом серебря
булыжник площади раздетой,
спешат
снежинки января
в сраженье темноты и света.

В кочующих полках зимы
жаровни стрелочниц застыли.
Пустыми фарами
из тьмы
одни скользят автомобили.
И голос радиомембран
сквозь гривы облачного роя,
сквозь луч,
внесенный в ураган,
поет:
„Мы новый мир
построим".

Ник. Ушаков

Повесть о страданиях ума

Сергей Буданцев

(Окончание)

Пожалуйста — высоты науки!

Первый раз Греков попал за границу в лето окончания гимназии. Он уже начитался Бокля, Бюхнера, Фейербаха, Молешота, Либиха и множества специальных сочинений. Слушал, пробираясь в штатском платье, лекции харьковских профессоров по сравнительной анатомии, гистологии, составлял для себя научные рефераты, даже исследовал в прудах родной Белокринички местную фауну простейших, написал—и напечатали—несколько рецензий. Золотая медаль за успехи на выпускных экзаменах украшала его. С пятнадцати лет он определил стремление своих занятий: едва узнав мир мельчайших существ, решил, что будет изучать живое в простейших проявлениях. Ему думалось, что он разрешит загадки, которые еще и не были внятно ему заданы.

В Вюрцбурге в то время читал гистологию знаменитый Кёлликер. Никто ни в гимназии, ни в семье особенно не удивился, что Мише надо ехать в мудреный город изучать мудреную науку. И ему на радостях дали денег, которые собрали не без труда.

Приезжий угодил в каникулы. Городок цвел немецкой зеленью и развлекался замкнутыми бурщскими пирушками. Вчерашний гимназист и маменькин сынок очутился в чужой стране, в неведомом городе,—впору хоть заплакать!

Русские студенты водились тогда в Европе повсеместно, земляки нашлись и в Вюрцбурге, густо населили квартиру,— четыре комнаты в уединенном домике на окраине. Миша Греков, чистенький и вежливый, явился к землякам — и никогда больше не наталкивался на такое. Был он паче всего исполнен желания не сконфузиться, не дать себя «сбить», вошел надутый и даже несколько брезгливо щурился. В сущности, он защищал себя этой барской брезгливостью от смущения.

Квартирка оказалась российски грязноватой, закопченной, полы не метены, кровати не застланы, настежь открытые в садик окна не могли сколько-нибудь смягчить вонь табака. Верность отечеству не ослабевала в столь родной обстановке: юноши и здесь трепетали шпионов. Гость не понравился. Спросили о рекомендациях, — не оказалось. Общих знакомых—тоже. На вопросы мямлил, больше слушал. Решили выпроводить без околичностей. Греков восседал у стола, тискал новенькую шляпу мокрыми пальцами, хозяева лежали на кроватях, жестоко дымили и молчали.

Гость готов был разрыдаться от обиды, те тоже под конец опамятовались, что зря обижают чистюлю, но через четверть часа он поднялся столь напыщенно и пожелал всего хорошего столь ворчливо, что эту хлыщеватую важность проводили хохотом, который вырвался из открытых окон. Ему казалось, что его обмазали зловонным отделимым трубочных мундштуков. Михаил Иванович никогда впоследствии не пристрастился к куренью. В тот же день у него был билет в Харьков.

В Белокриничке путешественника встретили радостно, удивленно и без рас-

спросов. А ему это любовное внимание было унизительнее насмешек. В родном доме он тонул, как в теплом тесте. Он проверял себя десятки раз, способен ли он к самостоятельной жизни, а тем более—к самостоятельному творчеству. Любой из известных ему гениев не скис бы так. Кроме того, пришлось поступить в захолустный университет, профессоров которого он расценивал с европейской точки зрения весьма низко. «Милые соотечественники исковеркали мне начало карьеры, — рассуждал много лет спустя Греков. — Не наткнись вначале на эту грубую неприветливость, я не просидел бы два года в харьковском корыте. Конечно, никто не обязан знать, какую ценность представляет каждый вошедший в комнату и что ему суждено совершить в будущем. Но не следует принимать его как прохвоста, так сказать, в кредит». (К слову сказать, Греков сам был всегда мало приветлив как раз при первой встрече.) Пусть потом его величали надеждой науки, начальная встреча с ее питомцами оказалась отравленной, и после он никогда не любил —если говорить исчерпывающе,—не любил всей мерой сердца, студенческой молодежи, особенно русской и германской.

Первые научные открытия выпали ему в девятнадцать лет. Смешные и страшные тельца в водянистом поле микроскопа заставляли его хохотать от радости, сковывали пальцы холодом, так он заглядывал во внутренность вселенной. Оригинальные пресноводные животные походили на коловраток, но приближались в то же время к некоторым группам круглых червей. Он составил из них новый, промежуточный и связывающий отряд, назвал брюхоресничными.

Мужи знания благосклонно беседовали с молодым талантливым учеником, и у него складывался величественный очерк отношений в этой, почти апостольской среде. Юношеский возраст, себялюбивый и самоотверженный, склонен все окружающее непременно примерять к себе, подобно тому как щеголиха мысленно одевается во все туалеты подруг и магазинных выставок, — Греков считал себя недостойным, недостаточно чистым для того, чтобы чувствовать себя равным людям чистой науки.

Но один случай разбил все эти красоты. Доверие к мужам было обмануто, никогда больше в первоначальном об'еме не восстанавливалось, потому что в первоначальном об'еме было почти безгранично, как мечта. «Такие полные увечащие крушения и называются, кажется, житейским опытом»?—писал сын матери после того, что произошло.

(Даже в темной комнате,—быстрый горный вечер погасил сумеречную щель в занавеси,—в черной тоске, которая как яд давила мозг, Греков не мог забыть, не мог отрицать, что и ему счастливилось на короткие, но ослепительные мгновения восторга. Их давали удачи исследования. И потому особенно страшно было видеть, как нечестно, мелко и вместе с тем полно его обмошенничали, обокрали лучшее, что у него было, как бессовестно использовали его труд и веру в людей, а результатами этого труда он гордился глубоко и справедливо. Чашка весов с восторгами пошла круто вверх).

Лето 1864 года Михаил Иванович прожил на острове Гельголанде, славном среди зоологов богатыми фауной водами. После «Происхождения видов» девятнадцатилетний ученый задавался замыслом доказать, что отдельно стоящие оригинальные формы могут служить звеньями между животными группами и освещать их генетические отношения и связи.

Юноша сутками работал, поголадывал, экономя на еде, менял белье не три, а два раза в неделю, экономя на прачке, растягивая деньги на длительное пребывание, растягивал это замечательное и глухое лето. Оказалось, что ему не нужно ни развлечений, ни забав. За ним был оконченный в два года университет, а впереди поблескивала огромная, как море, жизнь.

Он стремился попасть и попал на общеевропейский с'езд натуралистов, был самым молодым его участником, и всемирно известные бородачи ласково мурлыкали на него, благосклонно выслушали и похвалили его доклад о круглых червях нематодах, как о самостоятель-

ной группе. Императорское правительство раскошелилось на двухгодичную стипендию по тысяче шестьсот рублей в год для его заграничной работы. И наконец знаменитый зоолог Липгарт предоставил ему свою гиссенскую лабораторию, а сам уехал на каникулы в Швецию. Нематоды продолжали занимать Грекова. Он установил — и это было крупное научное открытие, и пальцы леденели, и лоб покрывался испариной — новый факт перемежающегося размножения: гермафродитные паразитические нематоды дают свободно живущее раздельное потомство.

За все время работы Греков ни разу не совершил большой прогулки, кроме пути от лаборатории к гостинице, он даже боялся развлекающих посещений театров, посторонних мыслей, ярких красок. Шаг вперед в работе давал радость, остановка или путаница огорчала,—наука равнялась жизни.

Липгарт возвратился осенью,—яркий прозрачный день, конский каштан за окном лаборатории пылал как в спиртовом пламени. Профессор, огромный, загорелый,—солнце шхер украсило его белый лоб, розовую переносицу и щеки в багровых мелких жилках крупными сиреневыми веснушками,—прибежал к своим коллекциям сразу с поезда. Он шумно дышал и не мог успокоиться. И было трогательно, что такое мощное тело могло привязаться к кропотливому ковырянью у микроскопа. Профессор бурно расспрашивал о работах, Греков так же бурно сообщил свое открытие.

Михаил Иванович потом сомневался, не разыграна ли была вся эта буря, чтобы выманить под шумок нужное из дурачка. Профессор выслушал, но неожиданно, что очень ошеломило ученика, принялся ругаться, немецкие согласные загрохотали из дремучей бороды. Профессор требовал доказательств немедленно, ругал верхоглядов, которым нельзя ничего предпринимать самостоятельно,—поработают неделю и из трех фактов сделают обобщение и норовят поразить свет. Греков показал все стадии развития, спорил, выкладывал накопленное и наблюденное, все гельголандское и гиссенское добро.

Через несколько дней,—все это время профессор дулся, и дремучая борода безмолвствовала,—Липгарт предложил более подробно осветить вопрос и напечатать общую работу. «Вместе с Липгартом!»—это стоило труда. Засели и быстро подводили исследование к концу, тем более, что они вдвоем в основе и подробностях лишь повторяли путь Грекова.

Профессор сделался необыкновенно внимателен, стал наседать с тем, что у молодого человека очень утомленный вид и в скверном состоянии глаза. Проклятые mouches volantes! Стоило Грекову углубиться и немногим более минуты не отрывать глаз от окуляра, — черные хлопья проскальзывали и водворялись в поле зрения, останавливались, дрожали, сплывались, среди них терялись предметы наблюдения, поле серело, выступали слезы. Липгарт сердобольно произнес слово «слепота»,—его заботливость не весьма щадила впечатлительного ученика. Как известно, лучшие офтальмологи — в Швейцарии: Греков быстро собрался и уехал туда, Липгарт напутствовал его об'ятиями и пожеланиями исцеления.

Каждый раз молодой человек ждал от путешествий куда больше, чем они давали или даже могли дать. Он слишком много запрашивал! Часто, обегав десяток музеев и достопримечательных дворцов, Михаил Иванович томился душевной ломотой, которая почему-то напоминала ломоту в пальцах после неумеренного писанья. Изнурительный и малоплодоносный труд смотренья не давал ему спокойно наслаждаться разнообразием стран и городов, — природа не озаботилась снабдить мятущегося юношу даром беззаботности. Да и откуда ей взяться: все дни его состояли из борьбы за лучшее, за превосходнейшее, за недосягаемое выполнение своих задач, — это была единственная утеха. И Греков, умный и с воображением человек, никак не мог взять в толк, как это люди живут без поглощающих все силы занятий, не вешаются от безделья, и таких людей многие тысячи. Михаил Иванович составил себе идеальный образ ученого и считал, что сам так же не походит на этот идеал, как любитель, малюющий картинки на досуге, на вели-

кого художника, подвижника своего искусства. Эти раз'едающие сомнения действовали в тяжелые промежутки, когда, неизвестно почему, работа расклеивалась. Человек, которому немногим больше двадцати лет, не склонен поддаваться утомлению: Греков каждый раз его не узнавал, принимал усталость за неспособность, за бездарность. Идеальный ученый распределил бы силы на год, приурочив отдых к каникулам,—Греков изнемогал иногда в разгаре работы. И почти всегда доводил ее к концу в полном истощении. В лаборатории, за микроскопом, за статьей, за обдумыванием Михаил Иванович верил в свои способности, в их неисчерпаемость. Сомнения раз'едали его на досуге. И в этот раз Михаил Иванович ехал в Швейцарию, усталый от работы, от тяжелых мыслей о слепоте, и уже в вагоне почувствовал, что нужно было бы отложить от'езд и написать статью, в противном случае он ее никогда не напишет.

В Швейцарии Михаила Ивановича встретил брат Николай, который наполовину сделался эмигрантом. Николай Иванович недавно освобождал Италию под предводительством Гарибальди и теперь носился с устройством коммуны интеллигентных тружеников на морском побережьи, около Неаполя. В своем кругу он явно главенствовал, так же как когда-то взапуски обгонял братьев. Скрытые грековские вихри бушевали в нем. Платье давно сидело на нем по-европейски, чужое солнце опалило его худое лицо с родовой вдавлиной переносицы подо лбом.

И странно, никогда так враждебно близок и мил не был Михаилу Ивановичу брат, как в эту встречу, хотя они не смогли ни разу остаться с глазу на глаз больше чем на десять минут. Николай Иванович, подавив жар и превратив даже собственное нетерпение в энергию, сколачивал коммуну, добывал деньги, писал, встречался с нужными людьми в секретных местах. На эмигрантских вечеринках обсуждали длинный вопрос о том, как несправедливо освободили крестьян в России.

Михаил Иванович под разговоры часто вспоминал: офицерские каблуки мягко и безжалостно падали на поверженное бабье тело. Михаил Иванович сочувствовал мыслям, но сопротивлялся речам длинноволосых молодых людей. Статья Герценовского «Колокола», прочтенная и осмысленная в уединении, даже по такому жгучему вопросу, как польский, не вызывала возражений. Но против этого же призыва, произнесенного кружковцем, топорщилась неприязнь. Михаил Иванович паче всего опасался повторять чужое и иногда возражал против безусловных истин. Молодые люди относились к нему с почтением — брат гарибальдийца и устроителя коммуны, — не то было, когда на нем не сиял чужой свет, и такие же свободомыслящие встретили его в Вюрцбурге щетиной в лицо.

— Мне сейчас не до крестьян,—заявил Михаил Иванович как-то брату.—Может быть, это называется властным эгоизмом болезни? Я слепну и скоро не буду в состоянии работать. А мой труд полезен, надеюсь, всем людям, в том числе и русским крестьянам, хотя они ни аза не поймут из тех вещей, которыми я занимаюсь и которым отдал бы вторую жизнь и второе здоровье, если бы они у меня были.

Николай Иванович вспылил и ринулся со спором. Но младший давно вышел из зависимого положения слабосильного мальчугана, которого старший, когда хотел, кидал на ковер и прижимал лопатками к его пыльному ворсу.

— По сравнению с этой несправедливостью, моей слепотой,—упрямо твердил Михаил Греков,—моей слепотой, м о е й, пойми весь ужас для меня,—всякая несправедливость человека над человеком кажется мне обидной и тяжелой, но преодолимой. Любую социальную жестокость можно исправить и смягчить, за последние семьдесят лет сколько пало угнетающих человечество учреждений. Но это облегчение прошло ведь мимо моей участи. И главное,—как ты исправишь жестокость природы, основную ее жестокость: смерть?

— Дорогой мой, тайна личного удовлетворения состоит в том, чтобы не помнить себя, если ты хочешь морали. А с твоими мыслями невозможно плодо-

творию жить и чем-нибудь заниматься,— справедливо возразил брат.

— А я ведь и не утверждаю, что это вполне возможно.

Мир, расцвеченный радугой для всех, для любого нищего, для дурака, для жулика, представал честным, умным, но ослабелым глазам Грекова как бы в сумерках, или словно его набросали по сероватому свинцовым карандашом. Это была печальная работа нервов, движение и время не прекратились, в сущности, яркость расцветок пострадала весьма мало, но действительность теряла власть над душой, которая замыкалась в своих горестях. Для иных этот порог, за которым Я и мир расщепляются, переступить довольно легко. Михаил Иванович принадлежал к их числу.

Прославленный Леви ничем не помог больному, не поставил даже твердого диагноза.

— Прогноз, профессор, ваш прогноз?—бессмысленно взывал больной.

Леви, словно ему поливали между лопаток, зябко пожимал плечами.

— Во всяком случае течение болезни очень медленно, непосредственной опасности нет.

Брат с братом простились, как через пропасть.

— Политика—это очень неясно и спорно, — сказал один.

— У тебя филистерский туман в голове напустили гелертеры, — ответил другой.

Николай Иванович, говоря свое, видимо, кипел, но вперился в бескровное лицо Михаила, в темные глазницы, и только махнул рукой.

— Смотри, Мишука, не очень переутомляйся работой! Ты, должно быть, себя одурманиваешь ей, чтобы избежать каких-то дум. У нас у обоих есть эта противная грековская черта: ни в чем не знать меры. С фасада скромны и тихи, а внутри, внутри...

Михаил Иванович рванулся обнять брата, но трель кондукторского свистка как сетка упала между ними.

По дороге в Гиссен Михаил Иванович остановился в Гейдельберге. Ему очень нравился западный обычай путешествовать только днем, нравилось к ночи остановиться в тихом городке, снять маленький номер в скромной гостинице, спать под короткой и пухлой периной непроглядным, пуховым, одиноким сном. Кроме того брат поручил повидаться кое с кем из русской колонии,—в тамошнем университете читали Гельмгольц, Кирхгоф, Бунзен, студенты стекались со всех стран света, преобладали россияне. Вечером прямо с поезда Михаил Иванович побежал в библиотеку,— там можно было найти нужных людей и необходимые книги.

В «Göttinger Nachrichten» в оглавлении ему бросилось имя Липгарта—статья о нематодах «Несколько замечаний к вопросу о размножении круглых червей». Статья содержала все мнения, все наблюдения, все домыслы Грекова, все выводы и даже немногие колебания и сомнения принадлежали ему, но весь этот материал был подан профессором как его собственный. Только в одном месте он помянул в сноске кандидата Грекова, который-де помогал ученому в его трудах.

Видимая вежливость отменно предупредительного профессора должна была показать, что уж наверное кандидат имел малое касательство к обобщениям и основам профессорских откровений, и пусть читатель вообразит, что кандидат скачет веселыми ногами, видя свою фамилию напечатанной, а следовательно, еще раньше — начертанной рукой профессора Липгарта.

О, знаменитый ученый умело обставлял благовидностями жульничество! Да, этот мальчик Греков еще на Гельголанде и в Гиссене распространялся что-то о нематодах; многоопытный исследователь использовал похвальный интерес молодого, привлек...

Греков прочитал статью со странным чувством. Она напомнила провал пьесы в давнем детстве и те судороги стыда, которые он тогда испытал. «Сильные чувства очень похожи друг на друга по действию»,—подумал Михаил Иванович.

Толстолистые и внушительные журналы — внутри, может быть, такие же воровские—покоились чинными грудами на круглом столе, под снопом газовых рожков. Всякая мысль, имеющая отношение

к науке, даже самонаблюдение, которое он только что сделал, были Грекову отвратительны. Его вмяли в ковер, мордой в пыльный ворс, его придавило тяжелое седалище победителя.

— К чорту!—закричал побежденный по-русски на всю строгость читальни и швырнул книгу, которая ударилась о стол, как бомба.

Читатели обратили на него испуганные и строгие очи. Подбежал библиотекарь и залепетал о порядках. Греков заявил издевательски, что по-немецки не понимает, удалился стуча каблуками. Ему в ту пору—хоть бы патлы, хоть бы дубину в лапы, он жалел, что чисто одет и похож на всех этих прилизанных господ, которые, вероятно, так же как их апостолоподобный Липгарт, не моргнув, обкрадут, ограбят, изувечат любого, будь только он послабей, да будь это безнаказанно. Но он без наказания не оставит.

Михаил Иванович лежал в номере, куда добрел, не глядя, чутьем, как раненый зверь, перина давила его словно раскаленная плита, а ступни, выбиваясь, стыли, он почти не спал всю ночь, всю ночь подбирал факты, доказательства, улики, вчерне изготовил целую обвинительную речь.

Утро принесло странное успокоение. Только собственное разбитое тело казалось нечистым, словно проспал ночь с продажной девкой. Самый ранний поезд уносил его из Гейдельберга. Пассажир развлекался тем, что воображал, какую рожу скорчит апостол, когда с него потребуют извинений и печатных указаний на истинные размеры работы и помощи кандидата Грекова. Очень привязалось какое-то неясное библейское сравнение с лептой и последним ягненком.

Но Липгарт, по неизвестной причине, прервал занятия со слушателями в самом начале семестра. Отбыл в Берлин. А когда вернулся, сделался на две недели болен и недоступен устным обличениям.

Среда германских ученых уже не роилась Грекову сонмом блаженно трудолюбивых небожителей. Мужи знания на глазах молодежи подкапывались друг под друга. Правда, Греков, последователь эволюционной теории, до сих пор понимал — а следовательно и оправдывал — это непрерывное взаимопредательство, как темную сторону великой борьбы за существование. В борьбе же за существование выживает сильнейший. Общая мысль раскрылась частным, раскрылась своим противоречием. Происшествие с Липгартом показало, что с и л а — понятие многосложное: тот, кто одолевает в непосредственной схватке, не всегда совершеннее поверженного в запутанной культурной борьбе. Впрочем, в великой книге об этом тоже было написано.

У Липгарта среди врагов был враг, его же бывший ассистент, саженного роста мужчина,—гиссенские зоологи могли бы выступать правофланговыми в гвардейском строю,—Эрнест Маус, с красными непомерными руками, необычайно нежными и искусными. Грекову никогда не давалась техника препарирования. И как он завидовал маусовским кулачищам, в коих тончайшие ножи и щипцы, казалось, порхали, потеряв вес и косность металла!

Маус на рассказ кандидата завизжал в припадке восторженного хохота и тут же, радостно сморкаясь, попросил не обижаться.

— Не обижайтесь, мой юный коллега, не обижайтесь,—повторял великан и отирал слезы.—У моего славного бывшего патрона и наставника — чорт бы его побрал! — говоря между нами, очень проворная голова, и растяжимая честь. Впрочем, еще Буало сказал, что честь—это остров с неприступными берегами: покинешь—не пристанешь обратно. Досточтимый профессор Липгарт давно плавает в открытом море. Не вы первый, если вас это утешит! Но вы—первый риф. Наконец-то показались рифы! Я это заключаю по вашей прекрасной горячности,—он будет наказан. О, я доволен! И за себя, и за других. О, я очень доволен! За себя и за многих. Вы иностранец, вы совершенно независимы,—пишите и публикуйте. О, да, подробное сообщение, статью, хоть целое исследование. Пишите и публикуйте на всех языках про это чудовищное нахальство, про этого ученого мошенника. Научный

мир, если он еще не потерял корпоративные традиции, вас поддержит. Разоблачайте! Вы можете это сделать. Вы — один. Наконец-то Липгарт нарвался. О, независимость!

От его пылких излияний потягивало завистью и еще больше — желанием позлорадствовать в безопасности, в сторонке. Но совет был хорош — единственный выход.

Греков засел за обстоятельную статью, обоснованную, как римский обвинительный акт,—свидетели, даты, подробности, сопоставления, признаки. Старцы из лагеря липгартовских недругов молчаливо и восхищенно подмигивали обиженному кандидату, тем более радостно, что он ни в коем случае не мог бы после скандала преподавать в их учебном заведении, стало быть, одним иностранцем меньше. Сплетня шепотком-шепотком вилась по закоулкам древнего университета. Греков писал. Писавший вжился в месть и отмел все, что творилось за ее границами.

И однажды в его воображении, слишком направленном на одно, слишком отрешенном от внешнего, чтобы это прошло безнаказанно, возник целый разговор, который едва не разбил всю обличительную затею.

Греков ненавидел Липгарта. (Ему казалось, что, кроме ненависти, никаких чувств не осталось к этому человеку.) И боялся с ним встретиться: как никогда еще—этот рослый германец казался ему красивым и ничем не тождественным с гнусным мошенником, которого разоблачали. И вот, воображаемый и ненавидимый Липгарт выделился из Грекова как живой. И он, живой, не подыскал бы лучших, более разрушительных, более убедительных для обиженного доводов.

— Да, милый кандидат Греков, я краду. Но я краду потому, что я богат. Вы происходите из страны с очень обостренными социальными противоречиями и должны уразуметь странное положение: я богат, но у богатого больше нужд, чем у пятерых нищих, или у вас, юнца, который едва начинает преуспевать. Ваш возраст — самая легкая стадия человеческого века.

— Все, что вы говорите, просто отвратительно по принципу, и, главное, ничего не доказывает.

— Вы, мой русский ученик, находитесь на первых ступенях культуры. Вы очень наивны, вы не прозреваете глубины явлений. Что из того, что на ваш счет я округлил состояние? Ведь вы же раньше брали безвозмездно из моего капитала и еще будете заимствовать и гораздо щедрее, чем вы считаете, поглядывая на мою лабораторию и коллекции препаратов,—разве только здесь вы позаимствовали? Тысячи безусых сорванцов не только безнаказанно, но и под гул похвал, грабят меня, пользуются моим самым бесценным состоянием, продукцией мозга и нервов. И среди них—я ведь уверен в этом—растет один, или несколько гениев, может быть, и уроженец варварской страны Греков из таких! И мое имя поблекнет в блеске другого имени, породив его. Я должен и буду, сколько в моей власти, бороться с временем и забвением,—что мне ваше презрение и визг! Передо мной старость, небытие, забвение.

— Но ведь таким путем...

— А почему вы знаете, может быть, я хочу жить хоть в тех письменах ненависти, которые вы сейчас чертите? Мир не забыл Марию-Антуанетту потому, что ее казнили, больше никаких заслуг перед историей у нее ведь не числится. Казните меня,—не забудут и моих заслуг. Я знаю своих коллег, филистеров и злых мещан, они, верно, колоратурили «о троглодитской этике Липгарта». Много они смыслят — эти Маусы, Броны, Тили, Шульмейстеры!

— Да куда там — троглодиты!..

— Правда, только дураки могут вспоминать в нашем случае троглодитов? Вы сами не ожидали в себе такой злобы против своих союзников. Защитников права! Тупиц! Не правда ли? Троглодит не совершал утонченных преступлений, понятия утонченности и преступности ему вполне чужды. Наш предок был аморален совсем не в том смысле, в каком рисуют меня: он был аморален, как животное. Совесть явилась результатом работы воображения, которое перемещает тебя в душу обиженного и стра-

дающего от тебя существа. Безнравственный поступок порождается и оценивается,—что одно и то же,—только высоко развитым, изощренным интеллектом. И почему вы думаете, что я, когда писал о нематодах, не был наполовину в вашей шкуре и не принял за вас свою долю обиды?

Следствием странного раздвоения было не менее причудливое поведение кандидата. Два дня он не мог взять пера в руки, а затем снова кропал старательно и усидчиво обвинение против Липгарта. Но по вечерам посещал сочувствующих профессоров и оглашал почтенные кабинеты теми словами, которые прозвучали в нем за молчаливым спором. На него взирали столь растерянно, что кандидат перетрухнул. Мелькнула мыслишка обратиться к психиатру, но он, представитель опытного знания, несколько преувеличенно презирал этих туманных и опасных краснобаев и предпочел справиться сам.

Снова и снова являлась в памяти баба, которую бил офицер. Брат Николай сделал из этого свой вывод: в революцию. Михаил Иванович пользовался картиной как сравнением, почему-то с упорством и насилуя воображение, отождествлял себя с этой измордованной бабой, которая ищет, чтобы кто-нибудь вернул ей нетронутое, целое лицо и помог забыть ощущение боли: каблука на губах.

Но река забвения не течет в природе. Хорошо в его, Грекова, власти—опозорить, огадить Липгарта печатно, но у обличительной выходки есть второе острие, которое упирается в самого обличителя. О, сколько раз он почти слышал, как на языке какого-нибудь распинающегося перед ним сухаря и врага Липгарта шевелится: «Конечно, это прекрасно, если Липгарту влетит в меру заслуг, секи сколько влезет! Но ведь, может быть, ты и сам того же поля ягода, — чорт вас разберет?»

Греков успокаивал себя, называл подозрения манией преследования, но от названия они не испарялись. Больше: день за днем вставала ясная уверенность в том, что житейское следствие его похода за свою собственность будет отвратительно. И как потом смыть с имени эти пятна чужой грязцы, в которой он копается и о которой оповестит человечество?

Но Греков не был бы Грековым, если бы эти сомнения и возможная опасность пострадать его остановили. Статья вскоре появилась, сначала во французском и немецком специальных журналах, а затем отдельной брошюрой. Автор покинул Гиссен, ему стукнуло двадцать лет.

Продолжим наши опыты и размышления

Итак, что же он мог противопоставить происшествию с Липгартом? Вернее, чем могла жизнь, обязанная быть счастливой (Михаил Иванович усмехнулся), перекрыть позорные дела, унизительные высказывания, пошлые ошибки?

Увы, работа памяти подчинялась (память услужлива) тем оценкам, которые Греков прилагал в мыслях к своему прошлому. Память только подкрепляла примерами теперешние предпосылки. Из многообразного звучания действительности, как бы излучающей бесчисленные длины волн, человек выхватывает только те, на которые настроен. Где былая гордость открывать и изобретать? Взволнуют ли Михаила Ивановича сейчас обобщения, которые ложатся в основу новой области знания, сравнительной эмбриологии? Разве не он положил начало этой науке? Как далеки, как сложны, как посторонни ему эти идеи. На ранних, видите ли, стадиях развития среди простейших форм, которые менее видоизменены под влиянием внешних условий, существенные и общие черты подтверждают связь различных групп. Ученый исследователь Греков доказал, что развитие беспозвоночных идет по тому же плану, как и развитие высших животных, существует, стало быть, связующее сходство между всеми живыми существами,—эволюционная теория нашла новое подтверждение.

А творец доказательства запрятан в темную нору, потому что погубил зрение микроскопом, стараясь подтвердить отвлеченное мнение, которое ни на во-

лос не прибавило радости к его личной судьбе. Ученый постиг в подробностях строение зародышевых пластов всего живого и ничем не овладел в себе самом. Пинцет, микротом, фиксирующие не давались так же, как в гимназии. За десять лет десять пальцев приобрели несуразно мало навыков, руки его дрожат, он то и дело горячится, швыряет непокорную слизь и липкие ленты того, что было живым. Он, как в детстве, вспыльчив, раздражителен, часто груб, часто смешон, хоть и прочитал несколько десятков тысяч мудренейших страниц и сам написал несколько сот.

После Гиссена он работал в Сицилии и по побережьям морей, омывающих Италию. Русские журналы начали величать его «восходящей звездой», «надеждой», некоторые даже «гордостью». Три года заграничных успехов, имя готическим и латинским шрифтом среди других, прославленных в научной печати, — всеведущий Борис Каразин сообщил из Петербурга, что вдобавок к субсидии прочат Бэровскую премию. «Приезжай пожинать лавры. Можешь спилить целое лавровое дерево», — писал остряк.

Греков поехал в Петербург готовиться к диссертации. Ему дали магистерскую степень за прежние труды. За него очень ратовал декан физико-математического факультета, профессор Пикетов, шумный старик, склонный к об'ятиям, поцелуям «по русскому обычаю», к покровительству молодежи. Успехи, успехи! Можно было войти сразу в славу среди широкой публики — в те годы обожали публичные лекции, рефераты,— но Греков не возымел ко всему этому вкуса; самолюбив, боялся смешного, одна миллионная возможности неуспеха приводила его в ужас. А потом — ни Джордано Бруно, ни Линней не искали шума. Правда, по участи многих весьма значительных западных ученых видно, насколько важно стоять полной ступней в толще публики. Тогда и подкоп коллеги или немилость деканта не действуют. За примерами ходить недалеко: Липгарт...

С такими победами четыре с половиной года тому назад двадцатидвухлетний ученый получил приглашение в Новороссийский университет, ассистентом к древнему зоологу Кантакузину, и согласился: близко к морю, к богатой черноморской фауне. Наука оставалась его поводырем.

Каким многоликим он был тогда! Сквозь скромность и застенчивость прорывалась подавленная требовательность — взрывчатое соединение. Важность и начитанность поражали при молодости: третьекурсники, его слушатели, почти все были старше учителя. Веселость часто и совершенно необоснованно сменялась грустью, уверенность — смятением. В сущности молодой человек не был ничем защищен, если говорить о житейском опыте, и в качестве щита или панцыря избрал подражание старшим. А тех, провинциальных профессоров, паче всего бесила эта юная зыбкость, неустойчивость, неуловимость, да еще прикрываемые замашками мудрой и рассудительной мужественности. Зависть старцев, подобно жирной черте, означала, казалось, в книге жизни, будучи проведена в начале,—завершение, конец. Больше всего пугало Грекова тогда, что он ничего не сделает больше.

Но это было житейское, бытовое. Греков оказался прекрасным преподавателем. Его лекции были по-юношески горячи, но он расчетливо и стройно распределял свой жар. Бессознательно и сознательно он ставил себе цель дать слушателям самое основное, без лишнего, но зато в форме наиболее запоминающейся. Если он вводил художественное уподобление, то это было не щегольство словцом, а лучший способ внедрить в мозг слушателя образ изучаемого явления. Его подготовка к лекции заключалась в том, что он подыскивал и лепил два-три основных сравнения и между ними протягивал цепь фактов и обобщений, которая и держалась как на приколах. Его богом был Дарвин.

Негибкий в быту, Греков искусно приспособлялся к обстановке научной работы и так же умело приспособлял себе обстановку. Как сказано, он настороженно относился к студенческой молодежи. Но именно это второе зрение, этот холодок, это уменье незаметно ставить людей на расстояние помогли ему без

ошибок, которые так прилипают к упоению молодым успехом, выделить в лаборатории наиболее способных. В науке, полагал он, не было работы мелкой, черновой, незначительной, и внушил эту мысль ученикам. Все работали одинаково серьезно: и тот, кто впервые брался препарировать, и тот, кто самостоятельно проникал в тайны внутриклеточного пищеварения.

Таким он себя, конечно, не видел. Это все он вычитал про себя в полулегальном студенческом журнале, слушатели провожали его восторженными и верными статейками, когда ему пришлось уйти после недолгого пребывания в университете, которое закончилось шумными и тяжелыми событиями.

В конце 1867 года созывали первый в России с'езд естествоиспытателей. Михаил Иванович хлопотал, чтобы его выбрали от университета. Старички только и выжидали, когда молокосос выразит желание, дабы пресечь, ущемить и показать, что высокая ученая деятельность начинена шипами.

Развалина Кантакузин начал шамкать, что ехать необходимо старшему. Его поддержали с такой горячностью, словно эта старческая болтовня осенила всех первозданной мудростью. Греков смотрел в лимонные глаза профессора, в них было не больше игры, чем в старой слоновой кости. Полупотухший взор этот и дал Михаилу Ивановичу смелость заявить, что у Кантакузина нет и не может быть никаких научных интересов на с'езде. Дело происходило в профессорской, тускло блестели форменные пуговицы и статскосоветницкие звезды в петлицах.

— Мальчишк !— проворчал кто-то за спиной.

Греков раскричался. В тот же день он совершил еще более грубую ошибку: пожаловался в лаборатории студентам на козни профессуры. Через два дня освистали Кантакузина. Профессор брел из аудитории коридором, шаркал трясущимися ногами, стучал тростью. Греков тогда рассмотрел, что глаза в свое время у старика были карие и гневные.

— Смотрите, молодой человек, допрыгаетесь!

И погрозил шафранным пальцем ассистенту.

Пронеслось страшное российское слово: бунт. Про Грекова шептались:

— Братец-то, кажется, красный. Эмигрант, якшается с Герценом.

И факультетская коллегия с испугу высидела многомудрое постановление: послать на с'езд обоих зоологов. Греков умозаключил, что возвращаться в Одессу не следует.

Михаил Иванович вспомнил пережитое в том виде, как оно его затрагивало в момент воспоминания. Лица и обстановка проносились как бы в пыльной заверти, все мешалось. Зато точно, как будто случилось вчера, и явственно возникали те же чувства: злоба, разочарование, издевка, как будто они хранились (и не ветшали) в потайных кладовых сознания.

Туманно и размыто проступали очертания дружеских лиц. Да и дружба была что-то не из адаманта: часто не выдерживала даже разногласий научного спора, простой перемены настроения. В одесскую пору у Грекова начал вырабатываться свой взгляд на требования дружбы и особенности любви. В нем крепла мысль, что истинная дружба завязывается смолоду, что любовь надо воспитывать в существе юном, подготовить в подруги жизни очень молодую девушку, которую не успели создать и исказить другие по своему подобию и разумению. В эту черноморскую осень он себе казался человеком в маяке и стариком почему-то: кругом буря, прибой моря, брызги, он хлопотливо жжет огонь для людей далеких и по существу безразличных.

Взглянуть бы на Грекова со стороны (он слышал о себе такие отзывы уже в Одессе и почему-то вспомнил, хотя они и не казались ему занимательными), он представлялся окружающим человеком необыкновенно сосредоточенным и устремленным к одной цели. Разговоры о предметах, посторонних науке, он вел в ту пору вяло, с принужденной, натянутой вежливостью. Но стоило коснуться его коловраток или амеб, как сразу повышался голос, словарь становился живее, разнообразнее, выразительнее,

строение речи — богатым и изысканным. Видно было, что мысль здесь упражнялась и приобрела стремительную силу к выражению в лучшей, наиболее впечатляющей, наиболее запоминающейся форме. Он как-то признался студентам:

— Каждый человек науки должен носить в себе идеальный образ ученого, к которому он желал бы приблизиться. Этот идеал растет вместе с нами и ускользает от нас. Мне всегда хотелось соединить немецкую выдержку, терпеливость, трудолюбие, а главное — уменье одолевать технические затруднения — с блеском и стройностью изложения, какую вы находите в работах французских ученых. И кроме того—выяснить и доказать в основах целое учение и продержать его двадцать лет под спудом, всесторонне укрепить его, предвидеть все возражения, и такой оснащенный корабль выпустить навстречу всем ветрам. Так поступил Дарвин.

В конце концов иногда он видел, что идет по некой средней линии, равнодействующей двух сил: мечты и косной тяжести своего «я».

Переходим к главному: вот она, любовь

В сущности научная работа представлялась Грекову возней с различными отдельными частями сложной машины, назначение которой неизвестно. Ребенок постигает внешний вид и строение шестерен, маятника, пружин, — однако действие часового механизма, который он только что разломал, для него загадочно.

Михаил Греков с тщеславием полагал, что от него останется одна работа, которую он мог бы назвать своим завещанием. Статья носила заглавие: «Воспитание в свете антропологии». В ней ученый, который обычно с терпеливой кропотливостью разбирал факты, — обобщал в широкой области общежития.

Умственная деятельность иногда порождает такие «вещи вровень» с творцом, который находит в них полное, равное себе и длительное, долго не перерастаемое выражение. Иногда мысль, пришедшая в детстве, вычитанное и усвоенное в юности замечание сопровождают неслабеющей мудростью долгие годы.

Грекову приходилось наблюдать молодежь с очень выгодных точек: изнутри, потому что ему было меньше двадцати пяти лет, и со стороны, потому что мозг его созрел. В конце концов и поведение детей было ему еще вполне понятно и воспринималось свежо.

И он пришел к выводу, что зрелость как проявление некоторого душевного равновесия и самостоятельности, приходит к человеку, по сравнению с животным, слишком поздно. Половое влечение просыпается и бьет с резким напряжением тогда, когда юная особь не в состоянии его нормально удовлетворить. Клетка делится на две одинаково жизнеспособных клетки, награжденных «опытом»: природа вполне покровительствует простейшим. Воспитательный период даже у высших животных сравнительно не длинен, детеныши быстро могут вести образ жизни взрослых. У человека длительный сам по себе, воспитательный период удлиняется и усложняется по мере роста цивилизации. Детский мозг требует многих лет и мучительной подготовки, чтобы постигнуть сложность жизни в человеческом обществе. Между тем, некоторые мощные инстинкты и органы ребенка развиваются раньше, чем им разрешают проявлять деятельность. Развивается крайняя чувственность, воля еще слаба, почти в зародыше, всякое самоограничение доставляет муку, — все это влечет страдания, обширные и гнетущие, нарушает равновесие жизни. Эти переживания являются постоянным и обильным источником печалей, тревог, позывов к самоуничтожению.

Греков принадлежал к тем, чей ум не засоряла, не расслабляла, не затемняла чувствительность. Его духовные глаза не слезились. Он всматривался в самое дно явления. Правда, он был в том возрасте, когда хочется не только постигнуть мир, но и переделать его. И немедленно, и сразу, и сверху донизу. Из этого видно, что чувствительность давала себя знать, волновалась в дозволенных границах с особенной мощью. Рассудок трезво устанавливал несовершенное устройство и уродливое развитие человеческой особи, а сама особь возмущалась, тосковала,

исходила ненавистью и заказывала рассудку дойти до конца, разобрать все противоречия, обосновать их неизбежность и безвыходность. Это уж был личный вывод.

В конце концов то, что можно было назвать первой любовью, прошло для него жалко, бесплодно, оставило ущерб и неудовлетворенность, как будто долгие часы решал сложный ребус и получил в ответ и в награду пошлейшее изречение.

Молодая московская тетка гостила в Белокриничке, поскучивала в небогатом поместье по Кузнецкому Мосту и не всегда кстати повествовала о пышности сумских гусар. Обитатели захолустья взирали на столичную гостью сонным, недружелюбным оком. А мальчика как раз и пленила эта нездешняя суетливость, беспомощная походка по кочкам в лугах, хрупкость стана. Степные лица, ражие и добродушные, толстые кости, мощное пищеварение, раскатистые голоса, здоровый сон, грузный храп — такими представали взрослые подростку. А приезжая была так легка, ее кости так тонки, голубые жилки выделялись на коже, если ее жалил комар, то укус его едва не превращался в нарыв, — жизнь этого тела казалась загадочной. Ее жеманные улыбки и пустяковые восклицания он считал только знаками ее таинственной глубины, которая не пробивалась на поверхность. Она, по словам отца, очень походила на Мишину мать в молодости, — они были двоюродные сестры, — но мать родила пятерых, мать прожила всю жизнь в деревне, загорела, обветрела, загрубела.

— Я прошу не задевать тетю Лизочку! — это сделалось его кличем, попадало даже матери.

Посмеивались над одной, стали вышучивать двоих, сельское медленное остроумие обволокло и сдавило их. Она целое лето томилась жарой, уединением, тяжелыми кушаниями, с преобладанием молочного, сочувственными и малопомощными вздохами племянника. Обвевай эти последние другую, она изощряла бы насмешливость вместе с прочими, а тут на нее самое обернулись вздохи и насмешки. Ей даже не дано было знать, что она включена в его бессонницу, в лунную мглу грешных грез, разрешаемых судорогой, в которой столько же наслаждения, сколько стыда и неполноты.

Но мысли о воспитании и о болезненных несоответствиях человеческого развития пришли, разумеется, много позже, как раз тогда, когда его вместе с Кантакузиным делегировали в Петербург на естествоиспытательский с'езд.

Еще в первый приезд в столицу, когда Греков входил в моду, Борис Каразин ввел его в дом знаменитого ботаника Пикетова, декана физико-математического факультета. Гостеприимная семья славилась незатейливыми и сытными ужинами, за стол садилось полтора, а то и два десятка человек, из них половина подростков. Вечерами играли, танцевали, пели, гудела шумом казенная квартира с окнами на Неву, — в реку хотелось броситься из окна и доплыть до самого синего моря.

Глава этой малолетней горластой семьи, маститый и чудаковатый вдовец, слыл как мастер разбирать юношеские ссоры. Вероятно, поэтому обиженный доцент сразу после торжественного открытия с'езда побежал к Пикетову жаловаться на гнусный Новороссийский университет, слова: «интриганы, хлопнуть дверью, показать опину, бесправие и произвол, чиновники ученого ведомства» — жгли ему язык.

Старик Пикетов был сед, как лунь, но имел под глазами мешки мужчины, хорошо пожившего. Был он бодр, хитроват, умен, быстро свел беседу на то, что «и сам так кипятился в оные лета», но суждения не высказал и отправил юного коллегу к ужину, за которым по подсчету Машуни было с'едено шестьдесят три котлеты. За склонность к цыфири девочке тут же попало от воспитательницы, Надежды Александровны.

Пикетовский дом состоял из основных насельников и пришлых: жили неделями гости из провинции, родственники, молодые люди обоего пола, преимущественно старше детей Пикетова, окружали их плотным дружеским кругом.

Из пикетовского потомства Машуня, первенец, была лет тринадцати. Ей позволяли все. Она была идолом. Сила

обращенной на нее любви и ревности отца и всей семьи возвращалась миру взрывами проказ, шалостей, хохота. Она как будто родилась с чувством меры, этой натуре не приходилось как будто сдерживаться, ее выходки всегда удавались и никого не обижали. Внимание рода сосредоточилось на девочке. Передавали очаровательную шараду шестилетней Машуни: «щи-билеты». Любовались ее словечками: «ой, ахти, ужас», «самолютшенькие, мы, Пикетовы, самолютшенькие». Рассказывали: прошлым летом в именьи девочка без кучера уехала в коляске чопорной бабушки, восседала на козлах, за ней посылали верхового, сколько страха! Все это были милые домашние предания, чужому — как ноты не музыканту. Но свои искренно восхищались, и нельзя было не присоединиться.

Секретом Машуни была полная внешняя непринужденность. Она как будто выкладывала все на чистоту, брякала, как про нее говорили, и, казалось, удовлетворяла свои желания без остатка. Скрытый, второй план подавляемого не чувствовался в ней. Ее ни в чем не подозревали, здоровьем прямо дуло от девочки. Желания у нее были детские, и это не могло не казаться прелестным: внешне Машуня развилась не по летам.

Линии широкого овала лица, пушок на губах, очень подробно видный и чистый рот, стан вполне развитой, грудь легкая и полная, большие руки законченно взрослые, — природа порывалась преждевременно завершить создание ее молодости как можно раньше и как можно целостнее. Она не была красива. Но женственная таинственность соединилась с могучей жизненностью, с отроческой неутомимостью, со здоровьем, с наивностью, с душевной горячностью. — такое тело трудно даже естественнику вообразить за нечистыми отправлениями.

Борис Каразин называл ее тринадцатилетней Церерой.

— Ты посмотри, — убеждал он Грекова, — она является самым предельным выражением внешней и внутренней красоты очаровательного семейства Пикетовых. В самом деле, можно вообразить, что Николай Андреевич, занимаясь морфологией растений, вымолил в священных дебрях это видение юного плодородия.

Греков пресекал — с неприязнью — каразинское красноречие, но решительно Борис, юноша необыкновенных способностей и бурно озабоченной бездельности, постигал многое из того, чего многие не постигали, а главное — умел наименовать. Действительно, все пикетовское племя лишь отображало Машуню, в большем или меньшем приближении, раздробленно, искаженно. Михаил Иванович, счастливо и смятенно поеживаясь, ловил себя на позыве обнять, поцеловать девочку, унести ее на руках с собой.

Тогда же он начал посылать матери полные стенаний письма, в которых жаловался на то, что одиночество, прежде такое заманчивое и полезное, страшит его. Люди ему враждебны, некоторые просто ненавистны, попрежнему лучше всего ему одному, но он сознает, что такое уединение вредно. О, если бы иметь около себя свежее, юное, сильное существо, которому можно было бы дать толчок, направление, воспитание. Как в такой заботе и общении он познал бы ее, она — его, они слились бы в пожизненном взаимном понимании, — словом не ново, но очень грустно.

Мать читала письма в Белокриничке. Несколько раз ей снился дикий, мглистый лес, по которому, она знает, удаляется от нее Мишенька. Она бежит за ним, задыхаясь, то попадает в ямы, то наталкивается на стволы деревьев, поверженные поперек стежек. Людмила Михайловна извлекала из писем много больше, чем сын успевал настрочить: ровно столько, сколько он вкладывал, и почти все, что умалчивал. Правда, петербургская молодость ее прошла в тридцатых и сороковых годах, а теперь, вон говорят, появились, нигилисты. Однако Людмила Михайловна живо представила семью, возглавляемую вдовым профессором, в доме ни одной пожилой женщины. Мизантроп Мишенька окунулся с головой в эту детскую, захлебывался от восторга, — несмотря на свою ученость, он ведь младенец.

Вторым после Машуни в письмах мелькало имя Надежды Александровны — мать, даже несколько коробило внимание сына к этой девушке с неопределенным положением в неопределенном доме. Надежда Александровна, видимо, вела хозяйство, воспитывала детей, хоть ей самой немногим за двадцать, и облик ее был так же смутен, как положение. Вон Боренька Каразин вместо ее настоящего имени прозывает в остротах Неверой и Безнадежностью — как бы у Мишеньки не проснулось сочувствие, а там и упрямство. Для Машуни Мишенька недостаточно стар и уже не вровень молод. Письма показывали, что мрачная сосредоточенность ее сына развеяна, — не то радоваться, не то плакать!

«Она мягка, податлива характером, как мне кажется, и просто иногда напоминает струйку дыма в воздухе», — писал Мишенька о Надежде Александровне.

Ох, уж эти поэтические сравнения! Внимание и участие девушки к сыну, за что мать благословляла бы пожилую замужнюю даму, не казались бескорыстными. Так одинокое степное предвесенье в Белокриничке наполнялось тревогами матери.

Был он весь огонь во младенчестве. Светленький, тоненький, в нежном румянце, шелковистые волосы, серо-голубые глаза искрились, они были с детства слишком зорки, слишком чувствительны. Ах, Мишины глазки, сколько с ними намучились! Плакать и трогать глаза ему было запрещено, все позволяли, лишь бы избегнуть этого. Миша отлично понимал выгоду: начнут журить, а он за глаза и хнычет: «А я тру и плачу». В раннем детстве он, как ни один из ее детей, был на земле, как дома. Господин Ртуть, все ему надо было знать, везде поспеть, все видеть. Вертелся на кухне, пробовал, осматривал провизию, в девичьей хотел вышивать, за картами раздадутся громкие голоса, он стремглав в залу, кричит: «А вы не подеретесь?» Отделаться от него, усадить можно было лишь хитростью: подсунуть зверька или бабочку, на часы притихал под роялем, когда кто-нибудь играл.

Мать, ведомая чутьем, наполняла ответные письма осколками детского света. Женщины редко ошибаются в основах, из которых проистекает несчастье их детей. На мужской взгляд их прозорливость низка, приземиста. Мужская «тайна рождения» (сколько наговорено!) им только тягость, крошенье зубов, раздираемый болью таз. Воспитание: приспособить слабое тельце ребенка к борьбе с враждой обстановки: холодом, сквозняками, заразами. Жизнь: приобретать тех, кто поможет детям бороться, и избегать тех, кто враждебен или слаб и сам норовит сесть на шею. Самое отвлеченное искусство — музыку — женщина сведет к колыбели, баюкать ребенка. Людмила Михайловна Мейербером и Гайдном укрощала, успокаивала, утихомиривала Мишу, когда увидит, что мальчик весь натянут, как струна, и вот-вот разревется. Упустила бразды, — Мишенька стал слишком мужчина: завраждовал с землей, слишком поверил измышлениям, «законам природы» — и не услышит Мейербера из Белокринички.

С'езд вышел пышен, но для Михаила Ивановича не весьма содержателен: ему почти не приходилось выступать, если не считать участия в прениях на секции. А ведь он девятнадцатилетним в Гиссене занимал внимание европейских ученых на пленарном заседании сообщениями о фауне Гельголанда.

Русские ученые в таком скоплении предстали ему впервые. Сравнить с немцами — так не в пользу соотечественников: хилые чинуши в генеральских мундирах, а там, в Боннах да Марбургах, над микроскопами склонялись богатыри в рабочих халатах — вола кулаком свалят. Один Пикетов походил на преждевременно поседевшего германского бурша.

Два потока мыслей шли в те недели через Грекова. Первый поток — о Машуне, второй о том, что необходимо значительно выступить на с'езде. Но когда Пикетов передал ему предложение сделать внеочередной доклад о его одесских исследованиях, Греков смутился.

Тема доклада наметилась из разрозненных выступлений на секции. Это были идеи относительно сравнительной

эмбриологии зародышевых пластов, вопрос глубокий и общий. Решение остаться в Петербурге теперь представлялось единственным выходом с достоинством покинуть Одессу. Внушительное выступление решило бы дело. Но доклад выходил слишком расплывчатым, недостаточно оснащенным фактами, «слишком философичен для действительных статских советников», как выражался Каразин.

В тот вечер, когда составляли повестку последних заседаний, Греков положил зайти к Пикетовым. «Кого первого из семейных встречу, того и спрошу». Конечно, должна была встретиться Машуня.

Горничная Солоня открыла дверь приветливо, в этом под'езде и малознакомых встречали, как родных. В передней было необычно пусто. Вешалки без пальто напоминали летнее отбытие на дачу. На вопрос гостя Солоня оповестила: только что всех утащил в цирк господин Каразин.

— Но барышня Надежда Александровна остались и принимают.

— И я! — послышался голос Машуни.

«Решит», — и Греков вступил в столовую.

Девочки там не оказалось, хоть он точным своим слухом установил: голос исходил отсюда. Михаил Иванович ненавидел прятки, игра напоминала ему о плохом зрении. Он вдруг почувствовал духоту и утомление, как в палящий полдень перед грозой.

— Я здесь, — сказала Машуня и вылезла из-за огромного резного буфета на середину комнаты, прямо под конус света от большой лампы.

В пышных оборках темнокрасного платьица девочка походила на гвоздику. Ее лицо было тоже как-то темнее и розовее, чем обычно. Большая, чуть холодноватая рука тяжело скользнула по его пальцам.

Гость громко и настойчиво вопросил, стоит ли ему обременять с'ездовскую кафедру при таких-то и таких-то условиях и так далее. Девочка слушала предпосылки, опустила голову, не шелохнулась, ни один волан не шевельнулся на ней. Эта окаменелость, конечно, воплощала вдумчивость. Греков остановился, прислушиваясь к тому, как медленно и властно охватывает его восторг. Пока еще чисто телесное состояние,— восторг не обрел ни одной мысли, ни одного слова. Девочка резко повернулась спиной и забилась снова в щель между буфетом и стеной.

— Какое мне дело! — раздалось оттуда довольно долго спустя. — Я не даю советов. Я не доктор и не мой папа. И вам в особенности: вы друг этого противного Бориса Валериановича.

—Сделайте милость, при чем здесь Борис Каразин?

Из щели доносились какие-то влажные поскрипыванья, не то кашель, не то подавленный смех. Потом зазвенел ее слишком громкий, сам себя не слышащий голос:

— А при том! Он меня поцеловал сегодня, ваш Борис Каразин! Мне было вовсе не стыдно, а очень приятно, потому что он очень умный и насмешливый, и мне нравится, очень нравится. А теперь мне неприятно, почему мне не было стыдно.

Подавленный смех превратился в открытый плач. Михаил Иванович внезапно ощутил, как налились горячим грузом руки, сжались кулаки, обостренное обоняние почуяло запах малины из буфета, по лицу пронеслось движение воздуха. Миг — и напряжение тела разрешилось ухмылкой: «Ищешь соперника, Михаил Греков»? Все стало до крайности тяжело и глупо. Комната как будто померкла, пламя лампы потускнело на несколько свечей, лак мебели и полировка зеркал загрубели и не отражали видимого с прежней готовностью.

Михаил Иванович безмолвно прошагал в гостиную. Надежда Александровна сидела в уголку, за столиком с рукоделием. Она показалась вошедшему очень грустна, веки подернуты черным, крючок не шевелил вязанья. Михаил Иванович порывался выложить, что поступки Каразина его удивляют, что следовало бы поставить на вид, что поведение Машуни странно и не вполне в ее возрасте естественно, — словом хотелось намеками сделать донос. Ему необходимы были об'яснения (впрочем, ему и

впоследствии никто не об'яснил всей истории), — впервые и во всей непререкаемости встало, что важен не поступок Каразина, а девочка.

Но вместо ропота на Бориса пошел повторять опись бесконечных колебаний по поводу выступления. Тогда именно Михаил Иванович остро почувствовал свою двойственность и действие разумных сил, которые задерживают проявление чувств, какие проявлять не следует.

Надежда Александровна слушала сосредоточенно, кивала головой, Греков заметил, вовсе невпопад, а как будто ловила равномерное биенье внутри себя. Белели выброшенные вперед на столик руки движением утопленника, который погружается в глубину. Михаила Ивановича мучило — напрасно затеял ненужный разговор да еще пристает мудро раз'яснить недоумение, и как нарочно все выходило чрезмерно длинно, насилу добрался до конца перечня за и против.

— Конечно, не выступайте, — ответила она непоколебимо и быстро, едва собеседник умолк. — Не выступайте с неготовым. Это у вас от неуверенности, а ведь вы же огромных способностей. Вы жалуетесь, — мало сделали, впереди ничего не видите. Уж кому-кому, а вам непростительно... У вас все впереди, и как много!

Гордость за него явственно проступила на ее худых щеках. Отстукиванье сердца, к которому она бессознательно прислушивалась, как будто подсказало ей, как ему должно поступить.

Они затаились в полумраке. Угол гостиной казался почему-то сводчатым, трубообразным, полным в таинственных глубинах тепла и каких-то живых, телесных ароматов. Беседа превратилась в его исповедь, в которой, впрочем, он каялся преимущественно в грехах своих ближних, в их подвохах против него. Практическое существование, удобств которого нельзя не ценить, если намерен работать в полную силу и не разменивая способностей на добывание хлеба, не удавалось ему: жил он тускло, скудно, в беспорядке, тратил много и без толку. В университетах русских гнусные и бессмысленные интриги, — враждуют, об'единяясь кто по чинам, кто по национальному признаку. Между префессорами, великороссами, поляками, немцами не стихает смехотворное подобие войны, изображающей в малых масштабах межгосударственные распри, но злее, скучнее, безысходнее. К полякам особенно несправедливы.

— Поэтому своих друзей я выбираю среди них.

— Люди необыкновенно упорны в несправедливых антипатиях и вражде. И это очень печально... очень печально... среди именно таких людей... — ответила Надежда Александровна, показав, что очень тонко проникает не только в произнесенное, но и в то, что лежит за словами (он знает, что по матери она полька).— Ведь в доме дяди я тоже вижу эту среду. Каждый в одиночку загрыз бы десяток других и питался достоянием трупов. Но это невозможно, и они группируются. Но как назвать такую солидарность людоедов, которая делает их еще беспощаднее к врагам из других кружков? Я в первый раз так резка в своих мнениях, при вас у меня развязывается язык. Вы одновременно и презираете и жалеете людей, я ваша единомышленница в этом.

У него вырвалось:

— Как во многом другом! Во всем, пожалуй.

Она взглянула строго и без удивления, но покраснела. Худые скулы зарумянились в полумраке коричневым. В него заползло подозрение, что девицы слишком поспешно осваивают холостых молодых людей. Он быстро подавил эту гадость, при помощи которой пытался определить, почему легко откровенничать с Надеждой Александровной. Перед ней легко было признаваться, она и сама ничего не утаивала, по крайней мере в этот вечер.

В доме профессора Пикетова сложно и душно жить, несмотря на показную широту. Хлебосольство стоит не столько денег, сколько несчитанного, незаметного труда. Ради кухни ей пришлось забросить занятия в лаборатории. Она не любит и не понимает детей, а от нее требуют дара и склонности воспитывать.

В особенности трудна Машуня. У отца и у гостей создался ложный образ, который ребенок лепит с тонким расчетом и превосходным искусством и разрушить который не позволит самой богине истины. Девочка вовсе не добродушна, а требовательна и сварлива, как актриса в уборной, как ее родной батюшка по утрам. Все ее помыслы устремлены на одно: нравиться. На людях девочка всегда душевно приодета, но чего это стоит! Иногда от ее речей уши вянут. Правда, большая часть россказней — выдумки и фантазия, но и в таком случае им можно только с грустью удивляться.

Сопротивление скромности, желание сохранить образ, гордость человека, которому не хочется так глубоко ошибаться, благодарность, наконец, за теплоту, которую все еще возбуждала девочка, удерживали Михаила Ивановича от расспросов. Но он не мог остановить медленный и неуклонный поворот всего пикетовского дома, показывалась неказистая внутренняя сторона, скучные узоры изнанки.

Сон девочки неспокоен, сновидения подозрительны, в них слишком много для такого возраста фабулы, слишком реалистичны подробности. Тут Надежда Александровна сделала умолчание.

«Конечно, мы естественники, — думал Греков, — но она разрушает во мне Машуню и едва ли беспристрастно». Явная, разгаданная ревность об'яснила все, но не показалась ни противной, ни предательской. Такое пышное цветенье в тринадцать лет, такой показ богатства природы можно возненавидеть. Ведь даже пороки девочки вопят о ее разнообразии, о ее емкости, и тем самым — превращаются в достоинства.

В сущности, нигде среди животного царства нет такой разницы между ребенком и зрелой особью, как у человека. Человеческое существо в период от младенчества до юности являет почти полную неприспособленность к существованию. И юности, когда она поставлена в необходимость заботиться о младших членах семьи, простительно возмутиться.

Едва эта мысль в нем отчетливо сложилась (она оказалась из руководящих положений статьи о воспитании), Греков, повинуясь столь же отчетливой потребности (он думал потом, что это было признательностью за то, что девушка стала поводом к открытию мысли), быстро поднялся с кресла и — Надежда Александровна тоже поднялась и шагнула к нему — обнял ее. Надежда Александровна уронила к нему голову на грудь, они были одного роста, и нежное движение не удалось, но Михаилу Ивановичу в ту минуту была притягательна, жалка и мила именно ее неловкость.

В этом об'ятии их едва не застала Машуня. Вероятно, девочка истолковала по своему их неуклюжие движения и смутные ответы невпопад. Греков помнил только обвинение, что он «нафискалил», больше ничего не сохранила добрая служанка-память об этой безобразной ссоре с девочкой. Они кричали друг на друга, Машуня топала ногой, разорвала платочек.

Надежда Александровна с трудом собрала волю вмешаться, заявила:

— Машуня, даю тебе честное слово, Михаил Иванович ни слова не говорил о тебе, я, правда, упоминала твое имя и отчета не дам почему. Разговор был между нами и только о нас, и очень серьезный, а не о твоих сумасбродствах.

Машуня удивленно замолчала. Надежда Александровна страдальчески гладила ее щеки кончиками пальцев. Машуня хмуро размышляла, стоя перед воспитательницей, пальцы которой нанесли, казалось, гримасу боли на ее лицо. Девочка отошла с усилием, словно вырвалась, помедлила еще у двери, — самые противоречивые позывы не давали двинуться. Мучительная неподвижность тянулась, как она считала, бесконечно.

— Ну, и женитесь! — крикнула плаксиво и убежала.

Михаил Иванович метнулся за ней с зовом: «Машуня!» — но остановился перед дверью, помедлил и подошел к Надежде Александровне, поцеловал руку. Увидав ее слезы, сказал:

— И мне хочется заплакать.

В тот же вечер, очевидно, Греков ухитрился простудиться. Воспаление в горле сняло всякую возможность высту-

пать. Много дней как бы сухое, горячее, колючее рыдание давило гортань. Больной жил в странных запахах: сладковатого дыхания и липкого пота, похожего на запах растертых листьев акации, по вечерам его мучила испарина. Михаил Иванович почти обрадовался недугу: он сразу выводил из колебаний о житейском в борьбу за жизнь. Словно кто-то превратил ученого в младенца, уложил и заставил належать кроватку и поставил ее на бережок,— мимо бушевали потоки. За стенами номера о нем радели и перевели доцентом к зоологу Анисимову в Петербург.

Прекрасная пора выпала в отношениях с Надеждой. Она настояла, — Пикетовы перевезли больного выздоравливать к себе на квартиру в отдаленную, тишайшую комнатенку, серые с золотыми кирпичиками обои. Здесь помещалась классная младших детишек.

Надежда Александровна, разумеется, не покидала классной.

«Вы бесконечно добры, мне странно теперь подумать, что я строил какие-то планы относительно девочки-эгоистки», — так он мысленно начинал речь. Но его сиделка была сама из тех, что непрерывно и с наслаждением каются, хотя бы и молча, — и если говорить правду, Михаил Иванович вместо покаянных слез изрядно привередничал во время болезни. Ему бесконечно угождали.

Изредка больного навещал старик Пикетов, хохотал, басил:

— Я ваш новый декан и как начальство приказываю завтра же встать!

Греков был откровенен только в письмах к матери. Ей-то он и расписал предположенный брак как союз двух разумных существ, в духе века. Для того чтобы оттенить разумность, сын отводил в письмах много места расчетам на повышенный с переводом оклад жалованья и напирал на то, что «детей иметь не предполагается, в чем ручается эмбриолог, специалист по теории развития».

Вообще его умственное направление не изменилось под влиянием счастливых событий. Михаил Иванович остро и постоянно чувствовал временность безмятежности. Почему-то мучила мысль, что они оба не очень здоровы и совсем не обеспечены. В вопросе о детях оба сошлись, казалось бы — лад, а на него от согласия невесты дохнуло холодом.

«Мыслящий человек, — писал он матери, — не имеет права разводить потомство, обрекать его на муку, несчастья, безвыходную тоску жизни, бесплодный опыт которой мне ясен в свете личного счастья, как никогда». Правда это мрачное послание пролежало неоконченное на письменном столе, а потом он его разорвал.

Жених смотрел на невесту в упор и рассмотрел, и написал в Белокриничку о том, что у нее неважный цвет лица, но зато превосходные волосы, и тут же оттенял, что девушка скромна, добра, честна. Даже ее недостатки едва ли можно осудить: она слишком безропотна и скоро сживется с дурной обстановкой, лишена живости и предприимчивости, но прекрасный исполнитель и вынослива, будет помощником в научной работе. В подобном характере не бывает резких и грубых черт.

Мать потом признавалась, — поплакала не столько над тем, что будущая сноха некрасива, а над тем, что ее мальчик замечает это в суженой. Этого мать не должна была знать и до конца не узнала впоследствии, но разглагольствования о мягком и неопределенном характере, при всей своей правдивости, имели целью затереть неожиданную шероховатость в самых тайных проявлениях существа Надежды Александровны, как бы обратную сторону мягкости. Никто чужой, даже самый близкий, не прознал, а мать, недаром была на исходе пятого десятка, что-то подозревала неблагополучное в завязи их отношений. Поцелуи и ласки девушки, постепенно смелея, как бы несли следы болезни и сами были раздражены и болезненны, как будто оттого, что вызрели в замкнутой комнате из телесного недуга и беспомощности мужчины. Она оказалась склонна к движениям жестоким и порывистым, покусывала шею и посмеивалась беззвучно, щипала и царапала его руки у локтей. Но стоило погаснуть этому возбуждению, она снова становилась ровна, медлительна, ясна — хозяй-

кой, опекуншей, сестрой милосердия. Он полагал, что в ней свирепствует голод по ласке, и вчуже представил себе это неукротимое стремление без выхода. В сущности девушка бессознательно мстила мужчине, которого так долго ждала.

Со свойственной ему смелостью Михаил Иванович вглядывался пристальнее и прозревал глубже, чем следует, дабы оставаться благополучным. Угловатость ее он смягчил тем, что овладел ею до брака. Тогда она сделалась необыкновенно мягка и покорна. Михаил Иванович укрощал свои мечтания. Естественник должен трезво принимать сущее. Хорошо, часть силы из запаса нежности растрачена, чтобы установить первоначальное согласие; на обтесыванье острых углов, на полировку граней силы эти бесценны: ими и питается тот порыв к слиянию, который называют любовью.

(В комнате стало совсем темно, в темноте растворились вещи. Бездонно глазело трюмо справа. Надо бы зажечь свечи, но почему-то не хотелось разбивать этот слитный мрак. И тут же отчетливо, как отпечаталось, возникло: срыв. Да, да, жизнь до женитьбы брала под'ем за под'емом, он шагал маршами успехов, неудачи только оттеняли блеск побед,— с женитьбой все поползло под уклон, «как в старости», — пришло ненавистное сравнение.)

Туберкулез сначала лучшие врачи называли бронхитом, — Надежда Александровна слегла вскоре после того, как Греков выздоровел от воспаления горла. Молодым девицам на-выданьи болеть непозволительно: кто польстится на хворую.

Но именно в тот день, когда Михаилу Ивановичу стала явной опасность ее недуга, и было произнесено слово чахотка, — бракосочетание было оглашено и назначено на ближайший срок. В церковь невесту внесли на кресле, она не могла ступить двух шагов, задыхалась, почти падала. Венчание больше походило на соборование.

В медовые недели молодой бесстрашно обозрел положение и определил его бесспорным именем: ошибка. Правда, первоначально не дано было постигнуть глубину, значение, размеры неправильного поступка, но и тогда, и после, до последней минуты он знал и знает, что совершил и готов расплачиваться. Жизнь расщедрилась для молодого человека на поучения, ставила опыты в одном направлении: предвидеть — это не то, что испытывать на своей шкуре.

Существование круто обернулось злыми мелочами: квартира, прачка, кухарка, долг в лавку, лишняя купленная книга, расход на извозчика — все это как-то оплотнело, дьявольски вылезло, выросло, получило значение проблем. Оказалось денег мало, — их могло хватить на здоровых, но дом содержал тяжело больную. Михаил Иванович изнемогал, как пешеход, которому обещали через полчаса пути еду и ночлег, а он сбился и бредет целиной, завязая, отступаясь, а главное —обманут, а главное — не видит конца.

Ученый погнался за рублем. Ученый засел за переводы. Как-то сразу стало получаться так, что работа каждый раз оплачивалась хуже, чем рассчитывал, или было обещано, — то непредвиденный вычет, то неправильный подсчет размеров работы, впрочем, беднякам присуще преувеличивать грядущие блага. Ученый бегал в Лесной читать популярные лекции, устроил лабораторию на дому для практических занятий со студентами за отдельную плату. И странно — с университетской кафедры его лекции поражали простотой, стройностью, ясностью, а лекции в популярной аудитории казались ему запутанными, малосодержательными, вялыми. Выдумка с лабораторией по началу мнилась необыкновенно удачной. Но деньги мешали выбирать учеников; попадали малоуспевающие и бездельники в поисках занятий. Греков назвал предприятие скучной лавочкой. Без настоящего интереса он не мог работать и для денег. Бывают такие, особенно непокорные умы, которые прикованы к одному делу, и дело должно быть непременно на высоком уровне, и должна быть все время свобода выбирать, задавать себе и решать задачи по своему почину, по плечу, то есть труднейшие.

Первое время ему казалось, что он изворачивается и преодолевает, что наполняло даже гордостью.

— Знаешь, Наденька, может быть, это испытание нужно для характера, такие физические, так сказать упражнения для ума!

И он начинал многословно и неправдиво говорить ей о своей любви. Она лежала, закрыв глаза, и слегка вздрагивала и верила, конечно.

Но случилось, несколько молодых доцентов и професоров поссорились с университетом и подали в отставку, все из-за тех же проклятых национальных распрей: нестарого и очень способного химика, поляка Хацевича лишили лаборатории под тем предлогом, что у него не было учеников. Те, кто подали в отставку, поступили благородно. Приват-доцент Гонцов сказал красиво: «Хацевич — настоящий ученый, способный ради одного значка в формуле работать годы; мы за развитие науки без чинопочитания!» Михаил Иванович всецело разделял эти убеждения. Тем более, что лично он не симпатизировал этому иссиня-бледному поляку, неувядаемо-старообразной наружности, обладателю самого тусклого голоса в столице, самой вязкой, спотыкающейся в мычаниях речи, самых крикливых галстуков и самого обильного набора брелоков. Но именно из-за неприязни вопияла и восставала поруганная справедливость.

Однажды Греков спустился в пахучие потемки химической лаборатории. Тепло от спиртового пламени горелок и термостатов мешалось со щекочущим зловонием реактивов и плесенью полуподвала. Хацевич умерщвлял чудовище из колб, змеевиков, пробирок, штативов, разбирал и акуратно складывал части. Греков начал сбивчиво о том, что он всецело сочувствует.

— Простите, я перебью вас,—сказал скрипуче Хацевич и приказал служителю выйти,—ну, мы одни, я вам отвечу: меньше всего я уважаю фронду, которая соблаговолила взять меня под защиту. То есть я не могу не быть благодарным, товарищество и все такое... Но что-то отдает кавалерийским полком. В науке не так... Прошу прощения, но ведь если бы я был мировым ученым или сумел бы таковым показаться, меня бы не вышвырнули ради бородатого Старицкого, похожего на ката. Не посмели бы. А тут не постеснялись ведь, вот я свертываю работу, над которой корпел полгода. Они правы, какое им дело до науки.

Михаил Иванович даже закричал:

— Позвольте, но ведь это же люди науки, как же так, ведь они-то должны...

— Что должны? — сухо заскрипел Хацевич, — За меня стоит способная молодежь, с проблематическим будущим. Ей тесно в нашем университете, вот она нашла предлог, не так ли? Надо смотреть трезво. Я тут пятая спица в колеснице. А вас я понимаю тоже. Вам кажется, что вы всецело мне соболезнуете, согласны, с нашими горячими головами, но рассудок, обстоятельства вас удерживают от того, чтобы к ним присоединиться. И вы, не имея этой возвышенной возможности, зашли, не без риска, надо добавить, для своих отношений с сильными мира сего, к опальному и незадачливому алхимику. Благодарю вас, но последний поступок еще более неразумен, чем участие в бунте! Оклад жалования, что поделаешь... Посмотрите, как внушительно они завтракают сытые, как попы. Я уважаю сильные челюсти.

Греков весь кипел и не был в состоянии сказать ни слова: их слишком много теснилось, и они выбивали друг друга по дороге на язык. Это был последовательный нигилизм, высиженный в уединении и в самолюбивых бреднях.

Хацевич возбуждал брезгливость. Но не меньшую брезгливость возбуждал и самом себе к своему бессилью и Михаил Иванович: оклад цепко держал его, мужа, хворающей жены, и он остался среди людей, которых ненавидел, презирая себя. Только много лет спустя он понял мрак, в котором существовал зажатый как тисками Хацевич и злобно вырабатывал примирение с гнетом.

Греков вслух не жаловался и на посторонний взгляд не сдавался. Зато сдавало зрение. Михаил Иванович пробовал бороться тем, что не обращал на него внимания. Потом случайно наткнулся на указание и пускал атропин в глаза.

это давало возможность писать по ночам. Он отодвигал даже мысль о грядущей слепоте, смелость, никогда ему не изменявшая, покидала его голову. Да и не до смелости было, приходилось искать помощи, униженно хлопотать, ластиться к ненавистным действительным статским. Родные не были оповещены и не могли рассчитывать на такую доверенность: слишком настойчиво отговаривали его от женитьбы и оказались кругом правы!

Иногда истомленный беготней, заботами о доме, врачами, он запирался в лаборатории. Глаза почти гасли над микроскопом. Он ставил себе задачу из числа тех, которые недавно казались неразрешимыми и требующими длительной подготовки. И все: и подготовку, и решение задачи он производил в несколь бессонных суток. Напряжение труда, к которому он так привык, было ему легко. Гораздо легче, чем простая проверка счетов кухарки. От этих проверок у него болела голова, ломило плечи, от разговоров о кухонных неурядицах плясала челюсть. Но никогда усталость от работы в лаборатории не переходила в лютое утомление.

Странное и мучительное время эти три с небольшим года, за которые ученый, талантливый человек разрушил все здание себя и своего дела. Годы эти прошли тяжкой поступью и невероятно быстро, с повадкой годов несчастья. Он часто вспоминал из «Отцов и детей» замечание о времени, что в России оно течет очень быстро, в тюрьме, говорят — еще быстрее. Кроме того он понял, что тюрьма — не место, а состояние: можно об'ездить весь земной шар и все-таки быть, как в казамате. Годы прошумели невнятно, не оставили как будто и впечатлений сколько-нибудь поучительных и вместе с тем одарили таким опытом, что с ним оказалось немыслимо «тянуть лямку дальше».

В Петербурге (первый догадался обо всем Пикетов, конечно) уже с начала второго года занятий, над Грековым завздыхали, принялись измышлять для него пособья, субсидии, ссуды, а потом и заграничные командировки, вперемежку с нравоучениями и соболезнованиями. Большей частью три года эти прошли за границей, и никогда так Россия не давила, как в свободных странах, в непринудительном труде, и никогда Греков не изнывал под таким обременением оков, как в этих раз'ездах и видимости внешней свободы.

Надежда Александровна помогала ему в работах, супруги даже опубликовали сообща две статьи о сифонофорах, но он не обманывал себя тщетой этих усилий. Она могла стать совершенной помощницей, идеальной женой ученого, но он ни разу не увидал в ней чуда преображения и постоянно видел изгибы приспособления. Бесполезный труд выламывания себя, — как он думал, —был жалок. Он иногда ненавидел ее за то, что ее судьба напоминает ему о неизбежности конца, и поистине отдыхал, когда простая и жгучая жалость,— стоило ей только расхвораться сильнее, заступала место холодных опасений за нее.

Кроме того каждая минута содержала напоминание, что существовать можно только по милости службы, не наукой, не талантом мыслить, а тем, что уживаешься со средой, которая злорадничает, — с мальчишки-де слезает спесь, и которая между усмешками потрепывает покровительственно.

Печальное и тревожное застаивалось в нем. Из города в город, с побережья на побережье тащил он эту муть ума. Впечатления отбирались однообразные и тягостные, откладывались слоями, полонили, оплотнялись, частное оборачивалось общим. Возникала стройная и мрачная статья «О браке».

Если несоответствия человеческой природы губительно отзываются на детском и юношеском возрасте, то противоречия зрелости, особенно в связи с поздним вступлением в брак, грозят человечеству вырождением и вымиранием. Браки, по мере усложнения общежития, заключаются все позже, половая зрелость наступает все так же рано, как и в эпоху неолита. Под возбуждающим влиянием внешней и распутной цивилизации пол проявляет себя требовательнее и напряженнее, чем в естественной обстановке лесных чащ, дольменов и пещер. Неудовлетворение несет прости-

туцию, болезни, слабость, — никогда столько молодых людей не искали добровольной смерти.

Немного позже, несколько лет спустя, великий русский писатель заподозрил жену в неверности с красивым композитором. Ревность создала замечательную филисофскую повесть, в которой были прокляты музыка, женщина, брачное сожительство, любовное влечение и даже, — раз для этого необходима любовь, могущая изменить, — самое человеческое размножение, самое продолжение вида признается ненужным и безнравственным.

Но горечи, пусть отвлеченные в высокую область ума, не становятся слаще и терпимее, — они становятся длительнее.

Странно, думая о тягостях брака, который сделал его несчастным, Греков мысленно как бы очистил его от всего безобразного, смехотворного, мелкого, что так легко примешивалось к страшному, вернее — даже составляло сердцевину страшного, его содержание. Смерть из'яла его жену из числа живых, из круга тех осуждений, которыми он иногда так спреведливо возвращал ее к благоразумию. Не смешно ли, что женщина в ее положении боялась крушений поезда, не садилась на белую лошадь, требовала от извозчиков, чтобы ехали тише. Еще хуже, — будучи при смерти, она ненавидела раздеваться перед врачами, именно стыдилась, потому что лечилась с жадностью, с верой, но каждый раз Михаилу Ивановичу приходилось чуть ли не самому расстегивать пуговицы «Но это же глупо», — ворчал он, а она царапала его руки.

До последних минут она рвалась к страсти. Ей трудно было повернуться в постели, поправить одеяло, конечности ее, истонченные до синевы, казалос, не питались кровью, но иногда ночью выдавалась четверть часа, силы возвращались к ней, ее об'ятия причиняли ему боль, так они были сухи, костлявы и порывисты. И отворачивала от него лицо.

— Не надо, не целуй меня. Я не дышу на тебя, ты можешь заразиться.

Он искал ее губ.

А пройдет несколько часов, —больная начинала длинные жалобы, поджимала спекшиеся сухие губы и страдальчески щурила глаза. Ей надоели, ее раздражали сытые, здоровые лица кругом, которые к тому же складываются в постную мину.

— Я не ропщу, но я так всегда одинока. Я — наедине... — Иногда прибавляла: — с собой, — желая сказать что-то другое. — Я так слаба, и так страшно.

Слабость свою она видела в истинных размерах, потому что после этого признания замолкала надолго, лежала не шевелясь, не дыша, не подымая ресниц.

Выделим самое существенное

Эти слова Михаил Иванович произнес вслух. Они обозначали: куда же ушли силы и годы? Если обозреть, — сделано так мало, поспешно, спустя рукава, не додумано, не дорыто до дна, да и дна-то, кажется, нет.

Конечно, и другие скажут, и он сам себе твердит: надо работать. Бессодержательных слов нет, но иногда содержание слов теряет власть. В конце концов он не готовится заболеть смертельной болезнью, он ею уже болен. Оборвались связи, — семья, общество, любовь, работа, — связи, которые его держали и которые вообще держат человека на земле. Может быть, он себя искусственно довел до такого состояния, но ему действительно ничего не нужно.

Он как будто разучился ходить, владеть руками, видеть. Странно подумать: войти в переполненную аудиторию и начать: Милостивые государи, в прошлый раз мы остановились...» Или взять срез и распластывать его на стекле...

Говорить по правде, этим можно было заниматься, когда не было основных возражений...

Михаил Иванович стал отгонять от себя живые воспоминания. Они были слишком ярки, у них были вес и запах, и их было трудно укрощать суровыми, бесконечно печальными решениями...

4

Михаил Иванович зажег свечи, увидал себя окруженным вещами мадам Шобер, которые, казалось, молчаливо требовали об'яснений. «Отлично, — отвечал себе Михаил Иванович, — об'яснимся». Он

аккуратно выбрал из стопки несколько листов, даже переменил перо. На новом не держались чернила, он вытер и послюнил конец, металл оказался кислым. Обрывки фраз, вроде: «Так существовать нельзя». «Твердо ли я решил», «Прошу никого не винить», — возникали с готовностью, мозг отвергал их с отвращением. Обыденость фраз казалась оскорбительной.

Сколько же в мире наделано всего, сколько оставлено слов, поступков, движений, если даже такой неповторимый поступок, к какому он приступал, и то не находил сколько-нибудь нового вступления! Не столь затертое и опробованное звучало вовсе безобразно: «Я решаю искусственно простудиться».

Пусть это никто не прочтет. Последним судьей будет сам написавший, — а ему-то и отвратительно! И вдруг нашлось:

«Тяжелая болезнь — это или небытие, или пробудится с кипучей, давно мне неведомой интенсивностью инстинкт жизни».

На последнем слове Михаил Иванович остановил себя с чувством, похожим на благочестие неверующего, которое не позволяет ему пойти в пляс в священном храме дикаря. Это было очень сложное, многослойное чувство, в основном оно содержало желание: выражать себя. Но желание это мгновенно обволакивалось сомнением. Так можно писать и дальше и дописаться до того, что забудешь весь путь, которым только что пришел к решению. А завтра опять надо будет его повторять. Принятый, всесторонне обмозгованный замысел уже приобрел свой вес и этой тяжестью отводил от записей, от работы выражения себя, от продолжения лямки.

Возникло странное видение. Огромная зала, залитая белым светом, который отражает кафели пола, панелей, белые стены, белый потолок, — вероятно, прозекторская богатейшего университета. На столе лежит труп. «Это знаменитый ученый Греков, он отдал себя для рискованного научного опыта и погиб».

Греков улыбнулся, впервые за долгие месяцы, этому детскому бреду. В конце концов у него хватило бы воли и выдержки произвести самый рискованный опыт: все-таки кому-то польза. Но ведь такие опыты ставять редко. Не об'являть же в газетах: готов умереть для славы науки, потому что жизнь не мила ! Не самому же придумывать опыт! Да и вообще — какая смерть будет для жизни, а не для смерти?

Михаил Иванович вздохнул: слишком много мыслей и картин. Положил перо, новенькое, мягкое, удобное, и на мельчайшие клочки разодрал написанное. Бросить клочки было некуда, эти пансионные комнаты устроены для бездельников, которым не до черновиков. Михаил Иванович бросил катышки бумаги в умывальное ведро и успокоился: теперь уж не подберут и не прочтут.

Несколько дней тому назад перед морфием все было проще, без смешных и унизительных колебаний, без сиропа, без мечтаний. Римский раб, homo servus (раб, орудие и тело господина, дабы освободить его от усталости и скорби, сообщаемой душе телом, существо без всяких прав на себя), римский раб, если бы мог восчувствовать сухую отвлеченность, определяющую его положение, вероятно, распался бы от полного безволия.

Нечто подобное испытал и Греков. Неодолимая лень, отвращение двигаться, жевать, слушать сердце, ходить в уборную, одеваться по утрам и разоблачаться по вечерам смена освещений, погоды, местожительств — все должно было рухнуть, раствориться в нетях. В снотворном яде морфия была своя логика, жалко, что она не заволокла сознание навсегда сходством с предсмертным желанием уснуть.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В дверь постучали. Греков болезненно вздрогнул так, как если бы его ударили по обнаженной кости. В комнату впорхнула Марта, крахмальной наколкой похожая на древнюю богородицу. Михаил Иванович в этот момент бросился открыть дверь (он ее и не запирал вовсе), и они почти столкнулись.

— Pardon, — пролепетала горничная, неожиданно для самой себя за-

рделась до слез и забыла, зачем зашла.

Греков застыл перед ней в остолбенении. Он готов был закричать от облегчения, разрядившего гнет. С таким чувством, вероятно, человек, задыхающийся в дыму и уже потерявший силы, в полуобморочном состоянии видит, как сквозь пламя мелькает каска, топор, знаки спасения, пробивается другой человек, неуязвимый для пламени. Греков стоял перед девушкой, и в голове у него звучали русские слова так явственно, словно он их действительно выкрикивал. Он слышал в себе: «Мне страшно, мне очень тяжело, нестерпимо, невмоготу»,— и страх, и тяжесть не только томили его, но как бы были связью между замыслом слов и восклицаний и между действительным их произнесением. Он слышал в себе: «Ведь вы человек, пожалейте меня, я могу, чорт знает что наделать!!»— и стоял перед ней, беззвучно и жалко пожевывая ртом. Марта безотчетно повторяла это движение. Ее прекрасные, толстые, мохнатые губы улыбались чувственно и добродушно. Оба не замечали что видимые знаки их смыкания, их близости — смешны, они лишь чувствовали связавшую их цепь, чувствовали ее поразному, потому что с каждой стороны ее рождали разные причины, но оба почти телесно ощущали, что не могут ступить шагу друг от друга. Марта досадовала на свое глупое смущение, — у себя в постели она не могла без чувствительного вздоха подумать об этом самоубийце, но сейчас ненавидела его презрением слуги. Греков же во все глаза следил за спасителем, хотел позвать, но в пересохшем, сожженном горле не было голоса. Наконец он хрипло пробормотал что-то по-русски, вроде: «что вам угодно?» Она отступила к притолоке и спросила:

— Вы, кажется, звонили, сударь?

— Нет, — злобно оборвал Греков,— нет! У вас галлюцинация слуха, и я прошу, чтобы она у вас была в последний раз!

Грекова ударило подозрение, что опасаются оставлять его надолго одного. И сразу он запутался в целой сети подозрений. Если опасаются, значит — признают самоубийство возможным. А если возможным, то, в приложении к нему, в какой-то мере правильным. Хотя на кой чорт ему одобрение! «Что еще ей надо?» — подумал он.

— Но раз уж вы зашли, — у меня будет просьба: сейчас же приготовьте ванну.

Горничная удивилась и утвердительно кивнула наколкой.

— И еще: ужинать я не буду, принесите сюда несколько бутербродов.

Он взвешивал каждый звук. Ему нужно было освободиться на полтора-два часа от посетителей, соглядатаев, беззастенчивых добряков, грубых воздыхателей. И он давал им ложную присягу в том, что совершенно спокоен, что не имеет дурных намерений, что хочет жить, питаться, не злоумышлять:

— Если можно, бутерброды с холодным мясом. Сыра не надо. И, пожалуйста, яблоко.

Девушка слушала эти клятвы кушаньями, он проверял действие лжи и успокаивался.

— Вот видите, вы, должно быть, звонили и сами позабыли, сударь.

Она удалилась с таким видом, что все поняла и простила и теперь неописуемо довольна получить от сумасбродного русского дельное приказание. Он мысленно послал ей вслед длинное, жестокое ругательство.

Михаил Иванович взял книгу, английский журнал по физиологии, и принялся разбирать таблицы, рассчитывая тем вытеснить необходимость думать дальше. Однако одна предательская мыслишка проскользнула и завязла среди мудреных текстов, как гусеница в смоле. Можно ли колебаниями и сосредоточенностью приготовить тело, так сказать, загипнотизировать его, к отвратительным, но могущественным и благодетельным спазмам, которые извергнут отраву, как было с ним недавно? Поэтому, может быть, дело не в дозе? Пошло было о стигматах, но он не пустил стигматы... Возвращаться к жизни еще унизительнее, чем бессмысленно погибнуть.

Наконец Греков опустошил череп и стал ожидать купанья за чтением, спокойный и внимательный: конец верны",

неотвратимый, естественно-медленный был обеспечен.

2

Греков наполнил ванну очень горячей водой. Опускался, по мере того, как вода охватывала его, все внутренности как бы смещались кверху. Сел и потерял вес в тяжелой, плотной горячей воде. Сердце забилось под горлом, как будто все тело слишком крепко забинтовали, или закопали в песок. Так он сидел несколько минут, растянутых в безмерную тяжесть, каждый удар сердца отзывался ожогом, и особенно у запястий, в паху, в ступнях. Удары следовали часто, сильно, с шумом в ушах, ожоги перемещались, как будто в ванне циркулировали кипяток и холодная вода, не смешиваясь. Ему хотелось крикнуть, он забыл снять очки, их затягивало паром, казалось накатывало беспамятство. «Вот еще, — быть заживо сваренным!» — и он тут же перебивал себя — книжник— примерами об изжаренных на кострах и зачем-то повторял: «Воля, воля ,воля». Стало труднее всего пошевелиться, жар воды еще больше оплотнел и овладел им. Тогда-то и произошло какое-то соглашение между приспособившейся кровью и снизошедшей к слабостям водой. Ванна как бы расширялась в блаженный водоем, и тело поплыло в счастливой теплоте. Он закрыл глаза, вот-вот заснет.

С превеликим трудом купальщик разомкнул теплоту. Он поднялся и, стоя по колено в воде, окатился ледяным душем. Кожу словно ободрали огненной скребницей. Струи, как град, секли по открытому мясу. Он не выдержал, выскочил и застонал. В раскаленной, раззуженной оболочке тела тряслась внутренняя дрожь озноба, и не от душа, а от воздуха ванной, казавшегося зимним.

«Вот и отлично!» — приговаривал Греков, борясь с челюстью. Зубы лязкали, язык как бы распух и неповиновался. Одежда не подходила к разрозненным, потерявшим форму членам. Штанины злобно, словно змеи, увертывались от ног, которые утратили безошибочную меткость. Тесемки скользили из рук и уползали в складки ткани. Пальцы рук сморщились, — их подушечки высохли, — хватали беспомощно и некрепко.

Длинная судорога терзала грудь и мышцы живота. Тело покрылось, как сыпью, болезненными точками, еле заметные волосы и корни стертых волос на лодыжках пылали, подобно булавочным уколам. По позвоночному столбу ползало злое, щекочущее насекомое. Время от времени Грекова обдавало испариной, тогда белье получало жесткость и вес железа. Самыми слабыми ощущениями были: бешеные перебои сердца, шум в ушах и сменные волны, от розового до багрового, в глазах. В тот момент он состоял только из телесного, но это было вовсе не неприятно и походило на сорокаградусный жар малярии перед самым наплывом бреда. В пару ванной — колонка, лампа, стул полотенце приобретали туманную текучесть, словно снились.

Наконец Греков одолел пиджак; с пиджаком вернулся рассудок. Кости, кожа, волосы, нервы, мгновение тому назад, раз'единенные, каждая часть сама по себе, каждая часть кричала, давала знать, —теперь все сплотилось: Михаил Греков раскрыл дверь и побежал, шатаясь, по коридору и лестницей вниз. Мокрая голова отмечала разницу температур и движение встречного воздуха. В походе тело обретало чувство среды. Пахнуло остывающим ароматом столовой, благоуханным супом, кашей и сигарами — передней, он опускался в пласты неистребимых запахов.

Темнота слоями плавала по вестибюлю, в окнах, между сучьями покачивались фонари. Дверь в гостиную слегка вздрагивала, тонкая прямая щель, подобная золотой нити отвеса, то возникала, то гасла. Борис расхаживал, жирно ступая по паркету, за ним колебались створки. Борис разглагольствовал. Его тонкий голос напоминал струю умывальника. В ту минуту Михаил Иванович ненавидел всякую воду.

— Мне казалось, — повествовал Борис и чуть-чуть подхрипывал, изнуренный болтовней, — что он не жил. Он только существовал на Мадейре. И не живет сейчас, я вас уверяю. Он как бы принуждал себя выполнять все хлопоты

по похоронам. Я ему помогал, сколько мог, и он даже часто давал весьма здравые советы. Больше того, даже благодарность не была чужда ему. Я видел в его глазах признательность за помощь.

Греков усмехнулся, стал вслушиваться внимательнее.

— И мне горько сознаться в сущности я оказался ему полезен только как помощник могильщика. Но все же рассудок дремал в нем, или совершал какую-то нам невидную, но несомненно вредную работу. Мой друг от всего отстранялся, даже от самого естественного: например, не пожелал проститься с усопшей. От соболезнований его просто коробило. Любовь и скорбь унесли его душу.

— Как вы прелестно сказали! — громко вырвался женский вскрик.

— Идиот! — весело пробормотал Греков.

— Мне видеть его в таком положении было очень непривычно. Я уже говорил вам, что это была сама энергия. Жажда работы иногда пугала в нем. Правда, ему недостает постоянства, выдержки, спокойного и ровного усилия, этих европейских качеств. Он работает как русский крестьянин, как потомок земледельцев, — порывом, запоем. Это огромный недостаток, не только для работы, но и для него самого; в промежутках у него страшно падает жизненный тонус, по существу для него нет ничего вреднее этого пансионного швейцарского безделья. Он духовно ослабел а я его знаю атлетом. Послушали бы вы его публичную лекцию! Это живопись и скульптура. Но он никогда не был доволен ими, такая уж это натура. Он стыдился аплодисментов и вообще всех проявлений внешнего успеха.

— О, это самое большое честолюбие! — сказал мужской голос с жестким немецким акцентом.

— Да, если вам так угодно. И, пожалуй, вы правы. Греков недоволен сам своей лекцией, он все время работает на идеал. Но он знает, какая бездна труда вложена в каждую фразу.

(«А драгоценного волнения, дьявол тебя забери! А из-за этого волнения я потом не мог несколько дней засесть за микроскоп. Да предварительно, перед выступлением сколько корчей, — и все помеха делу!»)

— И этот труд и волнение («Милый, так, так» — мысленно подбодрил Греков) нельзя окупить никакими гонорарами, ни рукоплесканиями.

— Ах, как это верно! — сказала поанглийски мисс Эванс.

Греков мял манишку. Вот-вот он откроет дверь и шагнет к ним, к этим добрым, все понимающим людям. Но эта, как он думал, слабость перешла в усмешку над собой. Как же, так он и ввалится с мокрой головой, ляская челюстью, и покается, что совершает над собой смертельный опыт! Но растроган, но потрясен, но берет свои поступки обратно! Нет уж, пусть сплетничают о нем без него.

И он снова, мнилось ему, обрел предсмертную свободу не прилагать к себе того, что вне его, хотя и попало в поле внимания. Вон чувствительная английская мисс вопросила на скверном французском языке о том, о чем все молчали: «А как же ваш друг не подумал о матери? Мать была бы убита».

Михаил Иванович очень любил мать. Он, почти блаженно радуясь, читал в свое время те главы «Происхождения видов», где говорилось о силе и значении материнской любви. Материнская любовь, развитая в племени более слабом в борьбе с другим племенем, не обладающим материнскими инстинктами, но воинственным и сильным, является главным фактором окончательной победы, давая прочный результат не в прямой, а в более важной — косвенной борьбе за существование. Материнская любовь есть прародительница всех высших чувств: солидарности, доверия, уважения. Он узнавал эти мысли радуясь, с такой радостью невинно обвиняемый читает оправдательный приговор. Бестактный вопрос англичанки обнажил всю предвзятость, с которой Михаил Иванович вытеснял из себя воспоминание о матери и все сопутствующее этому воспоминанию. Для Грекова мысль любимой книги была не меньшей реальностью и повелением, чем правила распорядка в учреждении, чем закон государства. И

во всякое иное время Греков, как каждый на его месте, возмутился бы таким вмешательством в самое скрытое его отношений с людьми. Больше того, он постороннего защитил бы от подобной заочной навязчивости. А теперь он, как ему казалось, все пропускал без оценки, вернее — ощущение внешнего так понизилось в нем, что качество многих оценок переходило в обратное, и он как бы заставал их на этом переходе не определенности. Это и было «величие отрешенности».

Борис вдохновенно полез в тот круг защиты от сердобольных намеков, которым, по его мнению, непременно обвел себя Греков:

— Только здоровому и социальному человеку наши связи, родственные, дружеские, общественные, любовные кажутся прочными и вне критики. Наша логика несокрушима только для нас. В тени небытия ее суровый остов расплывается, — разливался Борис. — В преддверии самоубийства приблизительно так рассуждают о близких стариках: им жить и мучиться всего несколько лет, ничего не изменится в сущности, во мраке потонет все. Одним страданием больше, одним меньше.

Греков слушал Борисовы трели с неясным отвращением, похожим на стыд, с которым читают слишком откровенную, или бестолково-выспреннюю свою запись в дневнике. Запись давно забыта, но она поднимает со дна души зловонные останки глупой мысли, или дурного поступка.

Михаилу Ивановичу не пришло в голову, что замечание Бориса было всего лишь умозаключением вчуже, — сколько каждый из нас делает таких умозаключений! Борис перескакивал, опьяненный восторгом выбалтывать, с подробности на подробность, путал времена, вдруг возвратился к предистории оболтанного друга и рассказал, как знаменитый поэт Пушкин встретил мать Грекова, — ее звали уменьшительным от Людмилы Милочкой, — и любезно обронил: Que vous portez bien votre nom, mademoiselle» [1].

[1] Как вам идет ваше и

Караэин переводил с французского на французский, игры слов не получалось, и это больше всех нескромностей обидело Грекова.

— Вот пошляк! — пробормотал он и выбежал на улицу.

Греков выбежал на улицу, как мальчишка с урока в перемену. Азарт, похожий на опьянение, нес его. Это была младенческая потребность двигаться. Лет двадцать такой не случалось. Пот бежал по лицу, как в жаркий летний полдень. Но каменная тишина улицы не содрогнулась даже от удара дверью. Михаил Иванович зашагал колеблющейся походкой по плитам набережной. Там, думалось ему, будет холоднее.

— Простуда собьет спесь, — шептал он.

Под спесью очевидно подразумевалась сопротивляемость тела. Жестокая простуда, беспощадная, как туман, прохватит его. Самое слабое воспаление легких сразит его, потому что он подавит желание бороться. Умереть в жару, в беспамятстве... В детстве, в сорокаградусном жару какая-то болезнь грозила ему смертью, он понимал вполне и не испугался. Страха не было и теперь, и это наполняло его тщеславием. Больше всего заботило, что на него, без пальто могут обратить внимание прохожие, будут разглядывать, пристанут с разговорами. Михаил Иванович возвышенно ободрял себя:

— Ты ж в свободной стране, русский невольник предрассудков! Можешь послать всех к чорту.

Так миновал он несколько кварталов, старательно огибая оживленные улицы. Огненная скребница пробегала то-и-дело по спине. Судорога озноба вцеплялась в живот позывом захохотать. Греков стал задыхаться. Рот пересыхал. Он брел холодной пустыней, среди враждебных домов, по глухим камням. Весь этот чистенький уют устроили не для него. Газовые фонари висели на голых ветвях каких-то очень ширококостных деревьев: не для него. Плиты отражали стволы и тумбы тускло и расплывчато, лужицы сияли отблесками огней, но непосредственно вокруг него было темно. Он двигался в средоточьи тьмы, нес во-

круг себя кольцо отражений, и не переступал его. Тишина ловила и глотала стук каблуков.

Греков вышел к озеру. Большая вода мерцала у берега. За мачтами яхт беззвучно бушевала темнота.

И оттуда из темноты летели белые хлопья. Яркие фонари молочного стекла, похожие на два сияющих яйца, налитых до-бела раскаленным металлом, строили из снастей, баллюстрад, из чугунных отливок, из тесаного гранита, досок и теней свой остроугольный мир. Вокруг фонарей кипела живая вьюга. Иначе трудно было бы назвать шуршащую возню насекомых, — их налетели мириады, — и каждый назвал бы ее так. Насекомые падали на огонь сверху, как снег, подымались снизу, вились столбом, плыли со всех сторон, безвредные изящные, и все же грозные неисчислимостью и безобразным множеством. Каждое из них в отдельности казалось бесплотным, — существо, созданное для краткого полета на крыльях в серебряной пыльце за смертью у яркого огня.

«Вот и поденки гибнут», — подумал Греков. Знакомое явление подняло в нем откуда-то из самых подвалов памяти, из неприкосновенных слоев ее картину самого раннего младенчества. Мать везла его на лошадях темной ночью, должно быть из уездного города в Белокриничку. Копыта дробно стучали по плашкоуту глухим отрывистым частым боем. Черный Днепр подступал к перилам. Далекий конец моста был прикреплен к звездному небу многоточием мелких огоньков. Вокруг огоньков, жалких коптилок, кишели насекомые.

Ребенок услыхал слово «поденки», Федосей Леонтьич вызывал их «метлицей».

Греков остановился, чуть не завопил от переполнения, от перенасыщения мгновением. Два времени столкнулись в нем. Толчок, сомкнувший прошлое и настоящее, распирал его. Толчок втемяшивал в сознание, что ничего не прерывалось, что он сам разорвал связи, что у него было детство, бесконечная эпоха, когда он изучал первые слова. Или слова были позже этого видения бьющих в огонь крыл? Неважно. Важно, что тождество ушей слушающих, первые слова из уст матери и Леонтьевича, и этих взрослых ушей с шумной больной кровью, — тождество установлено.

И теперь то же: черная вода, фонари, поденки. Теперь поденок, в честь взрослости, больше, они кучнее слетаются на ослепительные фонари. Лодочник целыми грудами сметает их со сходен в воду Берег покрыт их телами, как порошей. Гранит опылен серебристым. Они умирали завидно безболезненно, в порыве слияния, легкие, чистые, выполняя главное веление жизни и независимые от жизни.

Существо, которое носило имя Михаила Ивановича Грекова, до встречи с насекомыми было дрожащим от смутной и слитной тоски и телесных невзгод животным. Все гудело в нем, как буря в ночи. Его несло. Если бы у него стало умения и рассудочности, он уподобил бы себя камню, сорванному в бездну но наделенному сознательной волей к неподвижности и тишине.

Однако в нем были силы, которые шумели в нем, хотели еще шуметь, — сравнение с камнем неполное — и эти силы восстали против сил, искавших вечной тишины и возврата в неживое. Слишком стремительное, слишком упорное, слишком далеко хватающее отрицание превращалось в утверждение. Буря раздергивала туман. Молния толчка осушала его. Воспоминание о детской поездке словно и осенило лишь затем, чтобы напомнить о мощи детства.

И все безмерное количество связей, сочетаний, сходств, противоположностей, вся работа произведенная над собой, все книги, когда-либо прочитанные, осколки и целые глыбы знаний, накопленные в нем, — весь этот раздавленный, замгленный внутренний мир восставал и прояснялся и, — как вздох после обморока, — выделил легкую завязь любопытства. Греков поймал насекомое и принялся его разглядывать. Насекомое погибло от прикосновения, Пальцы покрылись серебряной пыльцей.

Очень кислое и очень брезгливое ощущение едва не заставило Михаила Ивановича бросить трупик. В конце концов,

отдельная жизнь слишком слаба. Не все ли равно, есть прошлое или нет? Счастливая стадия детства счастлива слепотой... но тут новое могущественное чувство пробилось в него и сразу обратилось мыслью.

Он знал это чувство. Оно приходило тогда, когда несколько недель обращаются в непрерывный день. И весь этот день связан одной мыслью. Пусть она дробится на множество наблюдений, записей, испорченного материала, побитых стекол, пусть ее разрывают короткие мгновения, сна пусть ее заглушают пустой болтовней, но она, как боль под снотворным, живет, зреет, пульсирует и хочет проклеваться наружу. Так было с нематодами когда-то. Мысль жила и беспокила в виде непрерывного, длинного вопроса: что же делается с паразитическими гермафродитными формами? Он засыпал с этим вопросом, и просыпался с ним, и во сне видел — он примешивался к бесвкусному немецкому супу в кухмистерской, и ложка застывала в руках. И однажды он открыл чудо: гермафродиты имеют потомство: нормальных, раздельноживущих круглых червей. И тягота мысли не прекратилась, а стала радостью. Так, вероятно, бесплодной женщине жаждущей ребенка, недомогания и тошнота вдруг, когда она догадывается о причине, оборачиваются не недугом, а высшим признаком здоровья, и она готова терпеть неприятные ощущения радуясь их силе и жестокости.

Греков насторожился. Так усталый чует запах дыма в безлюдном тумане. Он готовился блуждать, неизвестно сколько, может быть, вовсе заблудиться, пропасть, а теперь уж наверное в этой холодной, предательской полужиже возникнет жилье, прочный, теплый, человеческий дом, может быть, он наткнется на бревна пальцами, Греков насторожился Он никогда не занимался этими насекомыми.

Между тем они очень загадочны. А там, где есть загадка, там решение открывает неожиданные стороны природы, часто ломает все установившееся здание. У поденок ротовое отверстие едва намечено, и насекомые им не пользуются. Значит — погоня за питанием, являющаяся основной проверкой жизнеспособности данной особи и, следовательно, вида, здесь отсутствует.

— Мне всегда везло в тех случаях, которые являются исключением, — прошептал Греков.

И он представил себе направление, по которому должен двинуться исследователь. Прежде всего, очевидно, любовная борьба между самцами должна быть особенно жестока. Надо выяснить соотношение полов в массе насекомых, проверить все личиночные стадии...

У Грекова был значительно-задумчивый и понимающий вид, потому что к нему именно обратился усатый брюнет в каскетке и обильном шарфе с вопросом, — и вопрос несведующего звучал тревожно:

— Что это за бабочки, если это вам известно, сударь?

Михаил Иванович неожиданно для себя отозвался предупредительно и както по-детски заученно и звонко:

— Это так называемые эфемеры. Это милые, безвредные, загадочные для ученого насекомые. Они могут до крайности заинтересовать. Я очень люблю их. Я знаю их с ранних лет.

По всей набережной насекомые кружились, плясали у фонарей. Их длинный шлейф тянулся от точек света в темноту. Пушистые, легкие тела, сраженные сиянием газа и любовным безумием, устилали мостовую. Они глушили шаги. А озеро и темная ночь безудержно порождали, слали на гибель к огням хлопья крыл и телец. От этого множества отдавало расточительностью мироздания.

— Оно расточительно, — бормотал ученый. — Оно расточительно там, где дело идет о продолжении вида. Оно не скупится, приспособляя живое... приспособляя... — Он все ускорял шаги. — Нет, в самом деле, какой же смысл появления на свет этой фазы, когда вся ее жизнь сосредоточена в личиночной стадии? — спрашивал себя Греков. — Но к чорту! это все тот же проклятый вопрос о происхождении форм и телеология бытия!

— Михаил! — раздался за спиной знакомый голос, тонкий и с хрипотцей. — Ах, насилу нашел, насилу догнал! Ку-

да ты делся, куда ты бежишь? Все беспокоятся, голову потеряли.

Михаил Иванович остановился, — Борис Каразин с разбега обогнал его.

— Вздор! — раздраженно взвизгнул Михаил Иванович. — Что за вздор, кому я нужен! что за беспокойство! Куда я денусь! И почему, наконец, я не могу лететь хоть бы в тартарары?

Но он сбивался со сварливых вехов, стыдился, их: они чем-то напоминали рулады Борисова голоса.

— Ах, может быть, вы и правы! — Михаил Иванович схватил Каразина за рукав его пушистого, широкого пальто.

— Знаешь, что мне хочется, если правду?.. Просить прощенья у вас, у себя. Ну, долго рассказывать!.. Но нет, — он вскинул голову, очки блеснули непримиримо, глаза пропали за стеклянным отблеском, — лучше об'ясни мне толком почему... Вот, об'ясни, как применить теорию естественного подбора к этим эфемерам? Они живут всего несколько часов, совершенно не питаются. Значит не подвержены в этой фазе борьбе за существования, потому, что у них нет времени приспособиться к внешним условиям? Вот и гвоздит меня: на кой же леший эта фаза?

Борис глядел на говорившего, даже рот раскрыл, тискал его трепещущие, холодные, вспотевшие пальцы.

— Ты же весь посинел, балда! Ты весь ходенем ходишь, дурень! — Борис вскидывал голову, как в дурноте. — Я только теперь сообразил, что ты над собой делаешь! Ты же без пальто, кретин! Я только что заметил, отупел от этих баб. Фиакр! — Его тонкий голос понесло эхом, но никто не отозвался. — И какие же это эфемеры! — внезапно возмутился Каразин, наклонился и схватил в горсть несколько трупиков. — Хорош красавец! Это, по-твоему Salingenia longicomda? Фиакр! О, дьявольщина! У кого ты слушал энтомологию? Как и я, — у Федорова, ведь он знающий мужчина. А все потому, что кончил курс в два года, вдвое быстрее, чем следует, вот и пробелы. Фельд'егерьская скорость! Да, как же я доставлю тебя домой, за что мне такое испытание?

У Грекова ляскали зубы.

— Не кричи, сделай милость, — шамкал он. — Не шмотри на меня каналья, несчастная! — зашепелявил он, как некогда в детсве, и блаженно захохотал. Я вижу тебя насквозь. Тебе, верно, небредилось, что я умчался топиться в Женевском озере! Там тонут поденки. Вздор! И топиться, и фиакр. Пусть тонут поденки.

— Какие поденки? — страдальчески завопил Борис. — Это фингоны! Фингоны, возьми в толк! Поденки в августе, а сейчас апрель.

Капнула последняя капля. Ошибка вывела Грекова из состояния задумчивости, в которой он так долго находился, сквозь которую разговаривал и смеялся. Работа над сознанием ошибки возвращала его действительности. Он быстро заговорил, что в самом деле, едва не наделал глупостей, что именно ошибка с фингонами и показывает, как далеко его отбросило от естественного порядка вещей, «главнейшим признаком которого является время».

— А я перепутал такой существенный признак: август и апрель. Восемьдесят пятое мартобря, «Записки сумасшедшего».

Греков говорил поспешно, весь ушел в признание и дал себя одеть в пальто.

— Вот тебе и смирительная рубашка: до полу и рукава можно завязать, — ворчал Борис и облизывал губы.

Бдительность проснулась в Грекове. Приятель очутился без пальто, ради него.

— Ну, теперь побежим, а то ты простудишься, — заявил Михаил Иванович. Спасибо, Боря! Ты прав, самое важное — думать. Думать и быстро двигаться. То есть не по университетским аудиториям, конечно. Ну, побежим! Дядя спросил давеча, кто такой добрый король Дагобер? Le bon roi Dagober? Завтра вспомню. Память возвращается ко мне. Прости меня за все.

«Он, кажется, в самом деле спятил»? — испугался Борис.

Они трусили не легким, не юношеским бегом, — скачками, задыхались, переходили на быстрый шаг. Так они вышли из полосы фонарей в гористые переулки и тогда увидали: небо.

Тучи поднялись, раздались слоями и огромными плитами. Но между каждой плитой не было разрыва, как бы легкий пар соединял их. Только одна, вытянутая в сторону и растянутая вихрем, простерлась над горами, как меч из молочно-белого металла. Темной твегди нигде не было видно, луна пряталась за тучами, просквожала прожилки и освещала узор.

— Смотри, как тебя встречает ночь, свинья, — плачущим голосом и задыхаясь попрекал Борис. — Какая ночь, какие небеса!

«Он изнемогает от усталости и от желания спасти меня от воспаления легких. Прямо Дагобер!» — умилялся Михаил Иванович.

Каразин все ворчал:

— А ведь некий хитрый француз сказал, что тот художник отстал от нашего просвещенного времени, который считает, что погода в Риме в день убийства Цезаря есть явление, постороннее этому событию. К тебе возвращается жизнь, имбецилл! Ну, побежим! А прибежим, поблагодарим мадам Шобер, это она заметила, как ты вышел из дому. Хозяйское око.

3

Михаил Иванович натерся одеколоном до жара в костях, до зуда и ожогов кожи. Каразин матерински помогал ему, нещадно драл спину мохнатым полотенцем. Дядя Яся любовно озирал багровые подпалины, пошедшие по груди, лопаткам и ягодицам племянника, юношески угловатым, малокровным, бледным, в рыжих необильных волосиках.

«Надо бы водки, да он не пьет», — размышлял дядя. И твердил:

— Паче всего, закутайся и спи. Тетка прислала одеяла, плед.

И Каразин тем же пахучим полотенцем отирал пот со лба и восклицал:

— Вот чортов зоолог! А ведь до чего в нем сидит гелертер, чорт бы его побрал! Все по книжкам. Берет такую проблему, как поденка, и путает... Все путает, потому, что плохо изучал энотомологию. А ведь наука требует конкретности. И бдительности, герр профессор!

— Да, да, ты прав, мне хоть сейчас снова садиться на студенческую скамью, — отвечал Греков. — И я готов! Я готов начать все снова. Все снова.

Капля жгучего спирта попала на глаз. Он зажмурился и крепко прижал глаза рукой. Темнорадушная мгла тупой болью застлала их.

— Где платок? Ни черта не вижу! — Он ощупью нашел на спинке стула пиджак и вынул из кармана платок. — Вот, ничего не вижу, а сколько еще остается! Запах, звуки, думать, трогать, осязать. Пусть ослепну! А разве из меня выйдет плохой популяризатор? Был же такой поэт, Козлов, диктовал. Переводил со всех языков.

Дядя почувствовал жжение в носу.

— Ну вот, опять ты о печальном, Мишука! Знаешь что, выпей водки! Чудно согреешься. Один раз можно.

Племянник надел длинную ночную рубаху и сел на постель. Бороденка его висела, мокрыми темными прядками, пряди шевелились от улыбки.

— Глупый ты, дядюшка Яся, если думаешь, что я о печальном...

Михаил Иванович спал ночь глубоко и тревожно, вздроги и сотрясения вырывали его из неоглядного, липкого сна. Он вскакивал, не размыкая глаз, и обильно мочился. Тело извергало все, что накопилось в нем месяцами дурных чувств и мыслей.

И в эти неяркие промежутки Михаил Иванович успевал возвращаться к загадке приспособления взрослых поденок. Но не додумывал и валился в простыни, в кокон, образованный простынями, одеялами, пледами, кокон не успевал остынуть, был горяч и влажен.

Конь и Кэтеванна

Повесть

Шалва Сослани

Дорогие товарищи! Эту повесть я посвящаю вам. В конце многих лет вы вспомните меня и обрадуетесь, что рядом с вами, в Москве, на шумной знакомой улице, против сада, жил в старом столетнем доме автор этих строк и, перелистывая эту тетрадь, тоже думал о вас.

Я живу в подвальном помещении старого университетского дома. Через несколько дней этот дом будет снесен до основания и вместо него должно строиться огромное пятиэтажное здание.

В доме моем сыро и темно. Раньше когда-то здесь помещалась типография и рабочие лихорадочно набирали сухие буквы больших университетских книг.

Иногда в комнате ночью я слышу шуршание стен. С пола, потолка и изо всех углов помещения выступают медленные черные всадники букв и, сойдясь посередине комнаты, бряцают заржавелыми саблями и совещаются. О чем? Мне трудно угадать. Но ясно слышу как шепчутся, чирикают, воют и тявкают тонко опоясанные Шаны, Чаны, Воны и Тяны. С картавой речью выступают двое сухопарых всадников, перетянутых тонкой бичевой. Ханы и Цаны подымают громкий хохот, трясясь всем корпусом на коне, но к ним направляются суровые Гоан и Зуав и они быстро скачут под кровать.

Я слышу тихое хихиканье у изголовья и молча поджимаю ноги.

На карнизы розовых обоев спускаю голубоватые шлейфы дымчатых На Лалы и Мананы, и в стане всадников дымается переполох. Впереди на красн коне выступает Ура и комната оглаша ся приветствием.

От имени всадников слово произ сит мудрый Абу, в синем рабочем хала

Я стараюсь уловить хоть одно сло из этой речи. Я вижу, как кланяются е улыбаясь, Лала и Манана. Вижу, сверкает шлем на голове седого А Даже кони навострили свои приржа лые уши. Но я не разбираю ничего. обыкновенный человек, с обыкновенн слухом птицы и мне невнятна эта реч

На карнизе Нана подымает тонк смуглую руку, и всадники с гикань поднимаются с седел. Снова бряца сабли, красная грива Ура развевае по всей комнате.

Нана медленно уходит. За ней Ла и Манана.

На миг все стихает.

Из-под изголовья вылезают надут Ханы и Цаны и как провинившиеся с новятся позади всадников.

Я напрягаю зрение.

В круг стана врывается Роа и, ска держит громовую речь. В руках у не шлейф Мананы, обвивающий саблю, к лоза. Слова падают вниз как спелые ноградные зерна, но всадники не с ют нагнуться к земле, и кони весе топчут их.

Вдруг рядом с Абу подымается сам высокий и храбрый всадник — Саня,

Роа почтительно роняет крючковатые руки на седло.

Смелый, храбрый Саия едет, гарцуя, на светлом коне. Посреди комнаты он вздыбливает коня, становится на стремена и, приложив латную руку к глазам, медленно и зорко озирается кругом.

Наши глаза встречаются.

Я узнаю его.

Мы улыбаемся друг другу. Я встаю. Протягиваю руку ему, но сквозь раму окон врывается лунная Манана и быстро машет ему руками. Высокий Саия отворачивается от меня и, бледный, скачет за ней. Я подбегаю к окну. Машинально подымаю шторы, и с улицы врывается заря.

Светает.

В форточку вбегают первый трамвайный гул и холод. В трамвае сидят рабочие: может быть и типографщики. Они спешат на работу, а мне еще рано выйти в город, и я спокойно возвращаюсь в постель.

В комнате уже светло.

Картины старых боев, портреты вождей и дедушки в черкеске — все на своем месте. Только в некоторых местах под картинами нежно просачивается сырост и, как корь, выступает на розовом лице обоев. Со стены, над моим изголовьем свесились треснувшие со смеху за ночь обои и точно готовы каждую минуту скатиться ко мне на постель. Около постели у меня кипа журналов и книг. Тут же хурджины, полные неотправленных писем и старых газет. Среди них местная газета, с заметкой о колхозе деревни Хеви, за подписью селькора Кэтеванна. Хеви — моя деревня. Кэтеванна — далекий друг детства. А газета — самый последний номер, вышедший на месте неделю назад.

Я, не вставая, пишу письмо моей далекой селькорке Кэтеванне.

Сейчас, разумеется, следовало бы ее описать. Сказать о том, какие удивительные были глаза у Кэтеванны: совсем не такие, как у всех. Но я никогда не видел ее глаза и потому не могу даже сказать — какого они были цвета.

Я запомнил их, как следы ее ног в лунном свете и продолговатые отражения в реке. Можно ли после этого требовать их описать?! Ей было всего тринадцать лет, когда я увидел ее впервые. Звали ее Кэтеванной, — она дочь пастуха Арсо, а встречался я с ней на мельнице. При встречах она опускала голову на уровень ресниц и, перебежав, как серна, дорогу, быстро скрывалась за скалой. (Эту скалу я всегда помню — жаркую и кишащую ящерицами, а по воскресным вечерам на нее садились парни.)

Ходила она босая. Длинные, густые косы двигались на изгибах плеч, как чашечки ее быстрых колен.

От груди до колен струился легкий ситец в пятнах. Пятна — как лепестки. Лепестки бесшумно трепали у бедер и бросали широкие тени на ступни ее ног. Это меня забавляло и, украдкой от всех, я часто задумывался над ней. Так я запомнил подбородок и шею Кэтеванны, которые были очень смуглы. От ушей до щек коричневел розовый цвет и светился на губах, как заря в росе. Больше я не помню ничего, кроме цвета ее платья в ситцевых пятнах. Глаза я выдумал только сейчас: они были темно-карие, как тени у скал, и глядели, как горы из синей дали. (А может быть, они вовсе и не такие сейчас, и, если это так, то после первой же встречи с ней я разумеется робко опишу ее настоящие глаза.)

Но тогда я день и ночь воспевал ее глаза — тени скал. Я восхищался ее ртом, полным теплой пахучести и детских улыбок. Я проезжал на коне мимо плетеного забора и взывал к ее сердцу: «О, Кэтеванна, будь милостива ко мне! Кэтеванна, ты жизнь моя и единственная моя!..»

Я слыл в селе сложной натурой и каждую ночь сочинял поэмы, посвященные ей. Поэмы были длинные и произносил их прямо на коне. К концу поэмы конь ржал и уносил меня в поле.

Сказка в прозе о дедушке, о земле, о птицах и о сказочном коне.

Мне труднее сейчас говорить о моем коне. Мы с ним так неразлучны были

с самого детства и так далеко находимся сейчас друг от друга. Но я вам вначале же обещал, друзья, сказать о нем нечто небезынтересное для вас и потому не замедлю это исполнить.

Раньше всего, я очень прошу вас отбросить всякие сомнения по поводу того, что будто я продал коня в силу внушений со стороны или что я соблазнился хорошей ценой за него и отдал его под нэпманского лихача.

Все вранье — от начала и до конца.

Я, право, не знаю, для чего разносить по свету такие неправдоподобные слухи, когда никакого зла никогда конь Мера не принес никому на земле.

Дед мой снарядил меня в дорогу с большими и долгими благословениями. Снарядил, как полагается, и моего коня. Густо натискал всякой теплой всячиной в хурджины и отправил в Москву, — по-старинному, обернув кругом три раза.

Не смейтесь, друзья, над ним! Он, разумеется, староверый человек, но в свое время умел так хорошо рассказывать сказки, что я и сейчас завидую ему и горюю о моем неумении рассказать вам хотя бы одну из них. (Зная теперь вас, уверен, что они бы понравились безусловно, да и дедушка мой предстал бы перед вами как лучший импровизатор — поэт старины.)

Этот человек за всю свою жизнь выходил только землю, коня и сказки.

Сказки я вам не расскажу. (Да и не ко времени сейчас.) Но зато, с вашего разрешения, я скажу только два слова о земле его и о лошади. Кстати, на земле этой дед семь лет как уже не живет. Но когда жил, я все время помню его стариком, чуть согнутым в плечах и с ниспадающими на них кудрями коричневатых седин. Темно-серая черкеска, в дырах, плотно облегала узкую талию. За поясом болтался широкий кинжал, продеваемый часто в загнутый подол черкески.

Я не помню — спал ли дедушка когда-нибудь.

Вечером, усталый, я засыпал очень рано. В это время дедушка понукал быков в темноте за избой, а утром около себя я заметил аккуратно сложенные у тахты дедушкины мягкие сапоги (он их носил только в гости или садясь на лошадь) и постель, наспех свернутую к изголовью в колючий домотканный ковер. На гладко утоптанной земле пола потрескивал костер из сухих кукурузных стеблей. Вокруг костра пронзительно пищали круглые, желтоголовые цыплята и, спотыкаясь, падали, смешно клюя пол. Наседка деловито переступала под тахтой дедушки и быстрыми, твердыми кивками в землю клевала черный караван муравьев.

Сквозь щели избы струился густой утренний туман и запах от стойла. Через полуоткрытые двери быстро выгибался синебурый дым от костра. За дверьми копошился и сердился дед.

Когда же он проснулся? Вечером, перед сном, он также возился за стеной, шуршал сухими стеблями кукурузы, сердился на быков, наборматывал какие-то угрозы коню и трепал его по крупу.

Я встаю. Надеваю, быстро, как дедушка, ощерившиеся у костра лапти бычьей кожи. Перекидываю на плечи короткий архалук и забрав из-под ковра дедушкиной постели кинжал и кальян, робко выглядываю в дверь.

Дедушка уже с самого утра начинает сердиться и кричать. Он спешит всегда до восхода солнца забраться с сохой на поле. Мне холодно, но с силой удерживаю дрожь в коленах и хмуро протягиваю дедушке его доспехи. (Без них он, как без сохи в поле.)

Арба, уже запряженная, стоит на дворе. На козлах успела примоститься собака Муро и, высоко подняв морду, смотрит в сторону дедушки, точно ожидая сигнала.

Под прикрытием избы, в плотной утренней мути, широко раскинув белые ляжки, стоит корова, и бабушка спешно доит ее в глиняный кувшин. Бабушка меня очень любит, но корова... Она сурово выпучила на меня свои глазищи.

Если бы она не была крепко привязана к айве, то боднула бы меня своими острыми и изогнутыми рогами.

За сегодняшнюю ночь между корявыми узлами айва и обвивающими ее, как

девичьи косы, виноградными лозами паук ухитрился сплести чудесную узорчатую паутину... Корова дергает привязь, и утренняя роса слезой катится вниз и повисает на тонкой ворсянистой паутине.

Туман еще колеблется во дворе, силясь, как ребенок, подняться на обе ноги.

Арба скрипит. Дедушка замахивается длинной тутовой веткой и нетерпеливым «цио» на быков.

Я сажусь, и мы трогаемся.

На тяжелые купы деревьев изливается песнь жаворонка, и я, схватив коленями теплые бока лягавой собачонки, думаю, тайком от дедушки, вздремнуть еще на дороге.

Мы пока еще едем по отлогим рытвинам речушек. Арба скрипит. Наскакивает на камни и снова гулко шлепается в мяткую лужу.

Отсюда начинаются земли князей Мурмана и Хосро: они тянутся больше, чем на две версты. Лучшая земля у Губы-реки. Комья во время работы сами крошатся под ногой. Пни, которых еще очень много на поле дедушки, здесь, у мурманцев, с корнем выворочены, выкопаны, выдраны. Я сам наблюдал корчевание еще прошлой зимой, когда с дедушкой вместе направлялся за дровами в лес по той же дороге.

Близко, за горой, горячим серпом блеснул луч солнца, и собака с лаем выскочила из моих колен.

На козлах арбы дедушка из кремня высекал огонь. Это означало, что до захода солнца он уже не будет больше сердиться.

В воздухе стало, как будто, совсем тепло. Во рву сгорбился туман, скинув белую зябкую бурку и пригнувшись к кусту можжевельника, спотыкаясь о дрожащие листья травы, уполз в лес, под горой. Луч солнца ухватился за рога быков. С козел, извиваясь, поднялся тонкий кальянный дымок, и дедушка, больно хлыстнув пространство веткой, прикрикнул на быков: «Эчи, оу! Миди Бечо!»

Бечо встряхнул головой. Рога болнули солнечный луч, и по дороге красной лентой легло, затрепыхало, расползлось вокруг, обвило камни, запрыгало на кочках, намоталось на колеса арбы горячее мартовское солнце.

Мы уже в поле. Далеко за межой стоит лошадь и, подняв высоко голову, медленно поводит ушами.

Бедная Ламча! Она наверное продрогла в поле, за ночь, одна... Бедная Ламча!

Никто еще, кроме нас, не вышел на работу. Дедушка мундштуком кальяна нащупал место за тонким пояском рабочей черкески, около кинжала. Воткнул туда горячий, не дымящий уже кальян и оглядев через ладонь засеянное утренней росой, как солнечными зернами, поле, плюнул и остановил быков.

Вот и земля — дедушкино поле.

Оно точно ждало нас и, увидев нас, заулыбалось, как дитя в колыбели.

Я поглядел в сторону лощин. Там лес и птицы. Солнце еще не забралось туда, но свет с полей уже оттесняет засевшую за горой сырую предутреннюю мглу куда-то в теснины, в русло Губы-реки, далеко за скаты и крытые изволоки.

Дед отпряг быков, откатил арбу к высокому межнику и снял соху. Я молча помогаю ему запречь Бечо и Реро и поставить соху на борозду. Потом подбираю, по-дедушкиному, подол своего архалука и становлюсь впереди сохи вожаком. Я горжусь доверием дедушки (и быков) ко мне. Потом солнце начинает нестерпимо жечь, упираясь лучами в плечи, обтянутые засыревшей от пота рубахой архалука. Я все чаще поглядываю в сторону Губы-реки, леса и нашей Ламча, и быки хорошо понимают, что меня там тоже ждут.

С поля Сео медленно спускается в воду буйволы и сладострастно нащупывают ее глубину. К этому берегу у обрыва река всегда так глубока. Сео все время жалуется на Губу-реку и со слезой в голосе ругает ее: каждый месяц она подмывает не меньше чем на пол-аршина пахотной земли у Сео. Подмоет, обрушит и унесет землю с одного поля и занесет ее на чужое поле. От Сео к Иларе — в этом году. Потом от Иларе к Егору — в другом сезоне. Затем снова

от Егора к Сео, а под конец очутится у полей Хосра. Здесь она нацеливается на плотины, но они крепки у Хосра. Губа, склонившись низко, проворно расшаркается перед ним и понесется дальше, оставив у плотины целую охапку земли.

А Сео все стоит и ругает все христианство, людей, Губу. Никакой управы над ней и никакого суда ни от кого! Сегодня обогатит землей одного, а глядишь — завтра покатывается со смеху над его безземельем. Никак не угонишься за ней, как за блудной безрассудной женой...

Сейчас, подобрав полы русла, лежит она, как беременная, у изгибов и безразличным движением обмахивается падающим с другого берега отражением ельника, дубов и каштана. О, хитрое создание — ты, блудная Губа-река! Когда же тебя обуздают люди? Когда?

Грузные буйволы залезли в реку по рога и, широко раздув над водой сверкающие черным атласом ноздри, засопели и всколыхнули вокруг зеленый веер отражений.

Дед строго, сосредоточено оглядывает поле, небо, Ламчу, пасущуюся далеко от нас, быков и меня, крепко берется за поручни сохи и прикрикивает: «А ун, Бечо! Эчи, Реро!»

Бечо и Реро низко наклоняют головы, почти касаясь ими земли. Плотными буграми напрягаются мускулы их шей, и быки резко подаются вперед.

Соха покачивается и врезается лемехом в траву, точно разворачивая свивальники и пеленки, окутывающие землю. Потрескивающий от разрываемых травяных корней черный, унавоженный вал неторопливо бежит из-под лемеха, закручиваясь наизнанку, а земля точно лепечет, как ребенок, раскидывая ручонки и ножонки по сторонам, и улыбается сквозь росу густых ресниц травы.

— Выше... Ближе... Ниже! Выше, видишь! Эчи, Реро!—покрикивает дедушка на быков прихрамывая и подскакивая по свежей, разворачиваемой борозде.

Мы повернули.

Небо сразу становится гуще и синее. Впереди, прямо над горой, медленно поднимаются пронизанные белым светом облака и становятся над лощиной. За скатом проносится синева и быстро ложится в рыхлую борозду.

Вдруг нам попался какой-то сильный затверделый в земле корень, и быки встали на многовенье. Дед сразу напружился, налег на ручки сохи, привычным усилием удержал ее от колебаний и крикнул: «Ниже, Бечо! Ближе, Реро» — Животные изогнулись, подались вперед и снова встали, глубоко упершись передними коленями в борозду.

У бедного Бечо выкатились и налились мутью глаза. Половинки его сильного хребта как бы раздались, и он, не подымаясь с колен, недовольный, качнул мордой в сторону Реро (тот явно отставал от товарища и только показывал вид, что тоже тянет: я знал эту привычную хитрость Реро). Снова раздался подбодряющий, строгий окрик дедушки «Цио», и быки, рванувшись наконец, вместе, с треском прорвали глубокий корень и быстро зашагали дальше. Позади остался жирный, черный вал земли с длинными вялыми червями. Запахло весной и могилой. С межей слетели грачи и белыми клювами стали разбивать архив земли.

В этот день дедушка почему-то раньше кончил работу.

Вечером дома Бечо не дотрагивался до своего корма. Это был плохой признак. В избе собрались все наши соседи и во главе с дедушкой осмотрели быка. Он смотрел на всех такими же помутневшими глазами, как тогда — на Реро, у глубокого корня...

Мужицкую надежду отложили до утра и все подсели к очагу слушать деда. Каждый раз, как только вокруг дедушки собирался народ, хотя бы два человека, в нем открывался какой-то клапан и он начинал рассказывать всем какие-то небылицы.

Я не знаю — были ли они небылицами, но одно всегда помню, что соседи слушали его до утра и до утра глаза у них были как в заре — большие и восхищенные.

В эту ночь дедушка рассказывал о какой-то необыкновенной арбе, которая без быков перепахивала все поле, не останавливалась ни перед какими глубокими корнями в земле, ни перед межой

господских земель. К тому же все вспаханное она отдавала крестьянам и больше никому: ни господам, ни попам.

Сказка, право, была одна из самых удивительных, слышанных мною от дедушки в детстве, но разве я сумею теперь передать ее моим языком.

Давайте, оставим эти сказки, займемся печальным делом.

Наутро с зарей Бечо сдох: у него оказалась лопнувшей шейная артерия. Я Бечо любил больше, чем Реро, потому что он был честен в работе. Я весь день ходил по своему двору и плакал.

Ведь смерть не так уж редка в деревне, как это думают многие. У меня в деревне пропало в детстве очень много друзей: две трясогузки, три синицы и одна горихвостка.

Хищников, кроме Хосро и Мурмана, тоже не оберешься: их много на небе и на земле.

При уборке урожая в поле приходит хмурый моурави Хосро—Засим-злой — и, уставившись клыком глаз на урожай, самую большую часть початков отмеряет для своего господина.

У моурави нос, как клюв, а пальцы длинные и сухие, как бычьи жилы. Во время раздела соседи надрываются от крика, а дедушка надрывается больше всех, потому что у нас меньше всего и земель и кукурузы. Но зато у дедушки лошадь, и моурави Засим очень часто держит глаза в ее сторону. Чувствуя опасность, я подкрадываюсь тихо к Ламче, вскакиваю на нее и мчусь в лес.

В лесу у меня друзья. Их не знает никто, кроме меня. У меня и у моих друзей враги: меня в поле высматривает Зосим-злой, а над лесом — над гнездами друзей, кружится ястреб-беда. Меня спасает Ламча. Моих друзей—крылья.

Вот и сейчас.

Я сижу и всматриваюсь в даль. Ламча осторожно пасется подо мной. Фыркает и иногда вздрагивает всем телом.

Аууу!—проносится над головой ястреб и за межой вмиг затихает лес, Ламча подымает голову и, навострив уши, вздыбливает чолку. Я приподымаюсь на лошади и притенив глаза ладонью, смотрю на небо.

Хищник наверно наметил жертву, летит, подобрав крылья и клюв.

Аууу-хоо! хищник! Залетай дальше, хотя бы во двор Хосро! О, хищный летун!

Он направляется в лес...

Хау-хоо! Хау-хау!

Прощай, друзья! Кого же из вас уносит ястреб-беда? Я вцепляюсь в ощерившуюся гриву Ламчи и мчусь через поле в лес. Мы спотыкаемся о скошенные стебли кукурузы. Они стоят, как копья. Проклятый кукурузник!

Один мой лапоть остался где-то в налу, на меже. С головы слетела широкая соломка... Ах-мэ! Скорей, Ламча—предупредить друзей!...

Мы подымаемся по скату к горе. Дальше обрыв и берег Губы-реки. За рекой, по отвесному склону горы, подымается ельник. Затем идут хвойники, можжевельные кусты, крапива и папоротник. Ламча присела на задние ноги, готовясь перескочить на другой берег к ельнику.

Стой, Ламча! Поздно... (Сердце готово выскочить из груди.)

Сейчас только, на моих глазах, расправила крылья тень и упала меж редких ельников в тишину. Лес сгорбился и присмирел в ожидании. Река замерла без движения: лежит у ног вся тихая и обмелевшая и тоже ждет, когда быстрый хищник, вырвавшись из лесу, жадной тенью опустится в воду.

Я слышу отчаянный писк. Над рекой медленно проносится тень и точно коготком проводит по ее лицу. Но река бескровна и молчит. Я окликаю лес. Тишина.

Кто в силах нарушить эту тишину сейчас? Мой крик бессилен: он падает туда же, у обрыва, в воду, не вызвав на ней даже простого эха кругов.

Я слезаю с лошади: сажусь в отчаяньи на обрыв и зарываюсь головой в колени.

В тишине раздается далекий, быстрый взмах крыльев. Потом протяжный, хриплый писк. Я еще ниже сгибаю голову и коленами зажимаю уши.

Я ничего не слышу.

Успел! Уносит. Уже унес!

Но кого? (Там за рекой, в лесу, у меня так много-много певчих друзей).

Я осторожно раздвигаю колени и гляжу исподлобья вокруг. Может быть, в воде еще маячит когтистая тень или, печально кружась, спускаются с неба отяжеленные кровью белые перья и пух?

— Чхик-чхик! — расцарапал дятел тишину.

Значит все кончено: унес!

— Чириау, чизи-цюри!—ответил чей-то, еще более осторожный голос, и вдруг из лесу, по склону горы, послышались со всех сторон знакомые голоса.

— Все живы ли? Здоровы? Кого уж нет, друзья, сегодня среди вас?..

Я наспех раздеваюсь: нужно переплыть Губу-реку. Она совсем теплая и обмелела сейчас.

Ламча приникла передними ногами к обрыву и, высоко выгнув чолку, смотрит мне вслед.

— Ты меня прости, Ламча, но на том берегу меня ждут. Вот слышишь? Ну, прощай! Я скоро вернусь...

— Пий! Пий! Кли-ли-ли-лю!.. Пчюйт, пчюйт! Фьют, фьют, тик-тик-фьют!—посыпались на меня со всех сторон запросы, восклицания, приветствия, жалобы, ликования и сомнения моих друзей, как только я мокрым голышом начал карабкаться к ним по деревьям.

С соседней ветки перепорхнула и села прямо над моей головой знакомая пташка и, мелко задрожав коричневым хвостиком, торопливо провозгласила:

— Фьют-ри-рири... Фьют-тчик-тчик!

Так и есть. У этих горихвосток всего вторая неделя, как вылупились малыши. Я видел их в самые первые дни рожденья в светлом гнезде: голых с красновато-прозрачной кожицей, длинными шейками и голыми крылышками. Птенцы были тогда еще слепы, но широко разевали мягкие клювики и пищали... Через неделю я снова заглянул к ним в гости — в гнездо на густых, колючих ветках дикой яблони. Малыши так быстро подросли. Глазки у них открылись. Но видно было, как они нелепо доверчивы и наивны. Стоило к ним наклониться немного поближе, как они, точно по сигналу, вздергивали головки и широко раскрыв клювца, пищали и тянулись к моему носу. Мне было смешно и весело от этого, а самочка во все время моего пребывания у гнезда вертелась на соседних ветках и тревожно возглашала всему лесу: «Чьрну, чьриу!»—точно я был им врагом. (Впоследствии она привыкла ко мне мы очень сдружились).

Сейчас она сидела над головой и возмущенно жаловалась мне:

— Фью, рирририри-рку, цикру... тчи!..

Глупые, доверчивые пташки! Видимо, после меня вы очень подросли. От радости забрались на ветки повыше и стали жертвой кровожадного ястреба. Так и есть! Их утащил в небо «Круцикру»...

— Ничего не поделаешь, милая горихвостка! Таков закон! Не доверяй судьбу своих пташек злому «Кру-цикру»...

Ничего не поделаешь, милая горихвостка! Таков закон! Не доверяй судьбу своих пташек злому «Кру-кру»...

Трясогузка быстро засеменила ножками и, качая хвостом, побежала по бревну. Она повертелась немного и вдруг порхнула в щель.

— Клюй, клюй! Клюиль-вью!..—услыхал я оттуда обрадованный крик ее птенцов.

Из густого куста боярышника стремительно поднялся ко мне друг — Жулан-сорокопут, с коричневой спинкой, белой головкой и ярко-черной полоской меж глаз по крупному клюву. Я его часто вижу здесь со стрекозами в клюве. Ежеминутно подергивает хвостом — сверху вниз, в стороны и опять сверху вниз, и тихо окликает кого-то: Кэв-кев! Кэв-кев!

Я, голый, облазил все кусты и деревья. Заглянул ко всем почти знакомцам в гнезда.

Опять не все и не везде благополучно! На каштане я еще с весны приметил двух неразлучных друзей. Они всегда сидели вместе и трескотней оглушали лес. Сейчас осталась только самка она озабоченно вертит гибкой желто-красной шейкой по сторонам. Завидев меня, она перепорхнула на нужнюю ветку, затем снова поднялась наверх и, грациозно изогнув шейку, одним глазом за-

глянула ко мне сверху вниз, через колючую листву каштана.

— Фюйт! Хийо, рии, рюи, тюрлиит!— проговорила она нараспев свою жалобу и сердито склюнула с лапок какую-то соринку.

— Да, да! Верно, друг! Я сегодня запоздал...

— Хию, килю, килюлю-ки-кю-лю, эхию...

— Где мне знать! Я его не видел сегодня нигде.

— Хию, хию! — захныкала она гнусаво и опустившись куда-то в глубь широких листьев, замерла на полуслове.

Я опустил голову: мне нечем оправдаться перед вами, друзья!

Вдруг с ветки орешника шмыгнул маленький рыжеголовый самчик, и, осмотрев меня на лету, вскрикчал:

— Шре-чик-чик! Шри-чэк!..

— Она здесь! Здорова! Не бойся Чик-чек! — обрадовал я запуганного самца, который сейчас только прилетел откуда-то издалека.

— Кри-ри-рю-кири-кири! — разлился насмешливый голос его светло-бурой подружки с маленького каштанника, рядом. Самчик опрометью залетел к ней на ветку. Она торопливо оправила крылья и стала рассказывать обо всем происшедшем.

Со всех сторон поднялся неумолчный говор. Пошли перебранки, сплетни и ехидные насмешки.

— Виу-чи! Виу-чи! Фи-чи-фю-молюлю, диди-виви-чью! — слышутся единственный сиротливый голос среди всех.

Это самка зяблика, — я ее узнаю. Любит забираться на сухую ветку орешника и, томно щуря глаза, бесконечно повторять про свое одиночество (она давно лишилась своего друга).

— Ну да, понятно! Его же вина! Почему не был осторожен и полез туда, куда не следует ему порхать!—пробормотал я вслед ей наставительно.

— Тёк-тёк! Тёк-тёк!—поддакнул мне справа чей-то голос, и я совсем развеселился.

— Разумеется! Знай себя!—добавил я.

Мягкосердечной зяблице еще хотелось что-то возразить мне, она начала быстро фивючить, но снова умолкла и совесем закрыла глаза.

Кру-ци-кру! Кру-ци-кру! Ци-кру... — раздалось со всех сторон. Кто-то откуда-то донес звучное — Цюй-цюй, и по лесу пошел песенный хоровод.

Я, весь расцарапанный, медленно подымаюсь выше. На вершине горы — старый разрушенный замок Мурмана. Здесь я обычно сажусь на самый большой, любимый, гладкий камень и выдергиваю из ступней острые иглы хвои и колючки. Но вдруг за собой слышу тревожный голос.

Я ухватился рукой за ветку и стал прислушиваться, стоя на одной ноге.

— Что случилось? Где-нибудь лиса?

— Пич-пич-тарра! — резко оборвала меня предупредительным голосом синица и на миг все стихло у подножья.

Я обернулся. К замку карабкался Бондо.

Это мой заклятый враг: сын Хосро. Я с ним познакомился прошлым летом, внизу, на дикой яблоне. Он ставил ловушку горихвостке из волос своего рыжего скакуна. По этим рыжим следам конских волос я хорошо узнаю Бондо!

Мы с ним тогда рассорились. Я был прав. Меня дедушка учил, что когда птицы выводят птенцов,—не следует им тогда делать никакого зла. А Бондо этого не понимал и понимать не изволил, за что мы сначала закидали друг друга твердыми, зелеными яблоками, а потом я ему порвал у шеи новую светлую бархотку.

Он угрожающе замычал на всю гору и затем, через поле, полез жаловаться отцу.

Вечером меня сильно отшлепал дедушка и наказал не ходить по чужому лесу. (Этот лес тоже принадлежал Хосро— отцу Бондо.)

Сейчас Бондо всходил по склону к разрушенному замку Мурмана. Он подымался с противоположной стороны, там где большой гладкий камень, и меня не видал. Малиновая бархотка была расстегнута нараспашку (дома ему этого не позволяют). Он с трудом волочил ноги по склону горы, ежеминутно падая и передвигаясь к замку на четвереньках.

С белой, тонкой шейки свешивалось до земли золотая цепочка от креста. Он шел и напряженно всматривался исподлобья. Это он наверно лез к моему излюбленному камню,—там, где самое высокое и удобное место на горе.

На прошлой неделе я стоял на нем и оттуда как на ладони видел большой Хосров дом с широкой террасой, кухней, конюшней, голубятней и высокими рядами чинар вокруг двора.

Бондо сидел во дворе, под большим ореховым деревом, в белом архалуке и, согнувшись над маленьким столиком, что-то выводил рукой, должно быть, на бумаге. Около столика взад и вперед ходила чья-то длинная фигура и размеренно махала одной рукой.

С этой башни всегда так хорошо видно все внизу и очень далеко! (Только нашей избы не видать: ее скрывает старая айва, хотя старое ореховое дерево, что во дворе Хосро, в тридцать раз больше нашей айвы.)

Во дворе у Бондо столько всего, столько всего! Отсюда трудно разобрать, какие фрукты в саду, но, должно быть, все они очень сладки, потому что крепко ограждены высоким частоколом и крапивой. Мне никогда не удавалось перемахнуть через этот забор, когда я проходил мимо сада. К тому же во дворе у них огромные собаки. Дедушка мне говорил, что две старые и две молодые—чистейшей турецкой породы. Хотя и другие тоже не менее злы. Вот, например, та самая, что с острой такой мордой и широкими-широкими ушами, на тонких, высоких ножках. Этих тонконожек у них очень много: целых семь штук, да еще семь, которых Хосро не выводит на охоту, потому что, как дедушка говорил, они принадлежат лично Мурману, а он-то не часто бывает в деревне, у нас. (Он ходит все по заграницам и большим городам.)

В прошлом году, когда приехал Мурман, по селу все шмыгали на конях какие-то разодетые гости, мужчины и женщины. Говорили громко по-русски и все время смеялись.

Бондо тоже сопровождал гостей на своем упитанном скакуне. Проезжая около нашего дома, он нарочно громко заговорил, с каким-то разряженным гостем, к тому же стараясь не глядеть в сторону наших плетеных ворот, на которых стоял я, обозревая проезжающих. Он говорил и вместе с тем небрежно выплевывал в мою сторону косточки чернослива.

На обратной дороге я все же ему здорово отплатил: я спугнул его трусливого, рыжого скакуна, из потайной засады в кустах, и наш бравый всадник понесся по селу.

Жалкий трусишка! Он ведь не умеет ездить на коне, а хочет тягаться со взрослыми и задается, что есть силы.

По дороге он растерял и свою каракулевую папашку и хлыст. Его поймали дворовые мужики в конце села: он был весь в поту и слезах.

Он, оказывается, соскользнул с седла и, вцепившись обеими руками в загривок лошади, скакал так, оглушая криком встречных.

Вечером, в тот же день, я полез на башню и, став на камень, допоздна наблюдал за кутежом в их дворе. Под орехом был накрыт огромный, длинный, белый стол, за которым сидело много гостей, а вокруг стола бегало еще больше прислужников. Сидящие за столом пели, кричали и смеялись. Мурман и еще кое-кто из важных гостей произносили длинные тосты, часто протягивали руки в сторону башни, а некоторые кричали по-русски «ура» и стреляли из коротких ружей в воздух.

Бондо уже не было среди них, и я рад был, что не вижу его и не слышу его писклявого голоса. (За столом пели красиво и длинно, а Бондо всегда умеет встревать в песни других.)

Почему он лезет сейчас на эту башню?!

Я поспешил — скорей добраться до места, а потом мы посмотрим — кто кого!

Когда я очутился около своего камня, то заметил, что мое место уже занято.

Я перепрыгнул по другую сторону через небольшую крутизну, обошел соседние камни, давно свороченные с ветхих башенных стен, ухватился руками и но-

гами за выступы скал и взглянул наверх.

На моем гладком камне сидела какая-то девчонка в голубоватом ситцевом платье и, обхватив руками подогнутые колена, улыбаясь смотрела вниз.

Как она залезла сюда и кто она такая?—подумал я с досадой и с шумом соскочил на развалины. Она оглянулась, перевесилась через камень и вдруг, завидев меня, громко вскрикнула: из ее горла выскочила синяя птичка и стрелой взметнулась вверх. Потом скользнула в сторону, ударилась в противоположную гору, далеко за домом Хосро, и, позвенев несколько раз, — снова прилетела к ней на камень. Вспорхнула в широко раскрытых, удивленных глазах и застыла там, как в гнезде.

Противная девчонка! Она смотрела на меня, точно на привидение, и, растопырив длинные пальцы рук, звала на помощь Бондо.

Да, на сей раз я побежден! Мне нужно удирать. Я же, на самом деле, ведь, совсем голый,—неудобно! Да еще девчонка, наверное, из гостей...

Вот уж и Бондо влез наконец и, едва переводя дух, качается на ногах и ищет голого мальчишку вокруг. Ну да, как раз! Меня уже нет! Я бегу и слышу за собой, как заливается смехом она. Голос ее и смех потоком несутся с горы вниз по всему полю. (Теперь я узнаю этот голос: он часто раздается в селе, и он так звонок и приятен, что парни на миг оставляют работу, а птицы с полей устремляются к этой горе.)

Когда я вышел на другой берег Губы-реки, было уж темно. По дороге в лесу я провозился: искал упругие ветки дуба. Лук, сделанный из такой ветки, легко натянуть, и в то же время он дает стреле большую скорость.

Ветка для стрелы должна быть пряма, легка и не скоро гнуться. Кроме того, надо выбрать крепкую, иначе она легко может расщепиться при ударе о твердый костяк. Дома у меня таких недолговечных сколько хочешь: из сосны, тополя, березы и даже из липы. Теперь все они мало пригодны для моих целей. Пожалуй, и оперение стрел нужно будет менять. Мне не нравятся перья орла, хоть они и очень крепки и издают при полете резкий свист, как из дудки зурначей. Лучше я достану перья того ястреба. Это будет значительнее: Бондо лопнет от зависти. У него стрелы с нежными, красноватыми перьями из крыльев павлина, а у меня будут ярко-красные с примесью темно-синих или черных, совсем черных перьев, которые переливаются и блестят даже в темноте.

Нужно поскорее отыскать деревцо.

Я забираю с собой тонкий, упругий ствол грецкого ореха и клен. У клена волокна тонкие и крепко врастают друг в друга. Попробуем, посмотрим! Лучше всего было бы поискать необходимое деревцо по северному склону горы. Во-первых, там гуще лес и едва ли кто может повстречаться со мной, а если кто-нибудь и увидит голого там, не станет кричать, как эта пучеглазая девчонка, а во-вторых,—на северном склоне больше тени и деревья растут прямые. Древесина у них твердая и с более прямыми волокнами. А это очень важно.

Пока я пробирался по северному склону, пока подобрал себе подходящие ветки и пошел вниз,—по горе, в густой чаще леса, уже выросла ночная темнота. По лесным тропиночкам погнались друг за другом маленькие и большие тени. Завернутая в бурку тишина покатилась у ног и свернула в кусты, точно в засаду.

По сухим приподнятым плечам кустарника костляво свесилась луна и шершавой рукой провела по моим волосам. Я кашлянул и запел. Дорогу два раза перебежал заяц. Между еловых пней выросла острая морда лисички. Она искоса посмотрела на меня, и потом, свернув пушистый хвост набок, спокойно проводила меня глазами. Хороша шкура! Хитрая,—знает, что мне сейчас не до нее: вокруг меня враги с высунутыми языками и длиннущими белыми клыками...

— Друзья, вы спите?

Где-то чирикнула птичка.

— Спите! Ничего,—я не боюсь! Завтра топором обрублю эти страшные, сухие клыки.

Вот наконец и Губа-река. Тишина остановилась у обрыва и, точно испугав-

шись чего-то, шарахнулась в кусты. Сжав ветки под локтем, я одной рукой переплыл реку.

Ламчи уже не было нигде у обрыва. Я прислушался к темноте поля, но ржанья не услыхал ниоткуда. Должно быть, дедушка искал, искал меня и, не дождавшись, поехал домой один.

Нужно спешить.

На берегу я застал свое платье развороченным, а когда, торопясь, стал одеваться, то заметил, что в левый рукав архалука рука не продевается никак.

Я догадываюсь в чем дело. Так и есть! Здесь, должно быть, купались товарищи — Дато, Мена и Швилда и, намочив рукав моего архалука в воде, туго-натуго перевязали его, по нашему обычаю, у локтя и заставили меня голого возиться с ним на берегу. Холодно. Никак не развязать этот дырявый локоть... Постойте, я вам покажу! Это, наверное, мне Швилда... Я тебе такое перевяжу!. Чорт, как холодно и тихо! Нужно спешить, а то...

И я, продев одну только правую руку в архалук, забираю подмышку ветки и, прихрамывая от боли в ступнях, мчусь через поле домой.

Но с реки кто-то уже погнался за мной?.. Не оглянусь и все! Бегу.

Сегодня столько работы было на поле, а я попусту проваландался в лесу. Если только дедушка заметил мое отсутствие, тогда я уже вовсе пропал: отхлестает меня больно этими же самыми ветками по заду. Придется тайком, бесшумно пробраться во двор и, забравшись в стойло, выжидать погоду.

Вот и село! Знакомые дома. Наша изба. Две чинары и айва. Муро двумя передними лапками вскочила на плетеный забор и отрывисто лает в ответ трем соседским собакам.

Я перебежал двор и направился было к хлеву, но вдруг услыхал гневный голос дедушки и, быстро побросав мои ветки прямо на соломенную крышу избы, нагнулся и стал шарить руками по траве.

Шаги не приближались, а голос дедушки все еще продолжал сильно гудеть и грозить. Я на корточках подполз к хлеву. Я понял. Дедушка ругал худого русского чиновника, с желтыми петлицами, который еще третьего дня утром забрал у нас коня. (Ему потребовалось с'ездить в город Кутаис, к уездному начальнику по каким-то важным делам.) Хотя я этого русского очень не люблю и в то утро готов был послать ему в затылок камень, но на сей раз я ему очень благодарен: дедушка в таком гневе не обратит внимания на меня.

Я весело выпрямился и, преодолевая сладкий зуд в коленах от усталости, деловито направился в хлев.

Утром я проснулся с сильным сердцебиением.

Мне снилось, что та самая противная девчонка, которая кричала на гладком камне башни Мурмана, будто бы забралась на крышу нашей избы и искала там мои ветки.

Дул сильный ветер. Она шла, с трудом карабкаясь по склизкой соломе. Ухватившись руками за прокопченные сучья дымохода, она вдруг повернулась и стала лицом против ветра. Ветер закачал ее и плотно обвил ее тонкое тело длинным ситцевым платьем. Цветистая юбка, развеваясь, ширится, ширится и закрывает собой позади все небо. Видно, как у девочки дрожит бедро и подкашиваются колена. Она может упасть.

Я кричу. Голос не доходит до нее. Я снова кричу и чувствую, что мой голос не доходит даже до меня. Я стараюсь как можно шире открыть рот. Она замечает меня и грозит пальцем. Мне почудилось, будто она хочет рассказать все дедушке, и я с отчаянием оглядываюсь на хлев. В это время она наклоняется, и я отчетливо вижу, как она протягивает руки к веткам. Ветер относит ветки в сторону, и они скользят по соломе вниз. Я, обрадованный, срываюсь с места.

Она скользит вслед за ветками. На краю крыши ловко подбирает одной рукой длинную юбку, и вдруг ее точно подхватывает ветром. Под айвой, в тени взвивается широкая грива Ламчи. Девочка, задев гриву ножкой, мягко приникает к лошади. Теперь я грожу ей и, стараясь схватить ее за юбку, кричу дедушке. Она улыбается, потрясает над

головой ветками и, хохоча, бьет белыми коленами лошадь. Ламча встает на дыбы, и с подола ситцевого платья бесшумно падают наземь белые, красные, атласные прямые стрелы. Я бросаюсь к ним, но ветер вырывает из рук и относит их все дальше и дальше.

Никак не могу достать! Я завяз в своих же коленах, а кругом слышится горячий топот удаляющейся похитительницы.

Ветер гонит ей под ноги стрелы и затем сметает их в одну кучу к забору. Девочка силится перемахнуть через низкий забор, но лошадь пятится назад и, вздыбливаясь, делает круг на месте. Плетеный забор валится на дорогу, и вдруг, я вижу, ясно вижу! — вместо ворот — загнутые серпом рога. Да, рога! — и огромные белки глаз, вращающиеся, как колеса арбы при луне.

Рога подымаются все выше и выше...

Но это же похоже на рог Бечо! Настоящего, живого Бечо. Но почему же у него только рога и одни белки глаз?!

— Бечо, Бечо!—зову я из последних сил, стараясь дать ему понять, чтобы он задержал беглянку у ворот. Ламча оглядывается на мой голос, но всадница с гиканьем торопит ее через рога — будто бы в сторону Бондо. Затем быстро свешивается с коня и, подхватив одной рукой кучу стрел под забором, заносит их высоко над головой...

— Конь! Мои стрелы! Пусти!—вскрикиваю я в отчаянии и просыпаюсь.

В глазах блеснул костер. Я продолжаю кричать.

— Что? Что с тобой? — слышу я чей-то незнакомый окрик, и, едва сдерживая дыхание в груди, я снова кричу:

- Коня! Коня мне, скорей!

— Что за конь? Что тебе приснилось, Ача? — снова повторяет голос и вдруг делается знакомым.

У костра сидел дедушка и, глядя на меня, настороженно дымил кальяном.

Я сразу смолк. Дед медленно отвернулся от костра и, не вынимая кальян изо рта, сплюнул в огонь.

Я поджал ноги в постели и с головой укрылся одеялом. Сердце билось, точно сейчас сбежал с горы.

— Пора вставать! — услыхал я снова голос дедушки. — Сегодня в поле не пойдем. Будет дождь...

Я приподнял край одеяла и осторожно выглянул наружу. Из щелей, из окна, из дымохода — отовсюду брызгало солнце.

— Как же... Ведь солнце?! — приподнялся я с постели, недоверчиво глядя на него.

— Будет дождь, — повторил дедушка. — Видишь, как дым с костра бьет к земле? А вчера вечером небо было совсем светло-желтое: к дождю. Вставай, Ача! Надо покормить лошадь.

Я встал, накинул архалук и босиком вышел на порог.

Солнце слепило глаза. Я вышел на середину двора и с трепетом взглянул на крышу. Все мои ветки были на месте.

Я жеребенком добежал до колодца. Там бабушка месила тесто для чурека. На воротах поблескивала свернутая набок подкова лошади, которую еще до моего рождения прибил дедушка к кривым столбам.

Я наспех умылся и вернулся к дедушке за кормом.

Он все еще сидел на старом месте. Подбрасывал в костор хворосту и сухих стеблей, плевался в огонь и о чем-то думал. Я люблю дедушку таким: он сегодня расскажет какую-нибудь новую сказку. Будут соседи — Сео, Мена, Иллара, Селиван, Иване и другие. Ко мне придет Швилда. Я ему кстати покажу... Но нет, не покажу! Это, неверное, он мне перевязал так туго рукава архалука у Губы-реки...

Я надел лапти, забрал кадку и пошел в хлев.

Хлев у нас занимает отгороженную половину, где ночуют лошадь Ламча, бык Реро и корова Муа.

Когда я вошел, все они были сосредоточенно заняты едой зеленых, сочных стеблей кукурузы и громко шуршали листьями в стойле. В углу хлева — у нас стойло для лошади. Эта часть в хлеву всегда выглядит у нас гораздо чище и опрятней. Дедушка почти каждое утро меняет здесь подстилку, стеля по гладким бревнам невысоких яслей чистую

солому. (Я сам с удовольствием возлагаю на себя обязанности ухаживать за Ламча по строгим указаниям дедушки.)

Ух, какая она красивая сегодня утром!

Маленькая голова приподнята высоко. Глаза большие и открытые, с отблеском темно-каштанового цвета.

Я заглянул в них поближе — нет ли каких-либо пятен или помутнений после вчерашнего. Ламча нагнула голову и повела глазами и ушами в сторону кадки. В кадке сегодня для нее вкусный корм: трава, овес и сечка из соломы.

Дедушка корм обычно готовит еще с ночи: приготавливает пшеничные отруби, добавляет в болтушку немного соли и затем ложку распаренного льняного семени. Все это он делает обычно с таким видом, что у меня самого часто подымается желание хлебнуть из кадки — тем более, что, в конце концов дед сам опускает палец в болтушку и пробует пищу на язык, даже не отплевываясь.

В неделю раз Ламча получает в корм кадку кукурузных зерен. Это бывает по воскресеньям, когда мы тоже едим получше и повкуснее. Кукурузный хруст раздается по всему двору. Во двор слетаются голуби и подсаживаются ближе к кадке. (Кадка обычно стоит у колодца, а за колодцем прячусь я, чтобы не спугнуть розовоногих и синекрылых гостей.)

Ламча вскидывает голову. Под челкой у нее обнажается белый полумесяц, единственная метка, а кругом рассыпаются янтарные зерна. Вместе с челкой взметаются вверх голуби. Они с шумом взлетают друг за другом и снова друг за другом садятся тут же воркуя, точно пересмеиваясь с Ламчой. (Ламча кончиками губ прихватывает голубей за крылья.)

Мне жаль, что так мало кукурузы у нас, и одно только воскресенье в неделю.

Я бы рассыпал пригоршнями по двору кукурузу, и голуби синими крыльями вытеснили бы бедность с нашего двора на улицу. Так могла бы бедность со всех дворов переполнить улицу и улица понесла бы ее к полным амбарам Хосро и Мурмана. (Тогда все дни можно было бы превратить в одно большое воскресенье.)

Я со вздохом передвигаю к яслям кадку, и пока лошадь хлебает болтушку и тонкими ноздрями сдувает с поверхности всякий ненужный сор в угол кадки, я медленно расчесываю ее высокую холку.

Сейчас, когда голова Ламчи опущена в кадку, Ламча почти моего роста, а мне только тринадцать лет. В позапрошлом году, когда добрый знакомый лезгин привел дедушке лошадь, они вместе осматривали ей зубы и сосчитали их тридцать два: по десять коренных и по три пары резцов в каждой челюсти. (Как удалось высчитать по округло-овальным формам ее старых зубов — ей тогда было одиннадцать лет). Высокий лезгин все кого-то боялся и спешил. Часто благодарил дедушку и жал ему руку от чьего-то имени, или садился на лошадь без седла и стремян и пускал ее по двору, охватив крепкими коленями узкое брюхо лошади и покрикивая что-то на своем зычном языке. Уходя, он у ворот снова оглянулся на нас, свистнул лошади на прощание—«чшью» и, улыбнувшись, поднял ладонь к голове, ко рту, потом к груди, быстро склонился к земле и скрылся за акациями.

Этот странный горец долго оставался для меня тайной. Однажды дедушка рассказывал соседям о войне с лезгинами, где у него, оказывается, убили коня. Когда овладели аулом, дед с гневом ворвался в саклю, откуда стрелял из русской винтовки убийца любимого коня. Горец соскочил с потайной бойницы и, сделав быстрый поклон, придвинул дедушке стул. Из темного угла сакли глядели на деда четверо детских глаз и жена горца. Нужно было вырезать всех — таков был приказ предводителя в погонах, но горец сказал: «Я не враг... и ты не враг. Враг стоит в погонах»...

Дедушка понял это и доверчиво сел на низкий деревянный стульчик вместе с горцем...

Лезгин, который привел нам лошадь, был старшим сыном горца. (Он был беглец, но честный исполнитель воли своего рода.)

С тех пор Ламча осталась у нас. Молва о ней пошла по всему селу.

Вскоре о лошади узнал есаул. Он, видимо, донес Хосро, потому что на другой же день князь стоял у наших ворот и, помахивая небрежно кнутом, требовал показать ему лошадь.

Осмотрев Ламчу и ударив ее кнутом несколько раз, он сказал дедушке, что лошадь эта, должно быть, карабахская, помесь с кабардинской и что она очень понравится кутаисскому уездному начальнику. День на этом кончился: весь вечер у нас говорили о начальнике.

Прошло много дней. Прошли и весна и осень, но начальник не показывался, а скрывать лошадь от хищного моурави Хосро—Зосима-злого, ревниво приберегающего все для своего господина, — умел даже и я.

(Право, это не так трудно в горах и при густом каштаннике, не говоря уже о том, что Ламча сама тоже хорошо умела скакать от преследователей).

Но к концу лета к Хосро вдруг приехали гости: важный русский губернатор с серебряной шашкой и худой женой и с ними множество разных господ.

Через неделю, когда губернатор и другие господа, достаточно нагостившись у своих хозяев, собрались уезжать, — Хосро и приехавший к этому дню Мурман устроили за оградой церкви, на прощанье, джигитовку.

Зрителей набралось со всех концов белого света. Все наше село присутствовало на интересном игрище — джигити.

Я был со Швилдой. Он слыл в селе лучшим джигитом еще с самых ранних лет и имел даже своих последователей в езде. Парни с завистью поговаривали, что в пастушестве ему удается об'езжать всех лучших коней дворян, — поэтому мол, он и лучший джигит. Но я не согласен с ними, так как сам Швилда говорит, что будь я сильней в плечах и старше годами, — то лучшего джигита нельзя было бы найти в горах. Я очень хочу вырасти быстрее, но это пока не удается, и дедушка во всех торжественных случаях доверяет Лемчу только Швилде. Он так хорошо сложен в плечах, что напоминает собою лук. Гибок, как ветка, и стреляет из лука метче всякого турка.

Посреди, широкого, огражденного рвами, поля стоял высокий столб, вернее два шеста, скрещенные наверху и перевязанные прутом. На этой верхушке была прикреплена дощечка приблизительно в ладонь, а на дощечке сверкала серебряная чаша — мишень. Сотни коней выстроились и понеслись по очереди друг за другом. Каждый держал наготове стрелу, и как только приближался к тени шеста — пускал на ходу стрелу из лука в чашу и, не останавливаясь, скакал дальше. Пыль нагоняла всадника и обволакивала его с головой.

Никто из гостей Хосро не попал в мишень. Лучшие стрелки — дворяне — сворачивали коней в сторону, а человек двадцать — о, стыд! — стреляя, попадали с коней.

Нужно быть очень умелым всадником, чувствовать точку опоры при движении и в точности соразмерить это движение с движением своей собственной стати на коне, с постановкой рук при натянутом луке, с направлением ветра, с появлением чужой тени с боков своего коня. (Все может играть решающую роль, но если нет ко всему меткости руки и остроты зрения, лучше тогда не стоит срамиться перед всем светом молодцу.)

В тот день чаша досталась губернатору — вернее губернаторской жене.

(Джигити был устроен в честь высокопоставленных гостей и потому все, даже «высоко поставленные» вещи должны были принадлежать самому важному из гостей.)

Чашу с шеста опрокинул Швилда. Никто не знал об этом, кроме меня. Далеко за полдень, в самый разгар джигити, мы незаметно затесались с Ламчой в толпу джигитов. (Правда, затесался он один, а я только следил издалека, примостившись вместе с другими на сучьях липы.)

Золотая масть нашей лошади резко выделялась среди лошадей всех других всадников. Ламча несколько горбоноса, с широкой мускулистой грудью и крепкой изящной спиной. Ноги тонкие и су-

хие, на высоких бабках, с ровными, крепкими копытами.

Она переступала ногами, точно утверждая все земли Хосро и Мурмана за собой. Но любоваться Ламчей не было времени. (Да и кому бы из дворян пришло на ум скакать на лошадь, которою правил какой-то безродный всадник).

Все совершилось быстро. Сначала послышался сигнал. Затем поднялись густые клубы пыли, и только двое вырвались вперед из пыли на свет. Один из них был Швилда. Он припустил неоседланную лошадь к шесту и первой же стрелой сбил с верхушки чашу.

Вся площадь точно осела на задние ноги. Клубы пыли свернулись в воздухе. Откуда-то вырвалось «ура». Ура смешалось с криком. Крик зазвенел, как сабля, и ноги коней снова потонули в густой жаркой гриве пыли. Все столпились около шеста.

Пробитую чашу взяла в руки губернаторша. Крапнула туда вина и, подняв высоко над головой, протянула улыбаясь победителю. Но каково было ее удивление, когда победителя не оказалось около.

Звать — но кого же? Кто различил его лицо? Говорят, он мчался на неоседланном коне. Говорят, он был на босу ногу... Другие утверждали, что это был не кто иной, как знаменитый джигит, чеченский бек, приехавший тайком на любимое игрище. А женщины говорят...

Все говорят, толкуют и шумят, а никто кроме меня не знает, кто герой. Я знаю, что он так сложен в плечах, что напоминает собой лук (недаром он носит имя лука—швилди, но не имеет ни своего Ламча, ни собственных стрел — он стрелял из моего лука). Он старше меня и ему удается все, а лучше всего— пасти скот, вырезывать колеса арбы и самые звучные свирели. (Отец его, Иллара, беден и кроме одной коровы, пяти кур и полутора десятин с избой не имеет ничего за душой.)

Сейчас Швилда наверное скачет через поле в лес и горы, а важные гости и дворяне в замешательстве толпятся у шеста. Из круга встает Мурман и об'являет, что чашу в память о деревне милостиво берет себе наша небесная губернаторша, а коня, доставившего победу деревне, — сам губернатор.

Однажды поздно ночью в избу вошел моурави Хосро—Зосив с двумя стражниками, связал сонного дедушку, вывел Ламчу из стойла и увел в темноту.

Кутаисский суд не оправдал дедушку. (На это дело ушло последнее — Реро и маленький теленок.)

Через семь месяцев, это было уже к весне, Швилда повез меня с собой в город губернатора—Кутаис. Там мы переночевали в чьем-то саду две ночи, а на третью Швилда привел в сад нашу Ламчу.

Она была вся вылощена и блестела. Ноги были тщательно обвязаны лохмотьями бурки. Мы сели на нее вдвоем и бесшумно ускакали по большой дороге в сторону нашей деревни.

На пароме Губы-реки нас встретил дедушка, с факелом в руках.

Осмотрев быстро лошадь со всех сторон, он отступил назад и сокрушенно покачал головой. Мы насторожились. Ожидаемой радости я совсем не заметил на его лице. Ламча обычным движением головы старалась прихватить губами дедушкин рукав, но дед даже и не двигался с места, точно кирпичем, заскорузлой рукой почесывая жесткий подбородок.

Наконец он протягивает факел нам и, старательно прощупав у Ламчи живот, говорит более мягко:

— Кажись, верная!.. Кажись, — внуки...

(Верная означает все. Верный—все новое, что появляется на земле.)

Я взглянул на Швилду, погладил лошадь по спине и по-дедушкиному наклонил голову к ее животу. Ламча топнула передней ногой и нетерпеливо задвигала ушами.

— Ну! — глухо позвал дедушка в темноте.

— Движется! — радостно вскрикнул я и, отодвинувшись, дал Швилде проверить мое показание.

Я рад этой удивительной неожиданности с Ламчей и готов кричать, что ночь принесла нам две Ламчи: одна здесь, с нами, а другая там, — уже движется внутри. Но Швилда упрямо молчит, и это меня смущает. Он точно об-

тирает руку о гладкие, блестящие бока Ламчи и бурчит про себя:

— Это я! Это все—я! Вернул Ламчу, и она должна быть моей.

— Ты слышишь, дедушка, что говорит Швилда? Где же ты?

Но дедушка не слышит нас: он возится у ног лошади и кряхтит. Приподнимает заднюю ногу Ламчи, оглядывается на мою тень и, указав головой на факел, еще глубже приседает к ногам.

Я быстро освещаю ему копыто. Дедушка снимает с него обвязку, ощупывает и чистит его. Поднимает и другую ногу. Тоже чистит ее, осматривает зорко со всех сторон, — нет ли трещины в копыте или раны на венчике ног — и, наконец, перевязав их буркой заново, вздыхает и снова оглядывается на нас.

— Придется скрывать... — авторитетно говорит Швилда дедушке, точно отвечая на его вздох, и меня разбирает злоба —не хочет ли взять Ламчу себе?!

— Да, придется! — говорит дедушка ему, точно взрослому, и, встав на ноги, отряхивает полы черкески.

— Возьми. Ожеребится, — останется тебе. А жеребенок...

Дедушка некоторое время молчит. Затем смотрит мне в упор в плечи и точно натягивает на них поводья.

— Ты?

— Ну да, я! — говорю я сам себе и переглядываюс исподлобья со Швилдой.

Он держит поводья лошади в руках и смотрит на меня тоже исподлобья. Ламча круто поворачивает голову к дедушке и осторожно ржет.

Дедушка говорит:

— Самое подходящее—в теснине Шаколовки, у ручья, что на том берегу Губы... за мельницей. Хосровцы туда не заходят. Постелите чистой соломы и устройте чердак с навесом. Она стала ленива и осторожна. Для хозяйства все равно не пригодится до того. Смотрите — будет жадничать на корм, но вы не давайте ей ни в коем случае ничего скисшего, заплесневевшего, ржавого или покрытого инеем. Кукуруза и свежее сено горячат кобылу. Потому их поменьше... До схода росы не пускать ее на выпас в траву.

— Ты все же там не заметил, Швилда, какие были с ней лошади? А может быть, не русские?! Тебе, внучек, придется быть осторожней с жеребенком...

Мы идем, пересекая сельские дороги, и молча слушаем наставления дедушки.

На берегу Губы, в тени мельницы, он молча передает нам топорик и факел и, не прощаясь, быстро уходит. Я слышу, как спускаются в темноту неровные шаги дедушки с горы, и кажется, будто дедушка навсегда уходит от нас. Швилда в это время уже готовится к переправе на другой берег и мастерски наматывает на правую руку хвост Ламчи. Мы перевязываем головы платьем, как башлыками, и молча плывем друг за другом вслед за Ламчей.

С этого берега нетрудно отыскать знакомую теснину скал. (Там недавно крестьяне убили двух шакалов).

До утра навес готов. Утром Швилда уходит пастушить.

Я достаю с мельницы занесенные дедом солому, сечку в кадке и кукурузу и сторожу Ламчу до вечера.

Вечером, с кормом за пазухой для лошади и медвежатиной для нас, возвращается с пастбища Швилда.

И так каждый день.

Спустя две недели Ламча жеребится. У меня родилась собственность—конь.

Дедушка навестил дважды: хвалил. Говорил — конь будет не худшей стати, и при этом у деда глаза блестели от слез.

Теперь я уже каждый день бываю на мельнице.

Мельница у нас во всей деревне одна. Содержит ее высокий бородатый мельник — один из дворовых Хосро. При нем находится Квонтил, человек необычного во всем селе имени и необыкновенной силы. Он мог с одного края села до другого снести на мельницу огромный мешок кукурузной муки, не присев ни разу по дороге на протяжении двух-трех верст. У самого Квонтила фигура была тоже мешковатая. Ноги короткие и кривые, как шишковатые пни, и пере-

ступал он, вытанцовывая, как медведь. Это вытанцовывание как нельзя больше оправдывало его имя — Квонтила. (Первые радостные шаги своих детей так и звали у нас женщины — квонтилованием.)

На шее у Квонтила буграми сидели такие же короткие, лоснящиеся жилы. Но все же самым коротким у этого человека был язык. Языком он ворочал только два слова: «Моу-му» и «Хоо», а руками мог охватить самый полный мешок и еще двух пузатых ребятишек. У Квонтила были самые длинные руки в селе. (Язык у него был отстрижен госпожей Хосро еще в молодости, а руки были развиты от колки дров и верчения жерновов домашней мельницы Хосро.— Так передавали про него старцы и рассказывал дедушка.)

Сейчас он был приставлен к сельской полуразрушенной мельнице. Там и спал. Караулил минди, доставшийся бородатому хозяину мельницы в виде налога, и временами орал во все жилы. Эти красные жилы на шее напруживались, когда кричал, сильней, чем от нагрузки тяжелым мешком.

Он был самый страшный и самый полезный человек в селе. Его ценили старшие и побаивались дети. Он был единственный человек среди нас, который никогда не сидел на коне и который боялся только дочери пастуха Арсо, жившего за мельницей тут же.

Кричать он начинал внезапно. Со стороны кажется, что просто так: захотелось Квонтилу покричать, и он орет себе. Стоит на одном месте, расставив ступни ног, широкие и жесткие как жернова, одной рукой размахивает, а другой бьет прямо в грудь. Грудь открытая, волосатая, и бьет он по ней со всего размаха, беспощадно, изрыгая только: «Мо-момо-омууу... Хо, Хоу. Амуаааа!..»

Идет ли он с мешком по улице, сидит ли у желобов мельницы, или же стоит, опустив руки на целую ладон ниже колен, — вдруг точно вспомнит что (или не понравится ему что-нибудь) и начнет размахивать руками и рычать, как раненый бык, на все село. (Женщины так и пугают его именем плачущих детей: дети при этом сразу умолкают и с открытыми ртами прислушиваются к звукам на улице.)

Никто и ничто не может остановить его в это время. Никто к нему не смеет подойти ни на сажень. А крик у него горький, душераздирающий. Но стоит в это время выйти кому-нибудь из старших на улицу и крикнуть ему: «Идет Кэтеванна» — как он сразу осекается. В селе водворяется смех и тишина. Квонтил вскидывает мешок и, выпучив глаза, идет молча, в каком-то блаженно-трудовом созерцании.

Мне совсем не страшно на свете, но я его очень боюсь таким. Каждый раз, когда я приближаюсь к месту, где обитает Квонтил, во мне невольно поднимается страх и необыкновенная почтительность к мельнице.

Мельница помещается на холме. Вода по желобам перекинута к ней прямо с Губы-реки. За Губой, в теснине между скал, укрываемся мы: я, Ламча и маленький двухмесячный жеребенок.

У жеребенка большие темно-карие глаза, как у Ламчи, только у него они отливают еще и синевой. Ноги пока несообразно длинные по сравнению с туловищем. Они часто подгибаются и дрожат. От каждого шороха жеребенок со страхом отскакивает в сторону и с удивлением смотрит на нас. Ламча точно смеется над этим и коротко ржет.

Я часто подкрадываюсь к жеребенку со стороны Ламчи, перекидаваю через него, как седло, легкие ветки с широкими листьями, и жеребенок без оглядки мчится вон из теснины, к реке. Там он останавливается, как вкопанный, на берегу и с напряжением вслушивается в шум реки. (У него врожденный каприз не переступать дальше положенных в нем самом границ. Мне пока еще не известны эти границы.) По ночам я часто доставляю на мельницу на Ламче кукурузу из дому и так же везу обратно к дедушке смолотую кукурузную муку на пищу. (Квонтил все равно не может нас выдать никому.)

Каждый раз, приближаясь к мельнице, я в глубине ее открытых дверей явственно различаю неуклюжую фигуру Квонтила и мигом соскакиваю с лошади. Мне трудно одному стащить мешок. Он это

знает и медленно направляется в мою сторону. Я придерживаю лошадь за веревку и с деловым видом отхожу на два шага в сторону. Я знаю, что Квонтил детей не любит: они часто бросают в него камнями. Правда, он даже не оглядывается на них, а может быть даже не чувствует ударов по коже, как по коре, но, должно быть, всех их он хорошо помнит, и меня тоже (хотя я бросал в него камни давно, и то только два раза).

Он вскидывает мешок, тащит его на мельницу и ставит в очередь: он может его смолоть только далеко за полдень.

К утру приходит Швилда и, сев на лошадь, мчится к пастбищу, за семь лощин в горах. Я с трудом удерживаю жеребенка с собой. Он ржет вслед Ламче на всю гору, и я никак не могу его уверить в том, что это очень опасно, в особенности если его услышит Бондо, который часто бродит на этой горе. Наконец он увлекается зеленой порослью, и я спокойно подсаживаюсь к скользким деревянным желобам мельницы.

Квонтил часто выходит с мельницы, смотрит в мою сторону, потом в сторону большой дороги, по которой, скрипя, едут обычно арбы, нагруженные кукурузными мешками, и затем, вылупив глаза в сторону избы пастуха Арсо, тащит мешки на мельницу с тем же выражением лица.

Я стругаю ветки для лука своим маленьким кинжалом и заготовляю тетиву. Я сосредоточенно до самого полудня работаю, а в полдень купаюсь в Губе-реке. Для пущей крепости смачиваю в воде тетиву со стрелами (их много у меня— разной силы и легкости) и, стоя в воде, пробную их по очереди на дальность. Эти мои опыты Швилда называет ветроплетением. Он говорит, что стрела потому и стрела, чтобы бить в цель, а не в воздух. (Вообще-то он многое не одобряет во мне, но я в одном только согласен с ним: что коршуна надо бить не из засады, а прямо с коня).

Швилда любит часто повторять, что «без меры в руках, как без дыхания во рту», но мне кажется, что эта фраза не его, а подслушана у стариков. Вообще у Швилды очень много деловых мыслей в голове, из которых я выбираю только наиболее интересные. Затем я натягиваю тетиву, как самую упругую мысль, и стрела с визгом летит вверх— измерять глубину.

Вдруг с обрыва в воду свешивается огромный мешок тени и, как будто, протягивает руки ко мне. Я с дрожью оглядываюсь и вижу на берегу Квонтила. Одной рукой он притеняет глаза от солнца, а другой, поднятой вверх, во всю длину, указывает на узкую стремительную полоску тени в небе.

Ага! Квонтил заинтересован моим мастерством. Похоже, что он даже улыбается, хотя лицо у него недвижимо, а из раскрытого рта со слюной вместе стекает бессвязное бормотанье: «Ма-а-а! Мо-му-эеее-е-е»...

Я рад, что доставил удовольствие Квонтилу. Быстро выбираясь из воды и, одевшись, лезу к нему на обрыв. Отсюда я могу пустить стрелу через всю Губу-реку на противоположную гору. Или даже достигнуть до вершины той горы, на которой под ряд стоят четыре каштанника, как четыре черкеса в бурках...

— А то, Квонтил, вот этой самой стрелой, могу пустить через вон ту горку, мельницу и чинары, прямо в усадьбу Бондо. Хорошо?.. Вот, смотри!

Теперь Квонтил улыбается на самом деле: на верхней толстой губе ощериваются беспорядочные усы и в углах рта появляются два желтых клыка.

Ты, вот, смотри, смотри, Квонтил! Как пущу отсюда — попаду прямо в макушку Бондо.

Зубы Квонтила оскаливаются шире: в корнях, меж десен, видно несвежее тесто чурека. Он, наверное, с утра не ел.

Я вскидываю к правому плечу тетиву и сразмаху пускаю стрелу в сторону усадьбы. Стрела с визгом взлетает вверх, перелетает через верхушки чинар и вдруг, повернутая ветром, несется назад. У Квонтила падают руки. Он топает всей ступней по земле. Стрела перелетает через наши головы и несется в сторону избы Арсо.

— Мааа... ма!.. Му... Хо, хо-у... Эее!.. Э!.. — слышу я за собой гневное мычание Квонтила, и меня охватывает трепет.

Как мне быть? Чем я разгневал его?

— Разве я виноват, Квонтил, что стрелу понесло ветром не туда, что не ударилась она о макушку Бондо?! Квонтил, не делай со мной ничего! Прошу тебя!

Но Квонтил не слушает меня, бьет, что есть силы, кулаком себе в грудь и лупит на меня страшные, кровавые глаза.

Вдруг меня осеняет счастливая мысль: я достану обратно сюда эту непослушную стрелу — и мигом мчусь в том направлении, куда она улетела.

Скорей, скорей!

Я забираюсь в ущелье, подымаюсь вверх через двускалую гору, переползаю через плетеный забор соломенной избы пастуха Арсо и попадаю в маленький огородик. (Стрела, по моему расчету, должна была упасть сюда.)

Вдруг, в грядах зелени и картофеля, я замечаю маленькую девичью фигурку в летнем ситцевом платье.

Кто же она? Может быть, она тоже ищет мою стрелу? А может быть уже нашла и хочет скрыть ее от меня?

Я решительно направляюсь к ней. Она слышит мои шаги, быстро вскакивает и, подняв к бровям руку, смотрит в мою сторону. В руках у нее коротенькая острая ветка, вся облепленная влажной землей. Я вскипаю от гнева.

— Это ты мне сломала мою стрелу?— говорю я, готовый схватить ее за кулачок.

Она стоит, опустив голову, и молчит.

— Дай мне ее сюда! — грозно приказываю я ей и делаю два шага вперед. Я узнаю эту девчонку. Я хорошо узнаю ее! Вот где, значит, обитает она, противная насмешница!

— Дай мне сейчас же! Мне она нужна...

— Она нужна мне, — отвечает она спокойно и кладет кулачок с веткой за спину.

— Как так нужна? Она же моя?! — вовсе выхожу я из терпенья.

— Я ею копала огород. Свою сломала утром, а эту нашла вот здесь, в луках...

Она говорила спокойно, точно перекладывала на ладони цветные зерна.

Я вдруг покраснел и смолк. Как же быть дальше? Не уходить же мне отсюда ни с чем?

Мы стоим с ней среди грядок зеленого лука и смотрим в сторону, откуда ветерок временами заносит голос Квонтила. На луке растут высокие луковичные цветы: длинный, гибкий стебель и на стебле курчаво-пахучий бутон розовато-зернистых лепестков.

— Почему плачет Квонтил? — слышу вдруг ее слова.

— Плачет? Не знаю... — отвечаю я и не гляжу в ее сторону.

— Пойдем к нему вместе... — продолжает она.—У меня уже готова для него еда... Я только зашла сюда за зеленым луком...

Я смотрю на нее исподлобья: она тонкая и худая, как стебель. Стебли лука дотягиваются до ее пояса и, покачиваясь, бьют ее курчаво-зернистыми головками по животу.

— Пойдем! — отвечаю я, точно на ветер, но вдруг перебиваю. — Но... а ты разве Кэтеванна?

— А кто тебе сказал?

— Вот, сказали и все... А ты совсем не боишься Квонтила?

— Совсем.

— А ты можешь пустить стрелу так высоко, как я?

— У меня нет лука, — тихо говорит она.

— Ну-у! А у меня есть... хочешь покажу?

— У Бондо лучше.

— Лучше? Ничего не лучше! — восклицаю я. — У Бондо много павлиньих перьев, а я павлинов не люблю вовсе...

— А я люблю.

— А я не люблю.

Она молчит.

— А прошлый раз Бондо сбросила его кобыла...

— Сбросила! — расхохоталась она вдруг, но тут же прикрыла подбородок локтем.

— Ну да. Какой же он ездок? — поддакиваю я ей.

— Но зато он одевается красиво, — говорит она и спокойно расталкивает босой ногой липкий взрыхленный ком земли.

— Это все у него краденые... — режу я ей с досады и быстро отворачиваюсь.

Она смотрит в сторону, куда я отвернулся, и медленно, очень медленно говорит:

— Да, верно: в усадьбе у них очень много кур, гусей и коров... Отец тоже сказал однажды, что они все грабители.

— И Павлинов, тоже, грабят... — спешу я добавить.

По огороду ветер проносит вой Квонтила.

Курчавые цветы луков сокрушенно кивают головой, и я вдруг вспоминаю свое обещание Квонтилу.

— Квонтил все еще плачет внизу, — виновато шепчу я.

— Он ждет меня, — говорит она быстро в ответ, перебегает грядки зелени, кочки, сухие тутовые трутья и, не оглядываясь, кричит уже с порога избы:

— Лобио уже готово! Помоги мне отнести...

Когда мы спускались к мельнице, Квонтил стоял посреди дороги и, размахивая руками, молча смотрел в нашу сторону.

Завидев нас, он опускает руки как плети и, растопырив ноги, ласково окликает:

— Мнеее... Эеее...

Кэтеванна ускоряет шаг, проходит мимо Квонтила в дверь мельницы и ставит миску полную соуса из лоби на длинный деревянный стульчик. Я останавливаюсь поодаль и жду. В руках у меня три горячих лепешки, завернутых ею старательно в широкий листик тыквы.

По мирной, покойной позе Квонтила я вижу, что он не гневается на меня, и я, улыбнувшись ему по-дружески, медленно шагаю вместе с ним на мельницу.

За стол мы садимся вместе — втроем. Она разливает лобио в три миски, и я, сконфуженный, ломаю горячий чурек.

Мы едим молча. Квонтил весь вгрызся в миску: у него широкая челюсть, и когда он ест, то чавканьем заглушает шум жерновов.

У меня за пазухой свой чурек с сыром, я молча выкладываю его на общий стол и пододвигаю ближе к Квонтилу, а сам с замиранием сердца ем сладчайший, острый соус.

(Я давно, давно не ел так вкусно приготовленное лобио!)

Я провожу плашмя указательным пальцем по деревянной миске и, облизав запекшийся на дне соус, икаю — в знак довольства. Она роняет глаза на мои облизанные губы и, приложив левую руку ко рту, переворачивает ее ладонью ко мне и тоже икает в ответ.

Мы успеваем сказать друг другу торопливое — «на здоровье», и она, схватив миски, быстро выбегает из мельницы.

Теперь мы встречаемся на мельнице каждый день.

Когда ее долго нет с обедом, я забегаю в огород и зову.

Огородная земля выделена селом для пастуха Арсо и она, таким образом, принадлежит и всему селу. В глубине огородника птичьим гнездом высится изба, в которой некогда, далеко еще до разведения огорода, жил святой отшельник Беро, отпустивший грехи известному разбойнику Фидо.

В одну лютую зимнюю ночь Беро загрызли в избе волки. После этого далекая избушка опустела надолго, а волков, вкусивших святое тело монаха, никто не осмеливался тронуть. Пришедший издалека вдовец Арсо был единственный, решившийся жить в этой избе со своей сироткой, — он нанялся в сельские пастухи. Но когда волки и шакалы стали таскать из стада овец и коров, — Арсо перебил волков за свой страх. Село удивилось, немного выждало и затем поблагодарило его за это, выкупив ему от Хосро вместе с избой и землю для разведения огорода.

Лето и осень Арсо угонял скот на пастбище за три горы в глубокий луг и возвращался в деревню только к зиме. Но и зимой он уходил к Черному морю, наниматься в грузчики на пристань. Потому никто его не видел и почти не знал в лицо.

Сейчас вместе с Арсо пастушит и Швилда, который пересказывает мне очень много удивительных вещей о нем, о городе и Черном море. Так мы просиживаем ночи у костра, пока забрезжит

свет, а там Швильда схватывает свой длинный кизиловый посох и кнут и мчится на Ламче за три горы к глубокому лугу.

Вдруг все в деревне пошло невероятно быстро.

Где-то случилась большая война. Со стороны моря стали слышаться отдаленные гулы. Дед стал ходить в поле вооруженный кинжалом и кремневой дамбачей. Часто он посылал меня на башню высматривать соседние горы — не движется ли со стороны лезгинов враг, но это были лишь, навеянные стариной, пустые опасения дедушки, думавшего, что враг может показаться только со стороны лезгин. Мне Швилда говорил, что враг находится далеко за Черным морем и что он вовсе не похож ни на лезгин, ни на турок.

В одну из дождливых, ноябрьских ночей Швилда наговорил мне столько несчастий о людях, живущих за горами и морем, что я не решался даже оглянуться на мокрые лохмотья теней вокруг костра. Утром все так же было мокро и тоскливо, и мне думалось, что людям, живущим за горами и морем, наверное еще более тоскливо в такой дождь и мокроту.

К вечеру в тот же день в нашу укромную теснину поднялись по горной грязи двое русских стражников с есаулом и забрали с собой Ламчу. Я в это время стоял мирно неподалеку и думал, что эти люди, должно быть, тоже из несчастных, живущих за горами и морем, которым на войне необходима лошадь.

Ночью пришел Швилда и сказал, что Арсо ушел к морю — в Батум. Швилду как будто и не тронула судьба Ламчи.

(Не думал ли он, что ему придется сидеть на моем жеребце?)

На второй же день я вернулся к дедушке вместе с жеребцом и тайком ото всех стал об'езжать его.

Через год Швилду тоже забрали на войну.

В деревне остались: я, как младший, и восемнадцать ровесников моих, дедушка, как самый старый, сотня пожилых крестьян с женщинами, да еще мой жеребенок и птицы.

После революции лес оградили какие-то люди, и все птицы, вдруг, тоже исчезли куда-то.

К концу марта с гор пошли потоки и Губа-река наши земли, — все, до последней сажени, — снесла к плотине Хосро. (У соседей потонул весь скот. У Илары — куры). А Швилда все еще не возвращался с войны.

В деревню вернулся Мурман, а однажды перед нашими воротами, по улице, гордо проехал на своем рыжем скакуне и сам Бондо, побывавший во всех больших училищах города. Он был в каком-то блестящем, военном одеянии, что шло, видимо, к нему хорошо, потому что все наши бабы бесстыже пялили на него глаза (я лично взглянул только мельком).

С тех пор прошло достаточно времени. Я ушел с головой в учебу (стране нужны были писцы). Акации трижды зацвели и отцвели. Само дерево выросло и распустило много острых колючек. (Лично же у меня никогда не было ни родины, ни колючих акаций на собственной земле.)

Кэтеванна тоже выросла за это время.

Должно быть, тоже расцвела, но я не видел ее больше нигде. Только слышал, что она взрослая и сознательная девушка; надела однажды, под вечер, темное платье и вышла на мельницу одна. Мне никто не говорил — какая она была в в этом платье. Все думали, наверное, что она просто грустит и что девушку надо выдать замуж.

Но знали ли они, о чем она грустила? Поведала ли она кому-нибудь — кто предмет ее зрело-полой грусти?

Я был от нее далеко, а она была сирота.

Я был беден, как ручей в зной, а она жила около разрушенной мельницы, на попечении и под надзором села.

В одно воскресенье, пятнадцатилетнюю Кэтеванну похитил Бондо — сын Хосро, владетеля лучших земель и мужиков. Возмущенное село приберегло камни и топоры, чтобы разгромить усадьбу. Но князь успел обвенчаться с ней и с благородным видом вышел из церкви к народу. Камни были спрятаны

за пазухи черкесок и в селе как скатерть разостлалась покорность. За барским свадебным столом не сидели лишь Сео, Менена, Швилда, дедушка, отец Кэтеванны — пастух Арсо и семеро еще пастушков.

Но помнила ли она меня? Вспомнила ли хоть раз, стоя в подвенечном платье, обо мне — тоскующем вечно о ней?

Однажды из деревни я получил письмо от дедушки. Дедушка, разумеется, не умел писать, но чья-то рука очень заботливо выводила все его мысли. Дедушка писал о своем житье-бытье. Вспоминал старое и новое, расспрашивал подробно о коне, с которым я выехал сюда из деревни, и в конце сообщал, что наша Кэтеванна ходит снова в черном платье. Ей опять это к лицу, но зато Бондо стал сумрачнее ночи. Поведение Кэтеванны он рассматривал как знамение преждевременной своей смерти.

Я задрожал от радости.

Я ждал этого. Я знал, что это случится непременно. Сбылось: недаром я убеждал в городе всех, что жизни их не совместимы.

У-у-у! сколько накопилось гнева в груди! — писал дедушка тогда, а словам дедушки я верил больше, чем скале.

Случилось это ранней весной. Я получил второе письмо.

Дедушка мне писал (а письмо составляла опять незнакомая рука), что село напало на дворец Мурмана, где жил Бандо с Кэтеванной, и камнями разгромило всю усадьбу. Бондо был предупрежден заранее и предыдущей ночью бежал из дому — захватив с собой все драгоценности Кэтеванны, которыми некогда одарил ее сам князь.

Под утро Кэтеванну нашли в своей старой избушке. Она была в изодранном ситцевом платье, но полная радости, как прорвавшийся ручей.

Дедушка просил приехать домой. Письмо начиналось и кончалось этой просьбой:

«Теперь и дом наш, и земля и лес», — писала за дедушку торопливая рука и в конце выводила — «И Кэтеванна с нами. Она ведь всегда была наша»...

Я молча отложил письмо.

«А я ведь не могу, старик! Не могу приехать, дедушка, милый!

Я занят в городе огромными делами. У меня нет коня. Уже давно. Ты не сердись, старик. Я скоро все же приеду к тебе на поезде и повидаюсь со всеми... Со всеми! Не сердись, дедушка, на меня!..»

Так я ответил дедушке, человеку, давшему мне коня и наставления в жизнь.

(Продолжение следует)

Говорит ударник

В эти залы литгрупп, где о творческом методе споря,
Исступленно сшибались ораторы разных знамен,
Насыщая сознанье взволнованных аудиторий
Черным хлебом идей и маслом цитат и имен,

Где уверенный критик махал корректурой сырою
И с повадкой портного кроил доказательства, что
Для эпохи не в пору костюм из „Рожденья героя"
И удобней ей „Выстрел" на плечи одеть как пальто.

В амфилады редакций, где ветры чернильные веют,
В канцелярии Гиза и в кельи ВЦСПС,—
Ты вошел молодой, с полнокровной улыбкой своею,
Весь упругий как утро и свежий как утренний лес.

Ты сказал (вытирая о хрустнувший кожаный фартук
Обожженные руки, шершавые словно наждак):
— Я, товарищи, каюсь, не учен на гладеньких партах
Полированным фразам, я пестован жизнью не так.

Где ж мне легкостью слога равняться по тем пустомелям,
Что сквозь крыши редакций сочатся как капли дождя
И, умея легко околачивать груши портфелем,
Переводят бумагу, дыханье не переводя?

Нас горячий завод по законам и навыкам хитрым
Промолол жерновами труда, дисциплины, огня.
В совпартшколе цехов, за гремучим товарным пюпитром
Мы впитали в себя диалектику этого дня.

Машинисты борьбы, добровольцы работы жестокой,
Гоним паром напора страну мы как локомотив.
Это — мы, это — ткач, фрезеровщик, и плотник, и токарь
Мы ударники дней, и за каждым стоит коллектив.

И за каждым стоят исступление, юность и жажда
Этих острых как штык, молодых и стремительных дней,
Жизнь войной и трудом, словно сталь, прокаленная дважды...
И огромная память, как знамя пылает над ней.

**Мы изучим живые законы словесного сплава,
И потребуют слова руда, и текстиль, и металл,
Чтоб раскрылись закрытые распределители славы,
Чтоб корявые фразы перевоплотились в кристалл.**

**Раздвигают эпоху кирпичные мышцы заводов.
Раздвигая пространство, по горло в сегодняшнем дне,
Мы выходим. Мы скажем о громоклокочущих годах
Полновесное слово векам и рабочей стране.**

Александр Миних

Вал Чингисхана

История состарилась над этим местом.
Зато так молодо там буйствует трава.
Могильный холм себе насыпал деспот...
Но я узнал, что и его права
в Китае пишут на склоненных спинах.
К нам перебежчика однажды привели
в штабной вагон. Наш переводчик скинул
с него рубаху. Мы тогда прочли,
горячим током ненависти дрогнув,
кривых рубцов кровавый иероглиф.

. . . .

И вот опять под зноем рудожелтым
горбы верблюжьи сопок колыхал
июльский день... Невиданный провел ты
рубец былых владычеств, Чингисхан...
Но я смотрел, как за распухшим валом
(к земле приник, чуть поднимая лоб),
оттуда нас недавно обстреляли —
китайский, свеже-вырытый окоп.
Не видно мне, чей глаз припал к бойнице —
то враг... иль друг — иссеченный солдат,
с которым, может быть, мы рядом будем биться
за то, чтоб перепахивать границы
в сплошной неогражденный сад.
И пусть в бинокль, сощуренная туго,
вплывала даль, как дым пороховой,
но будет время — распознав врага и друга,
мы здесь труда тяжелым плугом
сравняем вал, как рабства шрам, с землей.

Лев Черноморцев

Никаких богов

Новый мир, как новый пятачок,
Вспыхнул перед мокрыми глазами.
Вечный бог, колдун и звездочет,
Составлял восточные бальзамы,

И под тропиками жил Адам,
По рисункам самого Гогена,
Новоиспеченный командарм
Свежеотпечатанной вселенной.

Ева с обнаженным животом
На опушке чистила картофель.
... Наконец, и змей узнал о том.
Дело приближалось к катастрофе.

Хриплый лай зеленых обезьян,
Хрюканье гиппопотама...
Саваоф испытывал из'ян
Своего творения
                И прямо

Из-за кипариса, посинев,
Закричал архангелам:
— Осанна!
Вейте этих чувственных свиней,
По спине, по ляжкам первозданным.

Ева заливалась, как раба,
Ноги о колючки обдирая.
Долго трепетала на губах
Кислота утерянного рая.

Ева плакала.

А муж молчком
Выступал свирепо, без оглядки.
— Брось ты!
Чорт с ним, с этим старичком.
Я тебя люблю — и все в порядке.

В. Цвелев

Рисунок

Ф. Русецкому

Пароходные лопасти бьют,
Спит галах на сырых рогожах,
Улыбающийся верблюд
Останавливает прохожих.
Как девчат подтянул загар.
Поухаживать бы за ними...
Путешествуют на базар,
Охраняемые родными.
Анекдот, что ли, привезу:
Геофизик, прошел два вуза,
— Это глобусы, говорит, на возу,
Или же, чорт возьми, арбузы?
Замусоленный шевиот,
Мелкотравчатые мещане.
Рынок выворотил живот,
Переполненный овощами.
Глянцевитые маклаки
Обступили, всегда готовы
Сватать черный обоз муки...
(Дезертир хлебозаготовок)
Парень злится.
Мала цена.
На щеках заиграли пятна.
— Сброшу пару пудов пшена,
Остальное везем обратно...
Спекулянты ушли к стене...
— Дескать, врешь, вымозжим уступку!
Но...
Женщина-милиционер
На мешки налагает руку.
И хозяин, исподтишка
Поворачивая подводу,
Видит — очередь возле ларька,
Видит — лозунги культпохода.

В. Цвелев

Разоблаченный меньшевизм

Дм. Сверчков

«Конференция полагает, что образование социал-демократами временного правительства или вступление в него повело бы, с одной стороны, к отпадению от социал-демократической партии широких масс пролетариата, разочаровавшихся в ней, так как социал-демократия, несмотря на захват власти, не сможет удовлетворить насущным нуждам рабочего класса вплоть до осуществления социализма, с другой, — заставит буржуазные классы отшатнуться от дела революции и тем ослабит ее размах».

Так определяли свое отношение к временному революционному правительству меньшевики летом 1905 года, причем приведенную формулировку, принятую их кавказской конференцией, редакция тогдашней меньшевистской «Искры» — Мартов, Потресов, Плеханов, Аксельрод и Дан — признали «весьма удачной». Тов. В. И. Ленин тогда же резко заклеймил такую тактику: «В двух маленьких строчках кавказские новоискровцы сумели выразить всю суть тактики предательства революции, превращения пролетариата в жалкого прихвостня буржуазных классов» («Две тактики социал-демократии в демократической революции». Женева, 1905 г. стр. 69).

Прошло 25 лет. Наш пролетариат не пожелал итти за меньшевиками. Он захватил власть, сумел восстановить разрушенное империалистической войной и иностранно-белогвардейской интервенцией государственное хозяйство, он с величайшим, невиданным в истории энтузиазмом в обстановке не изжитой еще нищеты строит социализм, превращает нашу отсталую земледельческую страну в государство с высоко развитой индустрией, он об'единяет миллионы карликовых единоличных крестьянских хозяйств в механизированные зерновые фабрики, он сумел увлечь за собой широчайшие слои деревенского населения, организующегося в колхозы, он наносит последние и решительные удары кулачеству как классу и другим остаткам буржуазно-капиталистических форм промышленности и торговли. Организованный пролетариатом Союз советских социалистических республик показал свою величайшую жизнеспособность, открыл необозримое поле для развертывания рабочей энергии и инициативы, стал красным маяком для пролетариата всего мира и твердо и уверенно строит социализм, преодолевая стоящие на пути огромные затруднения и показывая такие темпы роста страны, которые никогда не были знакомы ни одной капиталистической стране даже в эпоху ее наибольшего процветания.

Наряду с огромным размахом строительства условия труда рабочих и крестьян облегчаются, проводится семичасовой рабочий день, о котором не смели и мечтать, который никогда даже не стоял в программах ни одной из революционных партий в капиталистических странах, ликвидирована безработица, уходит в прошлое каторжный труд крестьянина-единоличника, широко распространяется жажда знаний, книга и газета стала дефицитным товаром, быстро растет культурный уровень населения, планируется все хозяйство, и навстречу программам строительства пролетариат выдвигает встречные промфинпланы, превосходящие пред'явленные к отдельным хозяйственным единицам требования, создает ударные бригады, вступает в социалистическое соревнование, подтягивает отстающих, об'единился под руководством ВКП в единую стальную армию, дерущуюся на промышленном и сельскохозяйственном фронтах, но готовую в каждую секунду броситься для отражения нападения извне.

Из-под охвостьев старого капиталистическо-помещичьего строя вырываются последние точки опоры, и гибнет их последняя слабая мечта о восстановлении былых привилегий и былой власти. Иностранный капитализм, охваченный жесточайшим кризисом, распространившимся на весь мир, но в бессилии остановившимся перед нашими советскими границами, видит свое единственное спасение в новых войнах — в первую очередь против нашего государства.

доказывающего своим 13-летним существованием и своими исключительными успехами на фронте социалистического строительства преимущество советской системы ведения хозяйства перед капиталистической и зовущего пролетариат всех стран к об'единению и к освобождению от власти капитала. В завоевании нашей страны, в превращение ее в свою колонию, а 160 миллионов ее населения в рабов буржуазия видит единственный способ оттянуть свою гибель, а ее предприимчивые агенты вроде выгнанного из России В. Рябушинского подсчитывают, что, затратив 1 миллиард рублей на свержение советской власти в СССР и на превращение его в колонию, иностранные капиталисты получат доход не менее, чем в 5 миллиардов рублей, т. е. 500% годовых и с перспективой дальнейшего возрастания прибыли ежегодно еще на 100—200 процентов, и спрашивает: «Где найти дело лучше?» («Возрождение» № 1061 от 7 июля 1930 г.). Велик соблазн, но... на страже наших границ стоит наша Красная армия, а в тылу у иностранных капиталистов находятся многомиллионные массы пролетариев, которые вовсе не склонны позволять нападать на страну Советов, а тем более участвовать в таком нападении.

Для капитализма нет выхода, и здесь на помощь ему пришел Второй «социалистический» интернационал со всеми входящими в него социал-соглашательскими партиями, и в первую голову, с нашими отечественными меньшевиками. Меньшевики не хотели и думать в 1905 году о том, чтобы участвовать во временном революционном правительстве, так как признавали себя бессильными удовлетворить насущным нуждам рабочего класса. Но теперь, через 25 лет, они решили участвовать во временном контрреволюционном правительстве, имея все гарантии, что это правительство займется удушением пролетариата и готовясь принять в этом удушении активнейшее участие...

В роли удушителей революции меньшевики выступают не в первый раз. Они поддерживали иностранную интервенцию и белых генералов во время гражданской войны, они в борьбе против революционного рабочего класса и крестьянства бросали свой авторитет членов социал-демократической рабочей партии на чашку весов контрреволюции во всех ее видах и формах и участвовали в противосоветских правительствах. Но их центральный комитет отговаривался тем, что в эпоху 1918—1919 гг. он не имел связей с местными организациями, и последние действовали на свой собственный страх и риск без его ведома и согласия. И теперь еще Гарви утверждает на страницах «Социалистического вестника», что за его контрреволюционную интервенистскую позицию в конце 1918 и начале 1919 года в Одессе никак не может отвечать ЦК меньшевиков, которым она в апреле 1920 года (т. е. уже после полного провала интервенции) была осуждена.

На нынешнем процессе на скамье подсудимых очутился именно меньшевистский центр, действовавший по директивам «заграничной делегации» ЦК РСДРП (м) и в тесной связи с нею, получавший от нее, от Второго интернационала, от белогвардейцев-капиталистов и от иностранных военных штабов денежные средства. Заговор меньшевиков и международных социал-соглашателей против пролетариата раскрыт целиком и полностью.

Представшее перед пролетарским судом в Москве «Союзное бюро ЦК РСДРП (м)» является третьей гранью триединой контрреволюционной организации, возглавлявшейся Рамзиным и имевшей второе разветвление в лице группы Кондратьева-Чаянова. Но если Рамзин опирался на крупных иностранных и белоэмигрантских капиталистов, если Кондратьев выражал чаяния кулачества, то меньшевики не имели под собой вовсе никакой социальной прослойки и являлись просто исполнителями заданий своих капиталистических господ. Громан и его друзья вынуждены были признать, что они не смогли завербовать в свои ряды ни о д н о г о рабочего, да и среди советских служащих и среднего технического персонала не создали сколько-нибудь весомых ячеек.

Связей с рабочим класс СССР у меньшевиков нет никаких. До революции социал-демократические газеты были полны корреспонденциями с фабрик и заводов России. Теперь их нет ни одной, и «Социалистический вестник» предподносит своим читателям вместо них сообщения о том, что в панике перед народными волнениями в Москве ЦК ВКП(б) срочно переезжает со Старой площади в Кремль («Соц. вестник» от 28 ноября 1930 г.) или что тов. Крыленко требует от публики, собравшейся послушать его речь, стать на колени и слушать его в коленопреклонном положении...

Маска со Второго интернационала сорвана. Перед лицом пролетариата всего мира социал-демократия показана без всяких фиговых листков, как чистокровнейшая агентура капитала. Ее защитная фразеология разлетелась вдребез-

ги, и нет никакой возможности опровергнуть или хотя бы в малейшей степени поколебать те документальные и фактические разоблачения, которые сделали перед судом 14 меньшевиков, дополнили и подтвердили свидетели и свел в одно убийственное целое в своей речи т. Крыленко.

Накануне процесса — 28 февраля этого года — в передовой статье № 4 «Социалистического вестника» «заграничная делегация» РСДРП писала:

«Они (большевики) хотят морально-политически убить социал-демократию, дискредитировать ее в глазах широчайших рабочих масс России и всего мира обвинениями во «вредительстве», в ставке на «интервенцию», в «контрреволюционности»... Но на стороне социал-демократии гордое сознание, что в неравной тяжбе с вооруженной до зубов большевистской диктатурой она — только она — защищает интересы революции, социализма, русского и международного пролетариата, что будущее в рабочем классе и в России, и во всем мире принадлежит ей».

Только смехом можно встретить эту патетическую мелодекламацию — особенно теперь, после суда, после всех разоблачений...

Летом прошлого года Струве поместил в парижском «Возрождении» пессимистическую статью, в которой об'яснял безнадежность расчетов на восстание в СССР тем обстоятельством, что наиболее активный слой населения — молодежь — выросла в обстановке нужды и лишений империалистической, а потом гражданской войны и революции и просто не может себе представить, что существуют лучшие условия жизни, чем те, которые их окружают, а потому и не имеет никакой воли к борьбе за них.

Через полгода с лишним — в том же № 4 «Социалистического вестника» от 28 февраля с. г. в статье «На ту же тему» Абрамович пишет:

«Огромное большинство (рабочих и интеллигенции), выросшее в своей сознательной жизни уже на почве советского строя и отрезанное в течение 12 лет от всего остального мира, не представляет себе и психологически не в состоянии представить себе иного строя, кроме советского» (Струве с полным правом может обвинить Абрамовича в плагиате!). «Строй демократии в их представлении отождествляется с буржуазной диктатурой, а буржуазная демократия является для них синонимом «диктатуры буржуазии». Переход от советского строя к режиму демократии преломляется поэтому в головах широких рабочих масс Советского союза, как передача и всей политической власти, и всего экономического господства в стране в руки капиталистической буржуазии, связанной к тому же с хищническим иностранным капиталом. Указания на материальные лишения, на политическое бесправие, тяжелые условия труда, бюрократизм и тому подобные отрицательные стороны советского режима, о которых рабочие на фабрике осведомлены не хуже нас с Каутским, одни не являются для них еще достаточно убедительным аргументом для перехода от «советских» позиций к позициям демократии в этом понимании. Рабочий желает иметь гарантию против возможной замены большевистской диктатуры такой же диктатурой, но капиталистической, направленной и об'ективно и суб'ективно против рабочего класса. Она желает иметь уверенность в возможности избежать новой гражданской войны, новой катастрофы, новых потрясений, которые прежде всего губительно отзовутся на нем самом. Социал-демократ пропагандист, не желая превратиться в апологета капитализма, должен будет понять частичную обоснованность и вескость аргументов, приводимых рабочими. Но он может противопоставить им веские контр-аргументы.Они указаны в нашей платформе. Это, во-первых, уверенность в неизбежном экономическом и политическом крахе советской диктатуры, который должен будет — хотим мы этого или нет — притти в результате утопической и не осуществимой в условиях России программы и который нельзя предотвратить никакими мерами, если сохранится нынешняя террористическая диктатура. Это, во-вторых, указание на путь, который единственно в состоянии спасти революцию, не выдавая рабочий класс головой капиталистам, — путь постепенного перехода к режиму демократии».

Абрамович написал эти строчки в феврале настоящего года, когда демократический строй капиталистических государств предстал перед всеми в своем полном блеске: тридцать миллионов безработных, жесточайший голод, свирепые преследования рабочих организаций, расстрелы безоружных демонстраций, пытки в тюрьмах, карательные экспедиции, отказ в пособиях умирающим от голода и одновременно бешеные ассигнования на подготовку войны — вот самые последние достижения демократических правительств, в которых деятельно и энер-

гично участвуют «социалистические» партии, входящие во Второй интернационал. И какая наглость нужна для того, чтобы восхвалять этот демократический строй и клеветнические противопоставить ему «материальные лишения, политическое бесправие, тяжелые условия труда, бюрократизм и т. п. отрицательные стороны советского режима», — как это делает Абрамович! Не удивительно, что Громан и компания не нашли в рабочем классе ни одного желающего перейти «от советских позиций к позициям демократии в этом понимании». Этому нежеланию Абрамович рекомендует противопоставить «веские аргументы» в виде «уверенности в неизбежном крахе нашей програмы социалистического строительства (в то время, как наше хозяйство растет неслыханными темпами, а буржуазно-капиталистический строй трещит по всем швам!!) и в указании на путь «постепенного перехода к демократии». Нет нужды, что рядом с этим Гарви, Дан и сам Каутский уверены в невозможности такого «постепенного» перехода к власти помещиков и капиталистов. Не важно, что сам Абрамович в октябре 1930 года писал в том же самом «Соцвестнике»: «Не было еще в истории примера, чтобы самодержавный строй пошел на добровольную самоликвидацию. Гораздо более вероятной является перспектива крестьянского, а затем и всенародного восстания против советской власти».

Правда, через несколько месяцев эта перспектива побледнела, и тот же «Социалистический вестник» писал:

«Необходимо признать, как бы это ни было тяжело, что рассчитывать на активность рабочего класса, который мог бы под знаком демократии и в союзе с крестьянством добиваться политической свободы и демократизации всего режима, хотя и не безнадежно, но мало реально». («Соц. вестник» 24 янв.)

Каждый из них выполняет полученный от Рябушинских, Детердингов и генералов Лукомских социальный заказ по собственному разумению, а винигрет, предподносимый «Социалистическим вестником», рассчитан на любой вкус: авось, кто-нибудь прельстится кислой капустой Абрамовича, а другому понравится редиска, приготовленная Даном.

Но если Даны и Абрамовичи пробуют свои силы в роли политических жонглеров, то их маститый учитель и вождь Каутский по старческому недержанию мыслей брякает начистоту: «Но разве какая-нибудь контрреволюция или какой-нибудь бонапартизм сможет создать строй, который был бы еще хуже советского?» Приводя это категорическое утверждение Каутского, Дан почтительно указывает ему, что польские карательные экспедиции в Западной Украине вряд ли могут считаться заслуживающим подражания образом правления. Однако он скромно умалчивает о том, что деятельность в нашей стране карательных отрядов и белогвардейских банд генерала Лукомского, на которую дали свое полное согласие меньшевики, обязавшись участвовать во временном правительстве», конечно, оставила бы далеко за флагом опыты польских правителей и дали бы Каутскому полное удовлетворение.

Какова же знаменитая программа меньшевиков, которая должна быть противопоставлена нашему строительству? Основные пункты ее следующие:

1. «Широкая денационализация промышленности и торговли», «переход за небольшими исключениями — промышленности в руки отдельных предпринимателей», причем для того узкого круга предприятий, который может быть оставлен в руках государства, такая мера может быть проведена лишь постольку, «поскольку ведение этих предприятий посильно для государства» (о том, посильно или непосильно для государств, например, оставление национализации нефтяных промыслов, судить должен, конечно, господин Детердинг, — иначе за что же он платит меньшевикам деньги?)

2. «Предоставление отдельным домохозяевам права свободного распоряжения находящейся в их владении землей» и «ликвидация так называемых совхозов». Столп меньшевизма Далин комментирует эту часть программы утверждением, что необходимо право «отчуждения единоличниками их прав на землю, как необходимый элемент свободного распоряжения землей».

3. «Ликвидация централизованных государственных торговых аппаратов, свобода внутренней частной торговли. Во внешней торговле — замена монополии внешней торговли государственным регулированием системы таможенных пошлин».

В коментариях к этой платформе «Социалистический вестник» указывал со ссылкой на своего вождя и теоретика Мартова, что восстановление разрушенного народного хозяйства в России будет совершаться преимущественно на капиталистических основаниях и при данных исторических условиях это наибо-

лее рационально. На почву этих взглядов целиком становится и новая платформа». («Соц. вестник» № 12-13 — 1924 г.)

Средства к достижению этих целей — иностранная военная интервенция, срыв нашего социалистического строительства, уменьшение нашей обороноспособности, расстройство снабжения населения, диверсионные действия навстречу иностранному военному вторжению. Деньги на эту работу получались от Второго интернационала, от военных иностранных штабов, от белогвардейской эмиграции. Все это доказано на суде с неопровержимой ясностью и показаниями подсудимых и свидетелей, и документами. Поэтому закончившийся в Москве суд имеет огромное международное значение в истории развития революционного движения пролетариата.

Близится к могиле буржуазно-капиталистический строй, все резче отграничиваются друг от друга партии, которые займут места по разные стороны баррикад в грядущем последнем и решительном бое. Второй «социалистический» интернационал и входящие в него соглашатели всех стран и наименований, меньшевики и социалисты-революционеры давно определили свое место: в защиту капитализма — против революционного пролетариата. Но капитализму не интересно жить на своем иждивении персональных пенсионеров Каутских, Вандервельде, Блюмов, Данов, Абрамовичей и Громанов. Он требует, чтобы они привели за собой часть рабочих, чтобы они раскололи единство пролетарского движения, чтобы к ногам буржуазии были приведены целые отряды, обманутые социалистической вывеской капиталистического предприятия распивочно и на вынос под фирмой «Второй интернационал». И Даны с величайшей готовностью выполняют этот социальный заказ. Они всеми силами и средствами скрывали от рабочего класса свои тайные договоры с махровой капиталистической реакцией. Теперь открылось перед всеми их истинное лицо во всей его предательской мерзости.

«Заграничная делегация» ЦК РСДРП (м) по понятным причинам страшно нервничала с момента ареста Громана и других. Ее особенно волновало известие о даче арестованными показаний. В «Форвертсе» от 12 сентября прошлого года Абрамович писал: «Особенное беспокойство вызывает утверждение Чека, что обвиняемые признали свои преступления. Что это невозможно — совершенно ясно. Но если Чека действительно обладает письменными признаниями, то они могут быть получены только благодаря пыткам. Это заявить во всеуслышание я считаю своим долгом».

«Вам никогда не удастся сломить дух нашей партии, тех ее членов и представителей, которые вели и ведут работу социал-демократии в России», — писал он в «Социалистическом вестнике».

По случаю ареста Громана и других были «приведены в движение» демократические круги Европы. Собирали подписи ученых и профессоров под протестом, Абрамович помещал статьи в «Форвертсе», Дан лаял из подворотни австрийской печати, Югов — в ряде берлинских газет. Громан, Шер, Якубович, Суханов и другие характеризовались, как честнейшие люди, заслуживающие полнейшего уважения, достойные всяческой защиты. Второй интернационал специальным письмом в Совет народных комиссаров взял всех подсудимых под свою высокую опеку. Но стоило этим самым подсудимым дать пролетарскому суду откровенные показания, как те же Дан, Абрамович и их присные стали обливать их вонючей грязью, заклеймили провокаторами, обрызгали ненавистью, стали называть их «отчаянными лгунами и дрессированными животными, лишенными малейшего чувства собственного достоинства». Они не ожидали разоблачений. Они с величайшим удовлетворением писали в № 17-18 «Социалистического вестника» (от 27 ноября пр. года): «От сооружения судебного процесса пришлось отказаться — несмотря на сознание арестованных», а в № 20 того же издания вздыхали с облегчением: «Они высланы в Соловки». Они торжествовали свою победу и переводили срочно для нужд сосланных деньги. И вдруг... все рухнуло, сбылись самые худшие опасения: их верные друзья нашли в себе остаток честности, чтобы хоть в последнюю минуту сказать всему международному пролетариату правду про Второй интернационал и про меньшевиков!

Даны и Абрамовичи завопили на все голоса про пытки и насилия и про лживость вынужденных этим путем признаний. Но негодность этой соломинки, за которую хватается в отчаянии ЦК меньшевиков, очевидна даже помимо категорического опровержения клеветы о пытках и насилии со стороны самих подсудимых. Четырнадцать разобщенных друг от друга подсудимых и все свидетели не могли выдумать того, что они рассказали на суде так подробно, без малейших противоречий друг с другом, в полном совпадении со всеми документами, со

статьями того же «Соцвестника» и органов иностранной социал-демократической печати, с заявлениями Рамзина, Ларичева, Кондратьева, Гвоздена, Некрасова и других свидетелей, с фактическими данными о вредительстве, документально подтвержденными отчетностью и официальной перепиской соответствующих наших государственных хозяйственных организаций. Такое исключительное до самых мельчайших деталей совпадение всех показаний и документов было бы невозможным, если бы они не соответствовали действительности. Подсудимые и свидетели говорили правду, — вот почему бесится «заграничная делегация» ЦК РСДРП меньшевиков.

Под судом находилось 14 человек, испытанных в боях против самодержавия, имеющих за плечами десятки лет пребывания в РСДРП, многочисленные аресты и ссылки при царском режиме. Из них никто и никогда не давал жандармам откровенных показаний, никто не становился перед ними на колени. Они не трусы.

Почему же они принесли перед нашим судом покаянную?

Они склонились перед пролетариатом. Они не нашли во всем СССР ни одной самой маленькой точки опоры, которая помогла бы им сохранить идеологическое равновесие, они чувствуют себя в полной изоляции от всего живого и творческого, они сознают, что трудящиеся СССР и всего мира вполне справедливо заклеймили их титулом врагов рабочего класса. Вот почему они сказали все, что знали, перед нашим судом. Вот почему они не смогли молчать перед лицом пролетариата.

Но предположим на минуту, что подсудимые ничего не сказали про инструкции о вредительстве и о подготовке интервенции, преподанные им под строжайшим секретом «заграничной делегацией РСДРП (меньшевиков)» во главе с Даном и Абрамовичем и одобренной целиком и полностью Вторым интернационалом (ведь Вандервельде в своем официальном письме Совнаркому СССР по поводу суда заявил, что «Исполнительный комитет социалистического интернационала беспрерывно находится в тесной связи с социал-демократической партией России и тщательно следит за ее деятельностью»). Предположим, что подсудимые не проронили ни одного слова о деньгах, полученных на контрреволюционную работу от «Промпартии» (т. е. от иностранных военных штабов и от белогвардейской эмиграции), от Второго интернационала, от Дана и Абрамовича и из других таких же помойных ям. Предположим, что мы не слышали подробнейших и неопровержимейших согласных друг с другом до мельчайших деталей показаний подсудимых и свидетелей. Остаются ли в этом случае у нас данные для того, чтобы определить роль Второго интернационала, как контрреволюционную, как целиком и полностью пособническую капиталистической реакции в ее стремлении задушить всеми способами и силами молодую Республику советов?

Обратимся к документам.

Хотя о действительных своих целях — реставрации в СССР капиталистической диктатуры — лидеры Второго интернационала, конечно, стараются умалчивать, но, помимо болтливого от дряхлости Каутского, помимо эквилибристических упражнений на страницах «Социалистического вестника» Данов и Абрамовичей, можно найти многое множество заявлений других видных участников и руководителей социал-соглашательских партий, в которых ослиные уши интервенции проглядывают с вполне достаточной ясностью. Ведь лидерам Второго интернационала все-таки приходится считаться с тем, что интервенция против СССР, подготовлявшаяся на 1930 год, не отменена, а лишь отсрочена, и что к моменту ее осуществления нельзя без предварительной обработки общественного мнения сразу открыто стать на сторону интервентов.

Труднейшая задача! Но ее приходится разрешать по мере сил и способностей вождям Второго интернационала.

Один из крупнейших руководителей этого учреждения — его секретарь Фридрих Адлер — писал в цюрихском органе швейцарских социал-демократов «Фольксрехт» 6 февраля 1929 года:

«Международный рабочий класс был бы теперь уже значительно дальше на своем историческом пути, если бы большевики в России не захватили власть».

Таким образом, советский строй характеризуется, как препятствие, как стена на пути к развитию пролетарского рабочего движения. Второй интернационал называет себя «рабочим» и «социалистическим». Входящие в него партии кричат о том, что они — революционны, что препятствия, стоящие перед пролетариатом, надо устранять путем насилия (так, по крайней мере, говорится в их программах). Но они готовы применить это насилие только против СССР,

по отношению же к капитализму предпочитают путь дружбы и соглашения.

Три строчки, написанные Фридрихом Адлером, разоблачают секретаря Второго интернационала, как сторонника интервенции.

Год спустя, в прошлом 1930 году, тот же Фридрих Адлер писал:

«Второй интернационал может принять активное участие в войне, если ее недвусмысленной целью будут интересы демократии и социализма».

Это — еще более яркое признание. Выше мы привели высокопарную напыщенную тираду из передовой статьи «Социалистического вестника» от 28 февраля этого года. В ней говорится, что только социал-демократия защищает интересы революции и социализма. Это повторяется всеми соглашателями. Следовательно, Второй интернационал устами своего секретаря обязался принять участие в подготовлявшейся меньшевиками вкупе с «Промпартией», иностранными генеральными штабами и белогвардейской эмиграцией войне против СССР. Цель этой войны— совершенно «недвусмысленна» и для нас, и для самих меньшевиков, и для Второго интернационала, и для всего рабочего класса. Меньшевики молчали только о том, что роль недвусмысленных восстановителей демократии они возложили на генералов Лукомского, Миллера и Жанена. У каждого свой вкус.

Председатель социал-демократической партии Швейцарии Эрнст Рейнгардт поместил в социал-демократической газете «Базелер Арбейтер Цейтунг» 27 февраля 1930 года статью о крестовом походе против СССР, в которой обвинял Советский союз в «подстрекательстве к войне». Рейнгардт заявил в этой статье, что в случае войны против СССР социал-демократические партии не будут являться «просто сторонниками или безвольными помощниками одной или другой воюющей страны, осторожно умалчивая о том, на чьей же стороне выступят эти социал-демократические партии. Думаем, что этот вопрос принадлежит к числу риторических, т. е. не требующих ответа. Ясно, что дело идет об едином военном фронте капиталистов и социал-демократов против СССР, причем социал-демократы обещают не «безвольную» помощь или идейную поддержку, а свое самое активное участие в удушении нашей страны.

Обработка общественного мнения в деле разжигания ненависти к СССР со стороны всей социал-соглашательской прессы и участие в подготовке против нашей страны военных действий не прерывалась ни на один день в течение всего периода существования СССР. Главнейшим орудием для этого являлись ложь и клевета. В последнее время, как известно, имел место целый ряд кампаний: призыв Римского папы, архиепископа Кентерберийского и других мракобесов к крестовому походу против СССР, военная авантюра на Китайско-восточной железной дороге, обвинения в «демпинге» и в применении у нас «рабского труда». И все эти кампании в первую очередь подхватывались социал-демократической печатью. Мы не знаем, какой из органов социал-соглашателей заслуживает медали за особое усердие: все они в бешеном соревновании друг с другом стараются забежать далеко вперед своих капиталистических хозяев и на все голоса вопят о полной справедливости измышлений по нашему адресу. Во время советско-китайского конфликта российские меньшевики не только полностью поддерживали китайских белобандитов, но и пытались представить СССР, как продолжателя старой царской колонизаторской политики. Меньшевик Гарви — постоянный передовик центрального органа германской социал-демократии «Форвертс» — в одной из своих статей бросал упрек капиталистической Европе в том, что она «слишком терпеливо относится к существованию СССР». В другой статье этот же Гарви защищал крестовый поход Ватикана против СССР, заявляя: «Большевизм не имеет никакого морального права отбрасывать протесты папы против религиозного террора», и призывал социал-демократические партии всего мира присоединиться к крестовому походу против СССР. Об этом же трубил «Социалистический вестник». Этот же «Вестник» призвал на свои страницы самых продажных экономистов, чтобы поддержать обвинения СССР в «демпинге», отвел множество страниц в защиту клеветы о рабском труде в нашей стране и т. д., и т. п.

Нет ни одного случая, чтобы Второй интернационал или какая-нибудь из входящих в его состав социалистических партий выступили в защиту СССР хотя бы в отдельном самом мелком случае. Они, провозглашая для наружного употребления призыв к установлению с нашей страной нормальных дипломатических и торговых отношений, делают решительно все, чтобы подготовить почву для применения иностранного оружия против нашего государства.

Меньшевики и социалисты-революционеры с величайшей готовностью выступают вместе с профессором Милюковым и другими белогвар-

дейцами в роли антисоветских экспертов перед любым капиталистическим учреждением любой страны, раз'езжают на деньги, полученные от капиталистов, по всему миру с клеветническими докладами об СССР, не отказываются ни от какой самой грязной работы, которая им поручается махровой реакцией. В связи с Московским процессом германская газета «Вельт ам Абенд» писала: «Общеизвестно, что во всем мире нет более свирепых врагов Советского союза, как Второй интернационал и в особенности германская социал-демократия. Социал-демократы вроде господ Гильфердингов цепляются за полы капиталистов. Каждые три месяца исполнительный комитет Второго интернационала принимает новые лозунги для травли Советского союза. Стремление германских социал-демократов к соглашению с Францией диктуется надеждой, что тогда, наконец, осуществится война против Советского союза при участии Германии. Теперь, когда их роль разоблачена, они впадают в бешенство». С другой стороны, консервативная печать Англии явно выразила свои симпатии к меньшевистской партии, открыто одобряя ее переход на путь активного участия во вредительстве и содействия интервенции.

Бытие определяет сознание, и мы находим все действия Второго интернационала меньшевиков и социалистов-революционеров вполне естественными: в борьбе против растущего коммунизма, против усиливающегося с каждым днем влияния наших братских коммунистических партий во всем мире, нет места промежуточной позиции, и капиталисты, социал-фашисты и соглашатели всех толков и наименований образовали единый контрреволюционный фронт, получивший такое полное освещение на Московском процессе.

Таковы факты, и показания подсудимых лишь раскрыли деятельность меньшевиков и Второго интернационала ярче и полнее.

Приговор Верховного суда по делу «Союзного бюро РСДРП меньшевиков» гласит в общей его части следующее:

«Во второй половине 1930 г. в Москве раскрыта вредительская организация, имевшая ответвления в различных частях государственного аппарата.

Во главе этой организации стояла группа, оказавшаяся «Союзным бюро» Центрального комитета русских социал-демократов (меньшевиков), входящих во Второй интернационал в качестве его секции.

Означенное бюро организовалось и утверждено своим Центральным комитетом в начале 1928 г.

В бюро вошли наиболее видные в своей среде социал-демократы (меньшевики), занимавшие по большей части ответственные должности в центральных учреждениях Советского государства, а именно: В. Г. Громан, В. В. Шер, А. М. Гинзбург, А. Л. Соколовский, Л. Б. Залкинд, М. П. Якубович, И. Г. Волков, К. Г. Петунин, А. Ю. Финн-Енотаевский и с начала 1929 г.—Н. Н. Суханов, причем руководящими лицами из них были: Громан, Шер, Гинзбург и Суханов.

Для ведения предательской и иной контрреволюционной работы бюро имело президиум, пленум и ряд комиссий: программную, организационную, военную и финансовую.

В тесном взаимодействии между «Союзным бюро» и заграничным меньшевистским центром за последние годы была выработана новая тактика борьбы русских социал-демократов (меньшевиков) с советской властью.

Являясь противниками пролетарской диктатуры и сторонниками восстановления капитализма в Союзе советских социалистических республик, что явствует из их платформы, принятой в Берлине в 1924 г., политически обанкротившиеся в период революции, участники гражданской войны на стороне царских генералов, капиталистов и интервентов, потерявшие всякую почву в рабочем классе, русские социал-демократы (меньшевики) рассчитывали на перерождение советской власти и восстановление капитализма в результате новой экономической политики.

Так как эти расчеты не оправдались, а советская власть повела решительное наступление на капиталистические элементы, успешно строя социализм в своей стране, русские социал-демократы (меньшевики) перешли к новой тактике, направленной на свержение советской власти путем вредительства в социалистическом хозяйстве и вооруженной интервенции.

Судебное следствие установило, что вредительство производилось всеми членами «Союзного бюро» и членами особых вредительских ячеек, созданных социал-демократами (меньшевиками) в ряде советских учреждений.

(Идет перечень вредительских действий в Госплане, ВСНХ, Госбанке, Наркомторге и Центросоюзе).

Судебное следствие установило, что, не имея никакой опоры в рабочем классе и бедняцко-середняцких массах в деревне, потерпев не-

удачу в попытках даже путем вредительства вызвать недовольство в массах и поднять их против советской власти, русские социал-демократы (меньшевики) пришли к признанию необходимости интервенции и к усилению вредительской работы в целях активной подготовки ее.

Эта установка на интервенцию возникла и у «Союзного бюро», и у заграничного центра русских социал-демократов (меньшевиков), причем последний настойчиво выдвигал эту установку перед «Союзным бюро».

Уже в конце 1927 года Абрамович и Дан, руководящие лица заграничного центра русских социал-демократов (меньшевиков), поставили перед «Союзным бюро» этот вопрос.

Летом 1928 года Абрамович, нелегально приехавший в Москву на совещание «Союзного бюро» русских социал-демократов (меньшевиков), настаивал на принятии интервенции как единственного выхода для русских социал-демократов (меньшевиков) в их борьбе против советской власти.

Так как «Союзное бюро» просило Абрамовича прислать из-за границы письменную директиву по этому вопросу, — такая директива была доставлена через Икова.

Приехавший в 1929 году так же, как и Абрамович, нелегально уполномоченный того же заграничного центра русских социал-демократов (меньшевиков) Броунштейн еще раз подтвердил, что заграничный центр взял курс на интервенцию и требует от «Союзного бюро» самой активной работы в этом направлении.

Второй пленум «Союзного бюро» осенью 1929 года обсудил директиву об интервенции и принял постановление о том, что «интервенция является необходимым орудием борьбы с диктатурой пролетариата, советской властью». И с этого времени вся работа «Союзного бюро» была подчинена этому постановлению.

Судебное следствие установило, что принятие курса на интервенцию и на вредительство, как средство ее подготовки, привело русских социал-демократов (меньшевиков) к заключению тесного политического блока с кулацко-эсеровской контрреволюционной партией Кондратьева — Чаянова и с «Промышленной партией», являющейся интервенционистской, шпионско-вредительской организацией крупной буржуазии.

Все эти контрреволюционные организации на совместном совещании своих руководителей в начале 1929 года распределили между собой функции борьбы с советской властью, а именно: «П р о м ы ш л е н н а я п а р т и я» взяла на себя через посредство находящейся в Париже организации бежавших от пролетарской революции русских крупных капиталистов (Манташева, Денисова, Рябушинского, Гукасова, Коновалова, Нобеля и др.) и именующей себя «Торгпромом» переговоры с интервенционистскими правительствами и их генеральными штабами, организацию подрывных (диверсионных) групп, формирование контрреволюционных элементов среди инженерно-технической интеллигенции и вредительства по отраслям промышленности: к у л а ц к о - э с е р о в с к а я партия Кондратьева — Чаянова взяла на себя организацию кулацких восстаний, снабжение повстанцев оружием и продовольствием, организационную контрреволюционную работу среди специалистов сельского хозяйства и вредительство в отраслях этого хозяйства. Р у с с к и е с о ц и а л - д е м о к р а т ы (м е н ь ш е в и к и) с одобрения своего заграничного центра приняли на себя вредительство в общем и специальном планировании народного хозяйства, конкретное вредительство в области заготовок хлеба и сырья для промышленности, распределения промышленных товаров, рабочего снабжения, а также в области финансирования и кредита; кроме того, они обязались при посредстве своего заграничного центра и Второго интернационала принять меры к подготовке такого общественного мнения трудящихся, а в особенности мирового пролетариата, при котором интервенция в Стране советов не встретила бы с их стороны сопротивления.

Судебное следствие установило, что для осуществления вредительской работы и оплаты непосредственного вредительства русские социал-демократы (меньшевики) договорились с контрреволюционной организаций крупной буржуазии — «Промышленной партией» о получении от нее денежной помощи, направляемой из Парижа от «Торгпрома» и связанных с ним империалистических кругов, и через казначея Центрального комитета «Промышленной партии» Ларичева получили в течение 1929 и 1930 гг. двести тысяч рублей.

Другим источником финансирования вредительской работы русских социал-демократов (меньшевиков) были германская социал-демократия и Второй интернационал; деньги из этого источника направлялись «Союзному бюро» через заграничный центр русских социал-демократов (меньшевиков) и технически через Финна-Енотаевского и Громана.

Из этого источника «Союзным бюро» центрального комитета русских социал-демократов (меньшевиков) было получено 280 тыс. рублей, кроме того, в начале вредительской деятельности были получены 20 тыс. рублей от Дана через Шурыгина Петуниным и 15 тыс. рублей — от «Промышленной партии» через Шейна Залкиндом.

А всего получено было 515 тысяч рублей.

Наряду с этим в судебном заседании выяснилось, что свою преступную контрреволюционную работу по подготовке интервенции и финансированию в этих целях вредительской работы «Союзного бюро» заграничный центр русских социал-демократов (меньшевиков) проводил с ведома и одобрения II Интернационала, прикрывавшего эту работу и оказывавшего через германскую социал-демократию им денежную помощь.

В то же время II Интернационал (Вельс, Гильфердинг, Блюм), двурушнически, лицемерно выступая против интервенции, развивал контрреволюционную деятельность против Союза советских социалистических республик, подготовляя тем общественное мнение рабочих к намеченной интервенции и помогая этим хищническим замыслам империалистов против Союза советских социалистических республик».

(Дальше следует перечень виновных и характеристика роли каждого из них).

Приговор произнесен. Едва за границу докатились первые известия о сделанных подсудимыми разоблачениях, как ускорился отлив рабочих от социал-демократических партий и переход их на сторону коммунистов. Многотысячные слои пролетариата в резолюциях стали выражать свое отношение к Московскому суду и ко Второму интернационалу.

Состоявшийся в Берлине 8 марта антифашистский конгресс, созванный Берлин-Бранденбургским областным комитетом союза борьбы с фашизмом и состоявший из 2100 делегатов (из них 70% беспартийных, 49 социал-демократов и 6 национал-социалистов) при участии 500 гостей обратился ко всем трудящимся города и деревни с призывом сомкнуть единый фронт против национал- и социал-фашизма, против всей системы капитализма, заявил, что «Германия будущего — это Советская Германия, свободная социалистическая страна», и единодушно постановил послать в Москву Верховному суду телеграмму с требованием осуждения империалистических агентов Второго интернационала, подготовлявших интервенцию и стремящихся к срыву социалистического строительства.

На с'езде трудящихся женщин в Берлине несколько десятков делегаток вступили в компартию.

Массовый митинг в международный женский день в Берлине при участии многих тысяч работниц принял резолюцию, в которой говорится: «Женщины-работницы возмущены контрреволюционной деятельностью Второго интернационала и в особенности германской социал-демократической партии, подготовлявших свержение советской власти с помощью русских меньшевиков. Мы заявляем всем врагам Советского союза, что на его защиту, на защиту отечества всех женщин-работниц, этого великого примера для всех эксплоатируемых, выступят миллионы женщин-работниц и за него отдадут свою жизнь».

Многочисленный рабочий митинг в Амстердаме послал телеграмму, в которой клеймит позором контрреволюционеров-меньшевиков и заверяет, что всеми силами будет поддерживать и защищать СССР.

Собравшаяся в Манчестере Всеанглийская конференция общества друзей СССР приняла резолюцию, в которой заявляет, что процесс меньшевиков в Москве указывает рабочим всего мира на необходимость неуклонной борьбы против Второго интернационала в защиту СССР, и приветствует ОГПУ.

Массовый митинг рабочих крупного паровозостроительного и машиностроительного завода Борзиг в Берлине принял единогласно следующее решение: «Рабочие завода Борзиг с возмущением узнали о неслыханном преступлении германской социал-демократии и ее меньшевистских друзей — Абрамовича, Дана и Гарви, которые в союзе с французскими поджигателями войны организовали и финансировали вредительство против Советского союза и стремились к интервенции. Рабочие завода Борзиг ответят всем врагам рабочего класса голосованием за красный список при выборах в фабзавком».

Это — только начало большой кампании, которая развертывается по всем мире и которая даст справедливую оценку вождям Второго интернационала и входящим в его состав партиям.

С целью как-нибудь ослабить впечатление от разоблачений лидеры «заграничной делегации» меньшевиков устроили в редакции германского «Форвертс» 6 марта прием предста-

вителей печати. Этот «прием» закончился крупнейшим политическим провалом. Вместо того чтобы доказать свою «невинность», лидеры меньшевиков подверглись перекрестному допросу со стороны представителей печати разных направлений и так запутались в противоречиях, что в итоге получился невиданный скандал для всего Второго интернационала. Они пытались свалить всю вину на Каутского, заявили, что в руководстве Второго интернационала имеются «крупные разногласия» по вопросу об отношении к СССР, и этим хотели спасти хотя часть лидеров интернационала, а прежде всего самих себя. Но они только что в тысячу первый раз писали на страницах «Социалистического вестника» о том, что вполне солидаризируются со своим вождем Каутским в его оценках, а всего несколько дней перед этим Абрамович на последнем социал-демократическом митинге в Берлине заявил, что «господство большевиков значительно хуже старого царизма».... В результате сам «Форвертс» предпочел ни одним словом не говорить о состоявшемся в стенах его редакции «приеме»...

Нам нечего говорить о том единодушном возмущении многомиллионных масс трудящихся нашего Советского союза, с которым они отозвались на предательство меньшевиков и Второго интернационала. Приветствия по адресу Верховного суда и ОГПУ льются широчайшей волной со всех сторон, из всех закоулков нашей страны.

В. И. Ленин писал (Соч., т. XXVII, стр. 13): «Меньшевики, как течение, доказали за период 1918—1921 гг. два своих свойства: первое — искусство приспособляться, «примазываться» к господствующему среди рабочих течению: второе — еще искуснее служить верой и правдой белогвардейщине, служить ей на деле, отрекаясь от нее на словах. Оба эти свойства вытекают из всей истории меньшевизма».

Эта краткая, но исчерпывающая характеристика подтвердилась целиком и полностью на Московском процессе в отношении не только меньшевиков, но и всего Второго интернационала.

Помимо сказанного, московский процесс имеет и еще одно значение. Подсудимые и свидетели, в том числе представители «Промпартии», заявили, что они старались всячески поддерживать «левый» и правый уклоны в рядах ВКП. Меньшевики авторитетно записали уже троцкистов в число своих идейных сторонников. Они видели помощь своей предательской работе в стараниях правых уклонистов искривить генеральную линию партии. Они правильно учли, что как правый, так и «левый» уклоны льют воду на их мельницу. И это служит лишним доказательством тому, что твердость, с которой ленинское руководство ВКП ведет борьбу с извращениями генеральной линии партии, не может быть ослаблена. В эпоху обострения классовой борьбы, в период мощного развертывания социалистического строительства в СССР и жесточайшего кризиса капитализма во всем мире, во время быстрой диференциации классов, приближающей час последних и решительных боев между пролетариатом и буржуазией со всеми ее прихвостнями, нет места мягкости и попустительству в рядах рабочего класса и больше, чем когда-либо, должны существовать монолитность и тесное единство всех трудящихся в деле защиты СССР от всех врагов, от иностранного нападения и на фронте нашего социалистического строительства.

Но самое блестящее подтверждение правильности оценки, сделанной Верховным судом в приговоре меньшевикам и Второму интернационалу, дал вождь его Карл Каутский в своей последней книге.

Книга Каутского «Большевизм в тупике» вышла в Берлине в издательстве меньшевистского «Социалистического вестника» с таким предисловием: «Издательство «Социалистический вестник» с радостью приняло почетное для него предложение Карла Каутского издать русский перевод его нового ценного труда о русском большевизме.

С согласия глубокопочитаемого автора русское издание книги сопровождается статьей Ф. Дана».

Ф. Дан в своей сопроводительной статье, носящей заглавие «Проблема ликвидации», называет Каутского «маститым главой марксистской школы».

Униженное раболепство, с которым меньшевики относятся к Каутскому, ничтожная личность которого так ярко охарактеризована Карлом Марксом в недавно опубликованном письме, об'ясняется лишь тем, что книга Каутского написана для подготовки общественного мнения к вооруженной интервенции против СССР. Для того, чтобы она лучше сыграла свою роль, Дан, Абрамович и компания распластываются перед Каутским, как католики перед римским папой, и всенародно целуют его пресвятую туфлю, называя его наместником Маркса. Они не ожидали, что через несколько дней после появления

книги Каутского будет широко опубликовано письмо Маркса, с таким презрением говорившего об их теперешнем учителе.

Длинные рассуждения Каутского о неспособности большевиков организовать народное хозяйство основаны на сравнении продукции промышленности России 1913 года с данными о промышленности за... 1920 год, и на основании этих данных, говорящих о том, что продукция составляет всего 7% от довоенной, что выплавка чугуна и стали упала почти до нуля в 1920 году, Каутский пытается доказать, что в 1931 году «для спасения революции» необходимо низвергнуть советскую власть! Правда, он по старости лет окончательно перестал понимать, где правая и где левая сторона, и сам откровенно признается: «Вопрос, что такое революция и что такое контрреволюция в Советской России, стал довольно-таки запутанным» (стр. 62). Уже одна эта фраза показывает, насколько «ценным» — как его аттестуют меньшевики — является весь «труд» Каутского. Но вывеска Карла Каутского еще не совсем выцвела и заржавела в глазах отсталых слоев германских рабочих, и меньшевики вместе со Вторым интернационалом стараются использовать ее целиком и полностью в интересах капитала.

Каутский писал эту книгу, еще не зная данных перед следственными органами пролетарского суда откровенных показаний Громана и компании о том, что «заграничная делегация» РСДРП (м) согласилась участвовать совместно с Рамзиным во «временном правительстве», которое должно было быть образовано после успеха вооруженной иностранной интервенции. Дан и Абрамович категорически опровергали правдивость этих показаний. Однако Каутский защищает такую коалицию:

«Я убежден, что в случае крушения большевизма в России ни одна из демократических и социалистических партий сама по себе не окажется достаточно сильной, чтобы самостоятельно составить правительство», — говорит он. (стр. 141). Пригласив дальше все враждебные большевикам партии столковаться и образовать единый фронт, Каутский продолжает: «Несоциалистические демократы России (какова осторожность выражений! Под это название целиком подходят и Струве, и Милюков, и Деникин, о которых, конечно, и идет речь. — Д. С.) вряд ли отвергают социализм в силу капиталистических настроений: они отвергают его потому, что не имеют доверия к социалистическому производству. Но какой-либо вражды к пролетариату, потребности угнетать его они не чувствуют. И они охотно согласятся дать рабочим по части социально-политических учреждений все то, что им хотят дать социалисты» (стр. 142. Разрядка моя. — *Д. С.*)

Среди примеров иезуитских очковтирательских выступлений социал-соглашателей в защиту капитала эти строчки должны занять, пожалуй, первое место. Деникин, Лукомский, Рябушинский и Манташев вкупе с Пуанкаре и Детердингом, как уверяет «маститый глава марксистской школы» Карл Каутский, вовсе не против социалистического производства, у них нет «капиталистических настроений», они не чувствуют никакой вражды к пролетариату или потребности его угнетать и охотно дадут ему все то, что хотят дать социалисты. Эту глупейшую и позорнейшую болтовню надо расшифровывать с другого конца. Дело не в честном слове любвеобильных Рябушинских и Детердингов, которым приглашает верить Каутский. Дело в том, что социалисты хотят дать рабочему классу только те охвостья «социально-политических учреждений», которые согласны выбросить ему капиталисты. Их программы совершенно одинаковы. Другого толкования нет и быть не может. Что это именно так, доказывается последующими словами Каутского:

«В общем, социальная политика капиталистических стран стоит выше социальной политики Советской России. Одной из важнейших задач победоносной демократии в России будет—дать русским рабочим все, чем уже пользуются их братья в отдельных странах Запада: широкую охрану труда, солидное жилищное строительство, независимость фабрично-заводских комитетов от администрации предприятия, полную свободу профессиональных союзов и страховые пособия на случай безработицы, болезни, инвалидности и старости» (стр. 143).

Повидимому, Каутский твердо рассчитывал на то, что книга ни в коем случае не попадает в СССР и не станет известной нашим рабочим. Иначе ничем нельзя об'яснить слишком уже откровенную наглость его заявлений, слишком бесспардонный цинизм. В эпоху жесточайшего кризиса, когда 35 миллионов безработных рабочих и свыше 60 миллионов членов их семейств буквально умирают с голода, лишенные каких бы то ни было пособий по безработице, когда капиталисты вышвыривают их на улицу

за неплатеж квартирной платы из их жалких конур, когда количество жертв от несоблюдения капиталистами правил технической безопасности усилилось во много раз, когда мы постоянно читаем о массовых катастрофах в шахтах Англии, Германии и других стран, происходящих от нежелания капиталистов нести расходы на охрану труда, когда находящиеся в дружеских отношениях к Карлу Каутскому лидеры Американской федерации труда заявляют, что голодающему пролетариату Америки не надо выдавать от государства никаких пособий по безработице, так как такая выдача «оскорбляет достоинство» рабочих, — в это время говорить о преимуществах капиталистической системы рабочего законодательства перед советской может только продажный политический спекулянт. Дополняя показания меньшевиков перед нашим Верховным судом, Каутский — в полный унисон с ними — убеждает в прекраснодушии Рамзиных, Лукомских и Детердингов. Еще бы. Эти господа — вместе с Каутским — заботятся только об интересах рабочего класса, и в этих их заботах им деятельную поддержку оказывает Второй интернационал. А если они собираются устроить пролетариату СССР кровопускание, то это только для блага и счастия рабочего класса!

После победы белоэмигрантской и капиталистической интервенции наступит в России буквально золотой век: «Осуществление демократической программы, — говорит Каутский, — полностью обеспечит личность от начальственного произвола и гарантирует все виды собственности, признанной законом» (стр. 143). Какие именно виды собственности и каким именно «законом» — об этом он благоразумно умалчивает. «**Победа демократии в России не только откроет мировой промышленности российский рынок. Она будет в чрезвычайной степени способствовать и быстрому расширению этого рынка**» (стр. 150—151), — захлебывается он от восторга. (Разрядка моя. — *Д. С.*)

Здесь центр тяжести «золотого века», и обещания Каутского в этой части ничем не отличаются от заманчивых перспектив, которые рисовал в «Возрождении» Рябушинский, приглашая капиталистов затратить несколько сот миллионов на вооруженное завоевание СССР и обещая в первый же год 600% прибыли на затраченный капитал. Россия станет иностранной колонией. Золотой век... Для капиталистов.

Но так говорит Каутский. Может быть, Дан и Абрамович с ним не согласны? Ничуть не бывало! В сопроводительной статье к лакейской книге Каутского лакействующий перед этим старым лакеем Дан говорит: «По существу формулированных Каутским экономических и политических требований мало что можно возразить: они почти до деталей совпадают с требованиями нашей партийной платформы» (стр. 168). Что же мешает осуществлению этой спасительной для рабочего класса платформы?

«На пути всему этому благодетельному развитию стоит непроходимая каменная громада большевизма. Убрать большевизм с дороги и заместить его демократией — значит открыть путь к расцвету не только России, но и всей Европе» (стр. 152), — говорит Каутский. «Мы в праве думать, что если в России подымется и победит демократическое движение, то и для всей Европы получатся от этого великие результаты: преодоление кризиса, усиление социалистических партий, разоружение, Пан-Европа. Все это и сейчас уже подготовляется в Европе, но наталкивается на сильные препятствия со стороны тех, кто господствует сейчас в России» (стр. 159-160).

Мы очень благодарны Каутскому за то, что он вполне компетентно подтверждает все те факты, которые угрозой стоят перед нашим мирным строительством, перед всемирным пролетариатом и которые говорят о деятельной подготовке иностранных капиталистов к нападению на нашу страну. Капитализм не в состоянии справиться с жесточайшим кризисом, грозящим ему чрезвычайными осложнениями. Он лихорадочно ищет и не находит выхода. Каутский подсказывает: преодоление кризиса явится последствием разгрома СССР, и говорит: «**Все это сейчас уже подготовляется в Европе**». Но это же самое говорили и Рамзин, и привлеченные к суду меньшевики, от которых пытаются откреститься Дан и Абрамович, выражающие свою полную солидарность с Каутским. Почему же они его не заклеймили бранью, не назвали наглым лжецом, как они сделали по этому же самому поводу по адресу Громана и компании?

Наоборот, Дан в своей сопроводительной статье говорит: «Великая заслуга Каутского состоит в том, что он не перестает звать СРИ (Второй интернационал) к действенному отношению к проблемам мирового рабочего движения и особенно движения российского» (стр. 166). Мы ясно видим, каково это «дейст-

венное отношение». Оно выразилось прежде всего в денежной поддержке вредителей меньшевиков и интервентов.

Однако Каутский не верит в подпольную возню меньшевиков внутри нашей страны. Он предпочитает более «действенные» методы, о которых полными словами не говорит, но которые с очевидностью вытекают из всей его книги.

«Сам многоуважаемый наш учитель, — жалуется Дан, — так сурово критикующий работу нашей партии, считает успех этой работы весьма мало вероятным, но все же «не совершенно исключенным». И этого одного достаточно, чтобы продолжать эту работу с неослабевающей энергией. Только сам ход событий покажет, увенчается ли она непосредственным успехом. Но в ней во всяком случае залог того, что, как бы ни сложился завтрашний день, будущее и в рабочем классе России будет принадлежать социал-демократии» (стр. 193. Разрядка везде Дана). Верьте, кто может!

В одном Каутский прав: все эти кровавые замыслы капитала и его наглых продажных слуг, именуемых Вторым интернационалом и имеющих в своем первом ряду старого Каутского, наталкиваются на «сильные препятствия» со стороны тех, кто господствует сейчас в России, т. е. со стороны рабочего класса. И не только России, прибавим мы, но и всего мира. Книга Каутского внесет — наряду с закончившимся в Москве процессом меньшевиков — ясность в сознание пролетариата, и никакие наклейки на Каутского ярлыка «маститого вождя марксистской школы» не спасут ни его, ни наклейщиков, ни Второй интернационал от клейма подлейших предателей рабочего класса.

А на пути к осуществлению мечты капиталистов о превращении СССР в их колонию и о разгроме мирового революционного рабочего движения непроходимой каменной громадой стоит и останется большевизм, под руководством которого международный пролетариат даст последний и решительный бой мировому капиталу и победит, как победил он в СССР.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Три очерка

С. Гехт

500 ЛОШАДИНЫХ СИЛ

1

Из Америки идут пароходы. Наши порты ждут прибытия двенадцати больших кораблей, нагруженных тракторами. Это все голубоватые, с лебединой шеей, джон-диры. В каждом тонкошеем тракторе десять-пятнадцать лошадиных сил. Отдельно идет (он на-днях пришел) пароход с запасными частями. Брюхо корабля, ушедшее в воду по самую диафрагму — ватерлинию, спрятало в себе десятки тысяч цилиндров, полуосей, втулок, шарикоподшипников. В портах лежат разнарядки Трактороцентра. Сотни новых машинно-тракторных станций должны получить свои машины прямо из портов. Каждая станция должна получить 500 лошадиных сил. 500 лошадиных сил — это 33—35 джондиров.

Любя метафоры, я пошел по несколько опороченному пути антропоморфических сравнений. Друзья скажут: вот еще, лебединая шея трактора! Как это невежественно сравнивать машину с живым существом. Эти животные образы о чем свидетельствуют? О том, что она — машина вам чужда.

А по-моему, неверно. Не знаю, какая то была марка, но на-днях я увидел на улице тигрообразную машину. Кузов ее растянулся, будто готовый к прыжку. Машина словно притаилась. Я подумал: тигр. Простите за антропоморфизм, я так подумал. Подумавши, взглянул на передок. И что же? Над поблескивавшей крышкой мотора торчала стальная фигурка, изображавшая тигра. Тигр растянулся, притаился, он был готов к прыжку. Фигурка была символом машины, она была привинчена к передку по воле фирмы.

С голубоватым джон-диром, носящим свое имя на боку, с этим иностранным гостем-помощником связана вторая большевистская весна. Еще только входит в жизнь Сталинградский Тракторный, еще пусты цеха Харьковского Тракторного, еще мало «Красного путиловца» и других наших старых, специально не приспособленных заводов для утоления большой машинной жажды 1400 машинно-тракторных станций. Из всей этой суммы только 160 имеют год от рождения, остальные еще не получили трудового крещения. Но, не успев еще перепахать заново свои 40 000 гектаров (доля каждой из них), они сумели уже перекроить быт колхозов и отдельных усадеб, на этих 40 000 гектаров расположенных. И перекроить — и укрепить.

2

Первая большевистская весна, весна 1930 года, пришла, обросшая репьем перегибов, водорослями извращений. Корабль коллективизации вплыл в тридцатый год, облепленный ракушками, тиной, грязью морского дна. Ходок из будущего пришел в тридцатый год с отяжелевшими от дорожной пыли башмаками. Весна 1930 года была великим проявителем. Она проявила веками, если не тысячелетиями, если не с времен первобытного коммунизма — скрытые возможности коллективной жизни; в темной пленке инерции проявила она элементы движения, элементы созидания. Проявленное надо было укрепить. Тем более надо было укрепить, что мешала дорожная пыль, мешали ракушки, водоросли, зелено-ржавые волосья тины.

Роль укрепителя была вручена машинно-тракторной станции.

Об этом говорит судьба станций Молочанского района, судьба Вальдгейма, судьба степных немецких колоний.

Две железных дороги — Южная и Екатерининская — соединяются между собой стокилометровой веткой. Она называется Токмацкой и проходит по немецким и украинским районам, от станции Федоровка до станции Пологи. Здесь степь была богата, здесь многие немцы жили весьма сытно, здесь было среди украинцев много разных укапистов, махновцев, щирых. Тут густо разводились немецкие проповедники, тут раз'езжали шумливые махновские тачанки. Здешняя немецкая столица — город Молочанск. У этого города три имени. Он еще называется Полугород и Halbstadt (Албсштадт). Вокруг Молочанска разбросаны просторные немецкие села: Вальдгейм, Гиршау, Розенфельд, Гнаденфельд, Александрталь, Шардау, Порденау и много других. В селах — фруктовые сады, высокие дома, крытые волнообразной черепицей или расчерченным на клетки цинком, заборы из розового камня. И огромные голубые помещичьи дома, превращенные в сельсоветы и школы. И прохладные просторные молитвенные здания с удлиненными окнами и обширными лестницами. В селах живут немцы-меннониты и выходцы из меннонитов.

3

Вы, конечно, помните тот шум, который был поднят нашими врагами вокруг меннонитов. Это было в прошлом году. Некоторые семейства бежали из России. Они бежали от коллективизации. В Германии их встретили с агитационным шумом, но загнали в бараки и довели до сыпного тифа. Многие погибли, многие просили о возвращении домой и снова очутились в Союзе советов. Кампания утихла, и вряд ли помнят о ней на Западе. Зато мы, следящие за всеми маневрами наших врагов, хорошо ее помним.

Молочанский район — это и есть то самое место, откуда бежали меннониты. Были среди бежавших и такие, что убежали по праву,— немецкие кулаки, увидевшие в весне 1930 года свою близкую гибель. Но были и середняки и даже бедняки, и в их бегстве виноваты были немецкие проповедники и многие наши районные администраторы, закачавшиеся на хлынувшей волне перегибов и извращений. В Молочанском районе случилась частая для прошлой весны история: дутый прилив, отлив, снова прилив, но уже освобожденный от релья, от водорослей, от всего комплекса административных ошибок. Степные силы, степные возможности были проявлены. Более половины хозяйств добровольно вошли в колхозы. Надо было проявленное укрепить. Так появились тут прошлой весной машинно-тракторные станции.

Слухи о станции быстро пошли по селам. В первые же дни жизни Вальдгеймовской станции эмиграция совершенно прекратилась. Станция заинтересовала всех, но вначале отношение к ней было полувраждебное. Как осторожно подходили колонисты! Например, станция об'явила:

— Колхозы должны дать нам 150 человек для обучения тракторному делу. Через короткое время они станут младшими рулевыми.

Сейчас колхозы выделили бы вдвое больше, но тогда было туго. Станция еле набрала 40 человек.

Когда станция стала заключать договоры, то получалось, что явно выгодный для колхозников договор во многих местах проваливался. Так было в Александртале. Никаких возражений, но...

— Посмотрим, как у других получится.

И вместо того, чтобы получить в работу сплошной массив, вместо того, чтобы двинуть свои тридцать три джон-дира с прицепленными к ним плугами, букерами, боронами и сеялками, станции достались клочья, раздробленные участки, и ей пришлось разбросать свои машины, угробливая много времени и горючего на передвижение тракторов с места на место. И все же: вместо 3000 га черного пара станция подняла 4833 га и вместо 4758 га зяби — 7766 га.

Что увидели немцы-меннониты?

Они увидели, что хотя станция берет за всю свою работу четверть урожая, доходы колхозов, непомерно облегчивших свой труд, ничуть не уменьшились. Наоборот, увеличились. Вальдгеймовская станция сразу же вспахала 1600 га целины залежей и перелог. Первая же осень принесла резко увеличенный урожай, давший возможность почти вдвое выполнить хлебозаготовки. Это увидели и меннониты-колхозники и меннониты-единоличники. Колхозники дали необходимых станции людей, многие колхозы шагнули на одну ступень выше по колхозной лестнице, то есть перевели себя с созовского устава на артельный. Единоличники же стали подавать заявления в МТС об обслуживании их. Но нынешние станции уже не прокатные пункты и работают только по генеральным договорам и только с колхозами. Тогда

единоличники стали записываться в колхозы.

Район Вальдгейма стал районом сплошной коллективизации. Только 4% не состоят в колхозах. Это торговцы и проповедники. Кулаки остались за границей. Они не вернулись домой. Они перекочевали из тесной и негостеприимной Германии в Америку, где снова начали свой путь собственника, не пожелавшего сдаться.

Что еще увидели немцы-меннониты?

Они увидели, что благодаря станции стали на их полях, где раньше росла одна пшеница, появляться богатые чужеземцы. Так появилась на Мелитопольщине прославленная сейчас в Москве китайская соя. Появились травы — корм для скота, не размножавшегося здесь из-за бескормицы, появился табак. И наконец меннониты увидели несостоятельность своих проповедников. Меннонистский проповедник — не поп и не пастор. У него обыкновенная мужицкая одежда. Чтобы распознать его, надо взглянуть ему на руки. Они — белые, непокоробленные, гладкие. У проповедника есть усадьба, но нет хозяйства. Нет хозяйства, но есть жена, ведущая счет приношениям. Вальдгеймовский проповедник говорил:

— Они сажают сою. Не выйдет.

— Почему, брат Генрих?

Меннониты называют друг друга братьями.

— Я сою знаю. Это китайский боб. Вот увидишь — не выйдет.

Закатилось лето, пришла осень. Соя хорошо уродилась. У одного из вальдгеймовских братьев в глазах — усмешка.

— Ну, брат Генрих?

Проповедник преодолевает свое смущение.

— Нет, — говорит он, — брат Рихард, это не соя. Это — чумиза.

И стал угрожать, что в будущем году будет неурожай. В этот год удалось, мол, спастись от господнего гнева, земля уродила по инерции, бог еще не раскачался.

Господь-бог еще не раскачался, но брат Рихард уже покачнулся в своей вере. Соя выросла, и брат Рихард как-то охладел к просторному и прохладному молитвенному дому с его темной мебелью и удлиненными окнами.

Житель села Гиршау Пауль Гинкель рассказывал мне, что станция привлекла его сердце любовью к труду и полной заботой о машине. Гинкель сознался:

— Вы знаете, товарищ, я боялся, что это будет брошенное хозяйство. Вы понимаете, — ничье.

— Ну?

— Нет, товарищ, это не брошенное хозяйство. Действительно ничье, но общее.

Я вспомнил: то его была подвода, когда мы застряли в степи около Гнаденфельда. Нас закружила степь. Сначала было тепло, потом пошло курить, как говорят здесь, пошло мести, гудеть, заливаться. Наша машина мчалась чистым полем, снег лежал отдельными крупинками, впереди была черная, лишенная снежного покрова земля; но пошло мести и нанесло, и нанесло, так что наша легковая машина плотно зарылась в сугроб. А вьюга только расходилась. Шел вечер, вьюга свирепела, степь охватывал мороз.

Мороз больше всего беспокоил шофера. Мы все были в тулупах — и шофер, и женщина-агроном с Вальдгеймовской станции, и я, человек приезжий. Наша пляска вокруг погружавшейся в снежную могилу машины продолжалась уже около часа. Шофер стал все чаще качать головой. Он был бедняк-меннонит из села Шардау. Его обучила станция. Его колхоз, как и большинство здешних колхозов, назывался Фрайат.

— Э, — сказал шофер, качая головой, — машина может замерзнуть.

В самом деле, пока встретится подвода, которая поможет нам лошадью или лопатой, машина может замерзнуть. И шофер из колхоза Фрайат, что в селе Шардау, снял свой тулуп и накрыл им мотор. Сам он остался в довольно худощавой курточке. Пляска вокруг машины увеличилась.

Через некоторое время шофер жалобно посмотрел на женщину-агронома. Меня, как приезжего, он, видимо, не решался беспокоить. Агрономша наша поняла и стала сбрасывать с себя тулуп. Я, конечно, не позволил ей и оголил себя, оставшись в жалком, продувном (в том смысле, что продувало), грубошерстном москвошвеевском пиджачке. Впрочем, скоро, — думал я, — придет черед и нашей спутницы.

Нет, ей не пришлось мерзнуть. Уже готовилась она скинуть тулуп, как из вьюжной тьмы вынырнула подвода Пауля Гинкеля из Гиршау. Его очень растрогали наши заботы о машине. Он так и говорил мне потом.

— Ваши заботы о машине привлекли мое сердце.

Пауль Гинкель распряг своих лошадей и помог нам выбраться из сугроба. Машина была тепла, мы легко двинулись вперед, снова уйдя в свои тулупы.

ПОТЕРЯННОЕ И ВОЗВРАЩЕННОЕ СОБРАНИЕ

На станции Лосьево, под Харьковом, к кассе подошел парень. Он постучал в окошко.

— Чего? — спросил кассир.

Надо тут же сказать, что станция Лосьево расположена в районе Харьковского Тракторостроя. Когда парень подошел к кассе, он почувствовал себя окруженным плотной толпой. Все были строители Тракторостроя, сезонники.

Парень чуть виновато посмотрел на всю толпу невольных слушателей и ответил:

— Билет дайте. У шахты.

Кассир высокомерно пожал плечами и захлопнул окошко.

— Шахт много, — сказал он, — ты мне станцию назови.

Парень обратился ко мне. Он просил назвать ему какую-либо станцию в Донбассе. Он сказал: все равно какую, была бы шахта. Я стал перебирать: Горловка, Никитовка, Любимовка, Сталино, Артемовск, Магдалиновка... Он молча слушал, молча выбирал. Потом решился и снова постучал в окошко.

— Надумал? — спросил кассир.

Парень покачал головой.

— У Любимовку, — ответил он, вытаскивая узелок с деньгами.

В это время шевельнулся стоявший рядом со мной сезонник. Он взял парня за локоть.

— Хлопец, — сказал он, — а хлопец!

Тот обернулся.

— Ты зачем бежишь? — продолжал мой сосед. — Надоело тебе здесь? Притомился?

Парень избегал его взглядов. Он считал деньги, сбиваясь со счета. Путались, перепрыгивая друг через друга, медные пятаки.

— Ты ведь на работу в шахты едешь? На работу ведь? — допытывался сезонник.

— На работу, — согласился парень.

— А чем тебе у Тракторострою плохо? Разве у Тракторострою работы не хватает? Ты значит, летун?

Парень, видимо, с боязнью ждал этого слова. Он вздрогнул.

В разговор вмешался еще один голос. Он шел из толпы, и не видно было, кто говорит. Голос спросил:

— Ты мне, хлопец, скажи, когда завод будет окончен?

Хлопец знал.

— В июне, — ответил он.

— Ну вот, в июне и поедешь, — сказал голос, — а пока работы хватает. Это не дело будет, если каждый возьмет да побежит.

Завязался большой разговор. Стало на станции шумно, так что едва был слышен сердитый голос кассира.

— Ну что, — кричал кассир, — давать билет или не давать?

Он оглядел растерянного парня, растрепанный его узелок и всю задвигавшуюся толпу.

— Давать билет или не давать?

— Ни, не треба, — испуганно ответил парень и попятился в сторону со своим узелком.

Так парень-летун был остановлен в своем бегстве в самую последнюю минуту. Тут я вспомнил о плакате, который торчит у ворот Тракторостроя. Плакат спрашивает: Куда?! — вопрос обращен к покидающему завод летуну. Плакат этот достаточно неряшлив, невразумителен, жалок. Кроме того он одинок, на всей огромной территории завода я не встретил больше ни одного (даже такого!) плаката. Кроме того, завод имеет сколько угодно выходов, и летун так и не увидит этого плаката, застрявшего у формальных ворот. Кстати, через них меньше всего проходит народу. И единственный этот плакат выглядит, как чиновник. В нем нет и тени того дружеского контроля, какой нашелся у случайных сезонников, случайно толпившихся у кассы станции Лосьево.

Об'езжая нынешней зимой машинно-тракторные станции на Мелитопольщине, я как нельзя нагляднее видел, сколько вреда может принести и приносит нам равнодушное чтение генерального договора МТС с колхозами, сколько вреда может принести нежелание раз'яснить, желание поскорей закончить собрание, поскорей подписать договор, поскорей пробежаться по всем тридцати пунктам договора, не зацепившись ни об один из них.

Унылое впечатление произвело на меня общее собрание колхоза «Вольна робитниця» в селе Верхний Токмак, в районе Верхнетокмацком. Село называется еще Вершина; оно представляет собой одну длиннейшую улицу, растянувшуюся вдоль балки. Здесь почти все вступили в колхоз; не вошли одни лишенцы. Подумайте, мы ехали туда на важное дело: предстояло заключение генерального договора. Я рассчитывал, что это событие будет окружено

особым вниманием, что к нему будут готовиться.

Кто? Машинно-тракторная станция, во всяком случае.

Уже было далеко за полдень, а мы все еще топтались на дворе Черниговской МТС, куда входит колхоз «Вольна робитница». Агроном заседал. Наконец мы выехали. Когда, олицетворенные ветряными мельницами, показались форпосты колхоза, был поздний вечер.

Мы разыскали председателя. Он, оказывается, не знал, что мы приехали. Мы наскочили, как ревизоры.

Колхозники уже давно кончили работу, уже поужинали. В домах потухали огни. Поработав, люди готовились ко сну.

Видя такое, я предложил агроному:

— Надо перенести собрание. Сейчас будет мало толку, одна канцелярщина.

Агроном гордо на меня посмотрел.

— Знайте, — сказал он, — что я работаю тринадцать лет, и за все эти тринадцать лет у меня еще не бывало, чтоб я отложил собрание. Вот.

Кого не умилила бы его военная решимость.

Не торопясь, он сел поговорить с председателем колхоза. Когда речь шла о шестипольном севообороте и об усиленном травосеянии, из уст его можно было услышать много небезинтересных и полезных вещей. Но неожиданно он оборвал председателя колхоза на полуслове.

— Послушайте, товарищ Черненко, как вы назвали ваш колхоз?

— «Вильна робитница», — ответил председатель.

Агроном поморщился.

— Какое же это название? Послушайте, назовите вы ваш колхоз «Вильный робитник», ладно? А то неудобно.

Я после все собирался спросить глуповатого агронома, почему колхозу неудобно носить имя женщины-работницы, собирался, да не успел. Название же это отнюдь не было случайным. На собрании я увидал очень много работниц, они выступали, одна сидела в президиуме, другую тут же выбрали в какую-то комиссию.

Видно, верхнетокмацкие колхозники не были согласны с поучавшим их агрономом.

Уже все небо было в звездах, как в кочках, когда по деревне промчались два всадника. Их послал председатель. Они неслись вдоль балки, сзывая людей на собрание.

— В театр! — кричали они. — На загальни збори!

Разомлевшие было дома стали понемногу шевелиться. Признаться, я никак не ожидал, что соберется кворум. Привыкший к учрежденским собраниям, я полагал, что из 90 колхозников в лучшем случае придет человек тридцать. Но через полчаса их было уже больше. Я насчитал около шестидесяти человек и удивился, почему не начинается собрание. Когда же прибавилось еще десятка полтора, я высказал свою мысль вслух.

— Товарищ Черненко, — спросил я председателя, — почему же вы не начинаете?

Он стал водить пальцем по темному и холодному сараю, из которого наспех сколачивался театр.

— Шестьдесят пять... — считал он, — семьдесят два, семьдесят девять...

А народ все прибавлялся.

— Восемьдесят шесть, — закончил свой счет председатель.

— Ого! — сказал я.

— Еще не все пришли, — сказал председатель, — трошки подождем.

Трошки подождем! Если бы в колхозе были часы, они показали бы десять часов вечера.

И что же — пришли все девяносто. Тогда пошло вертеться колесо упрощенного всеобщего советского парламентаризма.

— Итак, — сказал председатель, — у нас сегодня наскоро. На повестке дня мы маемо десять вопросов.

Уверяю читателя, что это не анекдот. В десять часов вечера начиналось собрание, где ожидаемое событие (я же не был еще знаком с бюрократической инерцией эмтеэсовских работников и колхозных правленцев) стояло седьмым вопросом. До него шли следующие вопросы:

1) Оборудование театра.

2) Заявление т. Шуйко об обмене ему свиньи на кабана.

3) Просьба т. Сухотко о разрешении продать забракованную лошадь.

И еще другие вопросы. Приближение договора ознаменовалось полуночью. В Москве в это время, кто не спит и у кого есть радио, слушают бой Спасских с «Интернационалом».

Зал устал, коптилка освещала сонное шевеление голов. В задних рядах у кого-то уже смежились веки. Но упрямый агроном показывал класс упрямства. Он разворачивал перед залом весь свой опыт рыцаря от канцелярии.

Пункты договора летели в зал один за другим, ничуть не изменяемые, с печатью всей бумажной неодушевленности.

— Итак, — говорит агроном, — станция обязуется предоставить колхозу тракторы со всеми прицепными орудиями, а по мере выпуска нашей промышленности — и комбайнами...

Выпустив в зал первый пункт, агроном для приличия замолчал. Молчало и собрание. Воспользовавшись неловкой минутой, агроном перескочил на второй пункт, с него на третий, с третьего на четвертый, с четвертого на пятый. А зал... Зал не успел разжевать ни одного из них, зал был в тисках казенщины, клынувшей из района.

— Итак, — продоложал агроном, — пункт шестой. Все без исключения полевые работы, в том числе работы на тракторах, выполняют сами колхозники. Порядок организации рабочей силы устанавливается станцией. Понятно? Итак, пункт седьмой. Колхоз обеспечивает беспрерывное производство срочных полевых работ... если нужно, и в ночное время. Понятно? Итак, пункт восьмой.

Однако, сорвалось!

Рухнул казенный план моего агронома: сварганить (тут это липкое слово к месту) подписание договора в 20 минут. Тринадцатилетний, видите ли, опыт.

— Треба растолкуваты, — сказал женский голос.

Она сказала это чуть с опаской и раскачивая руки, чтоб не разбудить разлегшегося на этих руках младенца.

Агроном спросил:

— Чего?

Колхозница с ребенком повторила:

— Растолкуваты треба. Як так у ночное время? День и ничь робиты?

Зашевелился весь зал. В дальнем углу расклеились слепленные веки. Вопрос колхозницы отозвался на всех скамьях, он отозвался сочувственным шопотом, недоумением, слышимой улыбкой, откликом: «Да что ты, Мария!», поднятой рукой вдовы Бондаревой. И заплакал ребенок. Он проснулся в полночь.

Председатель колхоза сказал:

— Я сейчас об'ясню.

Но его перебила вдова Бондарева. Она нашла в темноте закутанное лицо Марии.

— Вот я работала у городу! — сказала вдова, — на фабрици работала. А на фабрици така справа, что люди роблять и день и ничь. Так це ж не одни люди: один робить день, другой робить ничь. Це зміна, розумієшь? На нашей фабрици було три зміні. Кажна зміна робила висемь годин.

— Ось тобі и день и ночь робиты, — закончил за нее председатель.

Агроном стоял в это время в стороне. Он перебирал пальцами складки портфеля. Так перебирают клавиши. Он ждал, когда кончится эта канитель и можно будет снова разбежаться по оставшимся пунктам.

Колхозница Мария села на свое место. Она сказала этим: ей все ясно. Опустившись на скамью, она достала из подола соседки горсть подсолнухов и стала щелкать. Агроном обиделся.

— Я бы попросил, — сказал он, — насині не лускаты.

Смущенная Мария выронила всю горсть подсолнухов.

Следующий пункт говорил о массовых работах по борьбе с вредителями и сорняками по первому требованию станции. Агроном не успел сказать сове: «понятно... итак», как его остановили.

— Треба побалакаты, — сказали в зале.

И колхозники стали балакать. Разыгралась прежняя сцена, это значит: молчал агроном, пытался говорить председатель, а говорили между собой колхозники. Что выяснилось, например! Оказывается, были такие, что впервые слышали о договоре с машинно-тракторной станцией и только сейчас начинали понимать. Один из тех, о которых агроном думал, что им все с налету понятно, даже не понимал, почему генеральный договор.

— Як же так, — сказал он, — генералов нема, а договор генеральный?

Председатель, наконец, взял себе слово.

— Генеральный договор, — об'яснил он ему, — це договор важливый, це перший для нас договор.

Вот когда кстати было бы спросить: понятно? Никто, однако, не спросил. Колхозник, впрочем, ответил сам:

— Понятно, — сказал, он, — це перший для нас договор. Важливый.

Когда зал чуть утих, агроном снова выступил вперед. Минутной паузой он воспользовался, как брешью в стене осажденного города. Он прорвался через эту паузу, заполнив ее своим огульным голосом.

— Итак, — сказал он, — пункт девятый.

Тут его перебил самый бесхитростный из колхозников, кого так удивило, что договор

называется генеральным. Он сказал, довольно хитровато улыбаясь:

— Це для нас важливый договор? Важливый. Треба его гарно раэжуваты? Треба. А зараз ми маемо другу годину.

В самом деле, было два часа ночи.

Выступавший был поддержан всем собранием. Собрание высказалось за то, чтобы продолжение договора перенести на завтра. И тут образовалась такая сплошная стена, что обиженный агроном не нашел в ней ни единой бреши-паузы. Прежде чем он нашел ее, предложение колхозника было проголосовано.

Ночью мы ехали назад в район. В степи был буран. Трещал лед. Кони расцарапали себе ноги. Ветер кружил надломленные крылья запущенных ветрянок. Кучер Мефодий сонно сопел носом. Агроном был начисто обижен. Он не разговаривал со мной.

— Мехводий, а Мехводий! — позвал он кучера.

Кучер спохватился.

— А?

— Ты не спишь, Мехводий?

— Ни.

Агроном вздохнул.

— Знаешь, Мехводий, за все тринадцать лет у меня такое в первый раз.

— А, — сказал Мефодий.

Ему было все равно. Замечание агронома, безусловно, относилось ко мне.

НОСТАЛЬГИЯ И КЛАССОВЫЙ ВРАГ

Это небольшое происшествие я наблюдал в коммуне «Красное Черноморье», в шестидесяти километрах от Новороссийска, в зеленом и крутом ущельи, покрытом ясенем, дубом, орешником и сосной. Враг ведет себя, как на самом горячем фронте, и всей своей пятерней зацепляет все, что можно зацепить. Здесь он зацепил одну невеселую штуку, которая называется ностальгией.

Думаю, что враг не знал столь звучного имени этой старинной, как земля, болезни. В обиходе ее зовут тоской по дому, и за такую ее враг и знал. Здесь заболел ею один сибиряк. Он был молод, ширококост и, главное, великий охотник. Заболел он этой ржавой, как проказа, болезнью, чересчур рано, через месяц после того, как покинул свою непроходимую родину. Он приехал из-под Канска. Имя же больного было Пахом Земных.

Многие годы жила в Канской деревне семья бедняков. Однажды весной всей деревне захотелось на юг, к Черному морю. Послали двух ходоков. Те поехали, прицепились, рассказали. И вся деревня — сорок с лишним дворов — снялась и двинулась навстречу солнцу. Не метафорически, а **на самом деле, без дураков.**

Партия переселенцев прибыла на станцию Тихорецкая. Здесь они рассортировались. Двенадцать семей захотели вступить в виноградную коммуну, расположенную в ущельи Джанхоту, где основным в хозяйстве были косые белые, каменистые виноградники, разбросанные среди гор и похожие издали на плешки. Славные плешки, они дышали добрым плодородием и давали по нескольку тонн винограда с гектара! Коммуна обсудила переселенцев и приняла их к себе. И 12 семейств переехали жить в «Красное Черноморье». Они поселились на даче, принадлежавшей помещику Короленко. Дача была сложена из белого камня; она испугала новых коммунаров злой пустотой своих пространных комнат. Бывшая помещица уехала совсем недавно. К огорчению местных жителей, она часто уезжала в Москву и добывала там охранные грамоты. В столице думали, будто она хлопочет о даче, принадлежавшей писателю Владимиру Галактионовичу Короленко. Но одинокая могила вблизи дома хранила прах не писателя, а брата его, помещика Короленко. Прасковеевский греческий сельсовет подал в суд. На суде прощупалась истина, бывшую помещицу выселили. Она уехала тайно, нагрузив своим большим имуществом семь подвод. Вот почему дом пуст и переселенцы бродят по нему, как по чужому жилищу.

Пахом Земных поселился со своей семьей на мезонине. Он избрал себе комнату поменьше, чтобы не дразнила его своей пустотой. Семья его состояла из трех человек: мать, сестра и сам Пахом. В коммуну вступили все трое. Все годились для любой коммунарской работы: для распашки низких участков, для подрезания кустов, на купоросную протравку на виноградниках, на возню на баштанах, на стирку в прачечной, на дежурство в столовой и в кладовке, на работу у винодельного пресса. Так и случилось, что Пахом сперва попал на виноградники. Когда же отяжелели гроздья и коммунарские корзины стали наполняться всевозможным виноградом, вроде рислинга, муската, чауша, дамских пальчиков, тогда Пахома перевели в прохладный сарай, где, голый и

прочный, стоял он у огромной стодвадцативедерной бочки. Он стоял у этой пузатой и наполненной хлюпким виноградным месивом бочки и крутил колесо. В виноградной было прохладно, очень прохладно. Резкое солнце Джанкота остановилось у ее порога. Оно остановилось у корзин, где лежали оборванные кисти. У корзин этих толпились и коммунарские свиньи. Они знали, что после отжимок эти кисти пойдут в их корыта.

Сестра работала в коровнике. Она доила, чистила, готовила пойло, даже лечила свиней. Мать сразу попала, т. е. назначена была, в столовую, где три раза в день готовила коммунарам еду. Она же звонила в самодельный колокол, подвешенный к кедру. По этому колоколу коммунары выходили на работу, разбредаясь по всем участкам, по колоколу собирались для обедов, ужинов, общих собраний и митингов. Список блюд, которые мать Земных успела наготовить за свое пребывание в коммуне, был следующий:

1) Щи из свежей капусты со свининой.
2) Суп с макаронами (с салом).
3) Уха.
4) Каша: пшенная, гречневая,
:ая.
5) Беф-брезе *.
6) Беф-строганов *.
7) Судак по-польски *.
8) Макаронник.
9) Вермишель.
10) Соус.
11) Компот.
12) Кисель.

Блюда, отмеченные звездочками, надо принимать условно. Мать Земных сама сотворила из мяса и рыбы нечто такое, что мой опытный московский ресторанный нюх определил как беф-брезе, беф-строганов и судак по-польски. Это значит, что в первом случае она нарезала мясо кусками, во втором — накрошила его, в третьем случае обложила сваренную рыбу тонко нарезанными ломтиками крутых яиц и картофелем. Сама дошла! Вроде того старого еврея, который сам дошел до закона тяготения, ничего не ведая ни об Исааке Ньютоне, ни о его достаточно известном открытии. Мать Земных была вполне довольна своим положением в коммуне. Мало того, она даже была несколько горда, но в последние дни она почему-то плакала. Она плакала по углам, хватаясь за фартук, за кофту, за платок. Когда человек говорит: «почему-то», такое его заявление не стоит и гроша. Надо всегда знать — почему. Мы знаем, почему она плакала. Началось с охоты.

Был выходной день. Коммуна устроила гулянье, обещая своим членам исключительные танцы. На бумажках, развешанных по скалам, так и было написано: «Танцы, пляски и пр. и пр. до впаду». Пахома не соблазнили заманчивые бумажки, развешанные по скалам. Он вытащил из футляра свое охотничье ружье, разобрал его, почистил оба ствола и набил патронташ картечью и дробью. Тут время и место добавить, что семья Земных состояла не из трех, а из четырех единиц. Четвертой единицей была легая и узкая собака, ее звали Камень. Хозяин купил ее на большой осенней ярмарке в городе Камень, на реке Оби.

В выходной день Пахом вышел на охоту. Камень уныло бродил по лесным дорожкам и горным тропкам. Ни разу он не ринулся в кусты. Совсем ни к чему были навострены его уши. Зверя не было. Пролетел орел, пролетел коршун. Медленно влача свое медное туловище, переползла из кустов в кусты змея. Камень чуть было не наступил на нее лапой. Пахом отвел его ногу. И никого больше не встретили, не проследили, не пронюхали Пахом и Камень. Они вернулись вечером домой. Плакали совы, звенели цикады, еще плясали коммунары. Пахом с досады отказался от своего ужина. Так началась ностальгия.

Вспомнилась обильная зверем родина, вспомнилась канская тайга, где много было белок и уток, и вальдшнепов, и тетеревов, и лисиц, и волков. И медведи были в канской тайге. Несколько раз Пахом выходил на них со своими соседями по деревне. Два раза он выследил берлогу сам.

— Мать, — сказал Пахом угрюмо, — нету здесь зверья. Я все обошел.

На другой день вышла неудача с морской уткой. Открутив свое винодельное колесо, Пахом пошел на берег. Недалеко плыла утка. Он быстро разделся, бросился в воду. Когда до утки осталось не более одной сажени, он нырнул, потом внезапно выплыл, выбросив хищно руку. Рука его схватила набежавшую волну, утка взмахнула крыльями и опустилась на другое место. Пахом снова поплыл, снова нырнул, снова выбросил руку. Утка снова взмахнула крыльями.

Тогда Пахом вернулся домой и мрачно просидел в углу до возвращения матери и сестры.

— Нет, дома лучше, — сказал он, когда они пришли домой. Он стал требовать возвращения в Канскую деревню. Разжигая себя сибирскими воспоминаниями, он дошел до дикой тоски. Он ворочался по ночам, мало ел, много смотрел в землю. Колесо пресса ослабело в его руках. Это была настоящая ностальгия.

В семье начались ссоры. Пахом уныло жаловался на Кавказ, на коммуну, на море, — он хотел домой.

— Давай собираться, — говорил он сперва робко, потом все настойчивей и грубей.

Первый заметил нелады в семье переселенцев Ефим Кучеров. Он был извозчиком, и сейчас у него были две лошади. А еще в прошлом году он имел несколько экипажей и восемь лошадей. Все это у него забрали в Краснодаре, откуда он был родом и где промышлял он извозом уже свыше двадцати лет. Он выглядел затасканным и нищим. Последний экипаж растерял рессоры, и Кучеров сменил его на линейку, на скрипучую горную линейку с драным парусиновым тентом и фонариком. Когда Ефим Кучеров заметил нелады в семье Земных, он пошел в гости к почтальону.

— Добрый вечер, — сказал он, — нет ли у тебя каких новостей?

Почтальон недавно вернулся с работы. В горах его застал дождь, он очень устал. У него не было никаких новостей.

Новости были у Кучерова.

— Слыхал? — сказал он, выждав сколько надо. — Уезжают сибиряки.

— Ну?

Почтальон действительно удивился. Он хорошо знал коммуну. Она существовала пять т. Все годы здесь жили дружно.

— Уезжают! — подтвердил Кучеров. — Не нравится им коммунальная жизнь. Они привычные к обхождению!

Так пошел по окрестным местам, по хуторам, по единоличным домам, по аулам слух о развале коммуны. Возвращался как-то вечером из Пшады почтальон. В «Красном Черноморьи» отзвонил колокол. Все пошли домой.

— Едем! — сказал Пахом, — больше не могу. На той неделе едем!

Его тоска стала назойливой, как тропический дождь.

— Как так едем? — спросила сестра. — Я не поеду. Пусть едет один.

Тогда мать Земных стала плакать. Она одинаково любила сына и дочь, и разлука с каждым из них была ей тяжела непомерно.

— Ой! — заплакала старуха, — горе мое!

Пахом возился с сундуком. Он впихивал в него свои вещи. С желчью схватил он кожаный футляр с упакованным охотничьим ружьем и ткнул его в один из темных углов разукрашенного, как ярмарка, сундука.

— Ой! — плакала старуха, — беда моя!

В это время вошел почтальон. Он увидел печаль, услышал рыдания и вспомнил рассказ извозчика. Он сел на стул и спросил:

— Не надо ли марок, бумаги, конвертов?

— Давайте, — сказала сестра, — две штуки.

— Не надо! — заорал Пахом, — домой едем. Некому теперь писать. Сами расскажем.

Почтальон ушел. Дома у него сидели два рыбака. Они предложили ему закурить.

— Что в коммуне? — спросил один.

— В коммуне неладно,—ответил почтальон.

— Ну?

— Уезжают сибиряки. Не хотят.

На другой день рыбаки поймали много рыбы. Они повезли ее в Новороссийск на приемный пункт. Принимая, весовщик спросил:

— Откуда?

— Из Джанхота.

— А, из Джанхота! Ну, как дела в коммуне? Переселенцы как?

— Уезжают.

— Все?

— Все.

— Не понравилась значит коммунальная жизнь, — сказал весовщик.

Уже не верили вокруг, что уезжает один Пахом, уже не верили, что уезжает-то он из-за своей тоски по канской тайге, по белкам, по лисицам, по медведям. Уже не верили, что сестра ехать не хочет, что она остается в коммуне, и с нею мать. Видели старухины слезы и не хотели разобраться, почему она плачет. Горе разлуки выдали за горе коммунальных обид и разочарований.

Пахом не торопился с от'ездом. Он угрожал и ворчал, но все откладывал. Тоска по дому сплеталась в нем со скупостью: жаль было затраченных денег на поездку и перевозку имущества. Его вызвал председатель коммуны.

— Когда уезжаешь? — спросил председатель.

— Уезжаю! — угрюмо ответил Пахом.

— Ну, так уезжай поскорее, — раздраженно сказал председатель, — ты нам всю коммуну портишь. Из-за тебя вон какие толки пошли.

И Пахом Земных уехал.

Он собрался ночью, когда еще плакали в Джанхоте совы. Он двигался за подводой, нагруженной его имуществом, он шел позади своего огромного, как надгробный камень, сундука. Рядом с ним, беспрестанно убегая в кусты, шла собака. Она в последний раз вынюхивала здесь дичь.

После от'езда Пахома в коммуне случился пожар. Горел сосновый лес — одно из лучших украшений коммуны. Самое скверное, что лес загорелся по вине коммунарского пастуха. Он разложил костер, а сам вздремнул. Огонь побежал по стволам сосен. Пошла трещать хвоя.

Пастушечья неосторожность чуть не разрушила подмытое клеветой здание коммуны. Бледные побежали коммунары за заступами; выстроились цепью, стали рыть окопы, возводить огнеупорные укрепления. Пожар скоро перестал. Лес совсем не пострадал, только почернели кое-какие стволы, снесло кой-какой кустарник. В коммуне было созвано общее собрание. Решили так:

— Устроим суд над пастухом. На суд позовем всех единоличников.

Мать Земных звонила в колокол: не на работу, не на обед, не на ужин. Она звала на суд над пастухом.

После суда состоялся доклад. Говорила сестра Земных. Доклад ее был обращен к единоличникам и назывался:

«Почему ушел из коммуны мой брат»?

Весенний дневник

Борис Губер

(Окончание)

10. ГЕОМЕТРИЯ

17 мая. Запись вторая.

День прошел, и я еще раз убедился, как пуста, неустроена жизнь на участках.

Первая смена, отработавшая положенное ей время, вернулась на колонну к двум часам. К трем люди уже пообедали. И тут-то и начались длинные часы бессмысленного, чудного безделья.

Только немногие улеглись — кому, в самом деле, захочется тратить дневные часы на сон? Кое-кто отправился за пять километров на центральную усадьбу, — делать там нечего, но и это развлечение. Остальные же вяло бродили между вагончиками, не зная, куда девать себя: подойдут к доске, на которой вывешены выгоревшие под солнцем давно прочитанные бумажки, и еще раз прочтут их... остановятся перед мастерской и смотрят, как кузнец возится с походным горном... помогут маленькой трактористочке в полинявшей майке прицепить к «Интеру» отремонтированные сеялки, молча глядят, как она, перекинув за спину две тоненькие, связанные вместе косички и расправив короткую юбочку, усаживается в седло и пускает мотор... а то сядут в тени — курят, лениво разговаривают:

— Тася говорит, в кооперации папиросы получили.

— Ну?

— Завтра, говорит, выдавать начнут.

— Врет...

— Может, и врет.

И опять молчат, сидят неподвижно минуту, две, — пока кто-нибудь не начнет:

— А у меня сегодня, скажи вот, с утра мотор перегревался. С чего бы это, и сам не пойму, намучился с ним...

Другие нехотя откликнутся:

— Насос неправильно работает.

— Может, ремень слабо подтянул?

— Бывает тоже и от нагару...

Тут к ним подсаживается Гельферт.

Он очень умело пользуется вот такими случайными небольшими аудиториями, — начинает издалека, приводит примеры из жизни других совхозов и, постепенно сужая тему, добирается до работы участка и ее недостатков.

Все сразу оживляются.

— Это, я скажу, администрация виновата! — раздраженно кричит худой старообразный парень в красноармейском шлеме, тот самый, у которого перегревался мотор. — Мы свое дело исполняем, а они никогда ничего не могут согласовать... Третьего дня, что ли, поставили восемь тракторов на одно место, а там одному делать нечего — друг на дружку, скажи вот, и лезем, он мне мешает, я ему. Шалыгин говорит Сигитову, а Сигитов его нижегородским матом: «Заткнул глотку всем рабочим, и тебе заткну!..» А сам все-таки шесть тракторов снял, оставил два. Значит, практически себе глотку заткнул, а не кому другому...

Его прерывают:

— Ты на Сигитова не вали, это тоже не поударному выходит, на других валить. Ты сначала себя контролируй...

— А администрация пускай меня путает?

— Сигитов тебе не администрация, он сам рабочим был, как и ты.

— Заправщиков нужно подтянуть, товарищи... Сегодня налили вместо бензина керосин, и трактор не идет. Два часа поломку искали, а какая может быть поломка, если вместо бензина керосин?

— Семена далеко кладут, вот что!

Гельферт слушает, поглядывая то на одного, то на другого. Когда первая горячка спадает, он сужает спор еще больше.

— Ну, а ты, например, норму свою знаешь? — спрашивает он худого парня в шлеме.

— Я?

— Ну да, ты. Ты вон говоришь, что свое дело исполняешь, а администрация тебя путает... Сколько ты должен с одной сеялкой засеять за свою смену?

Парень сразу завирается, пробует увильнуть, но товарищи дружно наседают на него, и выясняется, что нормы он не знает. Впрочем, не знают нормы и остальные.

— Так как же вы соревнуетесь-то? — ужасается Гельферт.

Затевается новый разговор — о соцсоревновании. Со стороны подходят еще несколько человек. Случайная беседа вырастает не то в митинг, не то в производственное совещание...

Польза таких импровизированных митингов несомненна. Но все же вопрос ими не решается. Во-первых, далеко не на каждой колонне найдется свой Гельферт, который бы умел придавать производственным темам форму непринужденных и естественных разговоров,—гораздо чаще специально собранные совещания проходят скучно и «казенно». Во-вторых, даже самая интересная беседа еще не создает отдыха... И, наконец, в-третьих, после того, как разговор закончен, остается еще пропасть свободного времени, и никто не знает, на что его употребить.

На это жалуются все, с кем мне ни приходилось говорить:

— В прошлом году хоть военный уголок был!

— На центральной усадьбе кино показывают, а мы опять не при чем.

— Ходишь, ходишь — и день весь...

Особенно часто говорят о том, что нечего читать, — и это особенно непростительно, если вспомнить, что борисовская библиотека насчитывает пять тысяч томов. Чего бы стоило выделить из нее десяток передвижек? А между тем, бескнижье доводит до нелепых и грустных курьезов.

Сегодня, например, я разговорился с одним из рудевых, здоровенным малым с добрым детским лицом. Он сидел на самом солнцепеке, прилежно листая истрепанную в лохмотья книгу, и она-то и заинтересовала меня: это был учебник, еще дореволюционного издания, геометрия Киселева.

Я спросил, почему он так бегло читает и все ли ему понятно. Он сокрушенно ответил:

— Ни чорта непонятно! Второй раз читаю. Так второй раз, язви ее, еще хуже. Даже работать мешает — сидишь за рулем, а сам думаешь, сколько, например, в моем гону сажень? И начинаешь буквы расставлять, на одном конце «а», на другом «в» — вот, язви ее, хоть плачь!

Он улыбнулся доброй, смущенной улыбкой, взял у меня книгу и спрятал в карман. Потом сказал:

—Практикант у нас здесь работает, из Омска. Он мне некоторые теоремы об'яснял. Пока об'яснит — ничего. А станешь сам прорабатывать, опять ни чорта! Он говорит, нужно постепенно, за год, говорит, и то не проработаешь... Ну, а я смолю подряд, первый раз за два дня прочитал.

— Зачем же подряд?

— Пристрастие такое, не могу, язви ее, посередине бросить... Я читать привык, какую хочешь толстую книгу прочту.

— А других книжек нет?

— Почему нет... У девах песенники есть, потом у Шалыгина, у профуполномоченного, есть некоторые — я их еще на прошлой неделе брал.

Так случайно, неорганизованно проходит время — недолгие часы отдыха после непрерывного десятичасового труда. Нет книг. Но, главное, **нет людей**, — и невозможно без ярости думать о клубниках, культработниках, библиотекарях и многих других, живущих по городам, вместо того чтобы ехать сюда, где их работа изменила бы и наполнила живым содержанием весь этот пустой участковый быт.

Мне могут ответить:

— И в городах культработников не хватает.

Не спорю, и в городах их мало. Но в Борисовском их *нет совсем*. А кроме того, здесь, на Северном Джалтыре, который уже в нынешнем году даст стране не менее десяти эшелонов чистосортного экспортного зерна, нет ни клубов, ни кино, ни библиотек: шесть вагончиков для жилья, самодельная кухня на деревянных колесах — и голая степь... Кому же нужнее люди?

Сейчас вечер, теплые безветреные сумерки. Небо еще алеет снизу, но звезд все больше высыпает над степью. Северяная не

снится. Смутное ли это ожидание чего-то, что должно было заполнить их досуг, чтобы он стал отдыхом, да так и не заполнило, ни вчера, ни сегодня? Или томит их тревожный и горький запах молодого березового листа?.. Через шесть-семь часов смена выезжает на работу, а люди все еще бродят вокруг вагонов. Кто-то догадался нарезать чушек, и компания человек в десять играет посреди накатанной дороги в городки. Чушки в белой, еще не обитой коре едва заметны, так быстро темнеет, угасает мир... Счастливый женский смех неожиданно возникает в темноте — и негромкая песня:

Сижу за решеткой, в темнице сырой...

Поют девушки. Их светлые кофты по-мужски заправлены в штаны. Две, тесно прижавшись, сидят на ступеньках вагонной лесенки, третья на земле, циркулем раскинув ноги. На их голоса сходятся какие-то молчаливые темные силуэты; но песня уже оборвалась, — накинув стеганки, девушки, размахивая зажженными фонарями бегут на заправку...

11. НОЧЬ

17 мая. Запись третья.

Ночь. Мы с Николаем Николаевичем ходили смотреть на работу катерпилларов резервной Эйбетинской колонны, которыми с сегодняшнего дня усилили Северный, и только что вернулись.

Издали, пока мы шли невспаханным перешейком между двумя колками, колонна выглядела величественно: яркие огни созвездиями переливались в темноте — будто к городу под'езжаешь, или огромный корабль плывет в ночном море... А подошли ближе — и величественное зрелище превратилось в безобразнейшее головотяпство: девять сорокавосьмисильных великанов уперлись в межу и не знали, что делать дальше. Рулевые неразборчиво кричали друг другу — приглушенный рев моторов заглушал их слова — а по меже, освещенной точно десятком прожекторов, изрыгая замысловатую брань, бегал с фонарем в руках помзав Эйбетинского Сергеев.

Он устремился к нам, крича:

— Да где же у вас, так-распротак, бороновать?

Оказалось, колонна заблудилась в темноте и чуть было не в'ехала на уже засеянные клетки; попробовали взять влево и уткнулись в ракитник... Сергеев даже осип от крика:

— Пешка ваш Барсук, курицына сына, прислал каких-то шкетов, а они сами ничего не знают, курицына сына, туда и вот куда...

Мы рассказали, как покороче пройти к табору, и он, продолжая ругаться, побежал в темь... В общем девять тракторов, равных по силе 430 лошадям, простояли около часу. За это время они могли заборонить почти 100 га.

Вернувшись домой, мы застали Вагина и Никанорыча за оживленным разговором с гостями.

Кроме обычного гостя Гельферта, было еще трое: Вера Васильевна, лекпом Северного, и двое врачей из Омска, мобилизованных на посевную кампанию и поселившихся в районном селе Борисовке. Они приехали с центральной усадьбы, в надежде, что ночью их перебросят дальше и они таким образом, как по этапу, доберутся к себе.

Привезла их Вера Васильевна.

Это прелюбопытная девушка, студентка Омского мединститута, только что перешедшая на пятый курс и потому работающая в совхозе на правах лекпома. Я пишу девушка, хотя она и утверждает с важностью, что уже два года замужем. Этому никак невозможно поверить — столько в ней девического и даже подросточьего: и мимолетные ямочки на щеках, и способность мучительно, надолго краснеть от смущения, и простые черные чулки, кое-как заштопанные на коленках белыми нитками... Даже цвет волос у ней еще не установился! Туго зачесанные назад, открывающие высокий загорелый лоб, они какие-то пестрые, немного рыжеватые и в то же время пепельные, с русыми, совсем темными прядками, — и такое их изобилие, что постоянно падающие шпильки и гребни едва удерживают огромный узлище на затылке.

К больным, что приходят к ней на прием, она относится с уверенной мальчишеской строгостью, и они подчиняются ей беспрекословно.

Сегодня я видел такую сцену: тракторист, босой, в ватных штанах и лихо распахнутой стеганке, из-под которой видна неимоверно грязная рубашка, — эдакий ухарь, избравший своей добровольной нагрузкой потешать товарищей, — с шутовскими ужимками трясет ей руку, здороваясь, а она, строго сдвинув рыжеватые брови, смотрит синими глазами и спрашивает:

— Ну, как ваш палец?

И ухаря уже нет, нет шутовских ужимок, завязана на все завязки стеганка, и слышен смирный ответ:

— Заживает палец...

Приходят к ней больше с пустяками. В амбулаторном журнале разгонистым детским почерком записано почти сплошь: «Обжог левой руки при обтирании трактора, помазала вазелином». Или: «Засорен глаз, промыла борной»... Если же окажется что-нибудь более серьезное, она оставляет больного в своем двухместном купэ и говорит:

— Посидите здесь, товарищ, только ничего не трогайте. Ладно?

И бежит, роняя шпильки, досадливо собирая их в горсть, — к Николаю Николаевичу, советоваться...

Днем она страстно переругалась со всем начальством участка и даже с Гельфертом, требуя, чтобы для рулевых немедленно, сегодня же, организовали баню, и в конце концов отправилась ругаться на центральную усадьбу... А сейчас она сидит в своем простеньком платьице, болтает ногами и рассказывает о том, как позвали ее однажды к больной — та покушалась на самоубийство, пыталась отравиться:

— Я, знаете, ужасно испугалась — никогда ведь в таких переделках не бывала. Прихожу, а в комнате масса народу. Я их, конечно, выгонять. Говорю: «Все лишние пожалуйста уйдите». И представьте себе, ушли!.. Я бы ни за что не ушла.

Уже поздно, всем пора спать. Вагин укладывается первым. Потом уходит к себе Вера Васильевна... Только омичи упорно отказываются ложиться: Барсук обещал отвезти их в Борисовку после того, как, доставив смену на работу, освободится автомобиль, и они боятся проспать.

Гельферт говорит:

— Еще неизвестно, захочет ли вас наша Тася везти.

— То есть как не захочет?

Врачи смеются, думают, что эта шутка... Они не знают «нашей Таси» — товарища Малофеевой, шофера Северного участка, — иначе им было бы не до смеха.

Рулевые втихомолку называют ее Сатаной, и нужно сказать прямо — эта краткая характеристика далека от преувеличений. Мне еще не доводилось видеть другого, столь злобного и деспотического существа. Маленького росточку, кубастенькая, она представляет собою как бы помесь мужского и женского пола, — на мой взгляд, ее курносому, узкоглазому личику, из'еденному темными и крупными, как родимые пятна, веснушками, очень не хватает усов. Даже в одежде ее сказывается это смешение мужского и женского: голова повязана красной косынкой, дальше следует красноармейская гимнастерка, юбка, сшитая не без претензий на моду, и наконец сапоги с короткими голенищами, открывающими могучие икры, обтянутые тонкими женскими чулками. Что же касается ее характера, то в нем женская упрямая сварливость совмещается с самым доподлинным мужским грубым упорством.

При помощи всех этих соединений она окончательно терроризировала весь участок. Отвозя смену, она никогда не дожидается, чтобы собрались все ее пассажиры, и многим приходится из-за этого бегать на работу пешком... Сегодня ее едва упросили перебросить на центральную усадьбу цепи, необходимые для Южного участка. А захватить часы для южноджалтырских хронометражистов — обыкновенные карманные часы весом в пятьдесят граммов — она отказалась наотрез:

— Не обязана. Можете отнести сами.

И так велика ее власть над колонной, что даже Гельферт угодливо заводит ей мотор, хотя ему и ехать-то никуда не нужно.

12. АМАЗОНКИ

18 мая.

На центральную усадьбу вернулся сегодня днем.

За то время, что я пробыл на Северном Джалтыре, совхоз значительно продвинулся вперед. После обеда мы с Быстрых ездили на Александровский участок, и по дороге он рассказал мне, какие меры приняты в Борисовском после позавчерашнего совещания — какие введены улучшения и как наглядны их результаты. В общем все силы перестроены заново, и уже сейчас можно сказать, что долгожданный перелом, которого с такими трудами добивались борисовцы, наконец настал. Большинство колонн быстро приближаются к нормам, а некоторые с сегодняшнего дня перевыполняют их.

На Александровском участке мы пробыли недолго.

Это самый маленький участок в совхозе. Обслуживают его почти исключительно женщины: во всем таборе только один «мужской» вагончик. Быть может, потому колонна и не похожа на остальные — жизнь здесь налажена прочно, удобно, и на всем сказывается внимание к мелочам, которого так не хватает борисовцам. Кроме вагонов имеются три палатки —

прачечная, культуголок и столовая — и все они не только оборудованы необходимым инвентарем, но и по-своему уютны.

В столовой висит свежий номер стенной газеты «Ударник».

Газета тоже самая интересная из всех, с какими мне только приходилось до сих пор встречаться. В ней много удачных рисунков, коротких и резко написанных заметок. Темы их: совет трактористке не гулять по ночам, чтобы потом, днем, не дремать на работе; укор кухарке в том, что она не дала завтрака запоздавшей заправщице; рассказ о тракторе, вышедшем на работу без воды в радиаторе... Одну заметку я переписал дословно. Называется она «Московская селянка». Вот ее текст:

«Несколько раз говорилось о том, чтобы в вагончиках не нарушали порядок и соблюдали чистоту. Но, видимо, жильцов 2-го вагончика это не касается. Если к ним зайдешь, то на первый взгляд покажется, что это не общежитие, а что-то вроде хлебного магазина, молоканки, или, вернее, похожее что-то на московскую селянку.

Там вы можете увидеть куски хлеба, молоко, ботинки, пимы, одежду, ящики и прочую домашнюю утварь, разбросанную в самом разнообразном виде, а в общем целый базар».

Уборщица, чистенько одетая в коричневое платье с черным, как у довоенной гимназистки, передником, повела нас по вагончикам, и мы убедились, что даже № 2 (мужской) не заслуживает упрека в беспорядке — очевидно, заметка помогла. У женщин же много чище, чем в общежитиях центральной усадьбы: койки аккуратно застланы одеялами, на столиках в порядке разложены зубные щетки, зеркальца, гребенки, а в двух местах мы наткнулись даже на букетики цветов, заботливо поставленные в воду...

По своей работе александровки близки к первому месту в совхозе. Вся колонна — ударная, соревнуется с Москаленским участком. План уже выполнен на 80 процентов. Помзав, молодой агроном, еще не утративший городского комсомольского вида, говорит с живостью:

— Послезавтра кончим. Гони, товарищ Быстрых, премию.

Быстрых ответил:

— Ладно, ладно, не хвались. Москаленцы тоже не дураки премию получать.

Но на обратном пути, когда мы миновали чистые, без единого перелеска александровские поля и понеслись по невспаханным казакским наделам, вклинившимся в земли Борисовского, он вдруг улыбнулся всем своим угловатым, белобровым лицом и подмигнул:

— Обязательно, черти, кончат!

И у него, и у других, настроение сегодня приподнятое, почти ликующее. Но в то же время все понимают, что радоваться рано, и общее напряжение не только не спадает, но, напротив, возрастает чуть ли не с каждым часом.

Сказывается этот под'ем и на центральной усадьбе.

Но в общем усадьба уже не передовые позиции, а прифронтовая полоса. Все здесь выглядит иначе — быть может, потому, что здесь выпирает на первый план строительство, живущее своими интересами, своими нуждами и трудностями.

13. ПОБЕДА

24 мая.

Ура, ура!.. Все устроилось как нельзя лучше, — только что закончилось специально созванное бытовое совещание, которое — я убежден в этом — откроет новый период в жизни борисовцев, — период бытовых реформ.

Если рассказывать по порядку, нужно начать с того, что сегодня вернулись, наконец, из Омска Косько и секретарь совхозного парт-коллектива Зарниченко. После обеда, зайдя в контору, я застал их обоих в директорском кабинете. Косько сидел сердито насупившись, а перед ним стояли милиционеры из состава вооруженной охраны совхоза и старший рабочий по двору Яценко.

Вытянувшись, с фельдфебельским тщанием поедая глазами начальство, Яценко, очевидно только что получивший изрядный нагоняй, оправдывался:

— Я за этим слежу... Да разве уследишь?

Одновременно, перебивая его, говорил и милиционер:

— Товарищ директор, куда мне их девать? Давайте помещение.

— Кого?

— А задержанных... Я им предлагаю покинуть усадьбу, а они говорят — стреляй на месте, все равно не пойдем.

Он повернулся к дверям, где, прислонившись к притолоке, стоял молодой паренек, и ткнул пальцем:

— Вот он не хочет уходить.

Паренек выступил вперед, принялся спокойно, неторопливо об'яснять:

— Я наниматься пришел, а он меня гонит. Завтра стройконтора чернорабочих нанимать будет.

Я опросил Зарниченко, что здесь, собственно, происходит. Оказалось, Косько, пользуясь ненастным днем, занялся проверкой общежитий. При этом, конечно, обнаружилось много совершенно посторонних совхозу людей, — их-то и изгоняли сейчас.

Беспощадная чистка жилых палаток и общежитий была вступлением ко всему остальному... К вечеру в кабинете Косько собрались все руководящие работники совхоза, стройконторы, кооператива, — и началось...

Много было споров, взаимных упреков, предложений неисполнимых и предложений дельных, — но обо всем этом можно и не писать. Важно другое — те решения, которые были в конце концов приняты.

Вот главные из них:

1. Окончательно очистить усадьбу от посторонних элементов и обеспечить постоянный контроль над жилыми помещениями в будущем.

2. Перестроить работу кооператива, поручив ему немедленно ввести улучшенные обеды в столовой по повышенной цене; организовать буфет, выпечку кондитерских изделий и т. п. Кроме того принять меры к мобилизации вокруг столовой и лавки внимания рабочей общественности.

3. Ускорить организацию фермы и оказать всяческое содействие кооперативу в организации огорода.

4. Наряду с этим предложить правлению кооператива, в соответствии с разрешением окрисполкома, приступить к заготовке скота на мясо, ассигновав на это достаточные средства.

5. Расширить помещение столовой, немедленно приступив к возведению хотя бы временной пристройки.

6. Для снабжения усадьбы продуктами местного рынка организовать на территории, примыкающей к усадьбе, базар, оповестив об этом население ближайших деревень и аулов.

7. Предложить рабочкому совместно с культкомиссией наметить конкретные меры для оживления культработы как на усадьбе, так и на колоннах.

Быть может, этих решений недостаточно даже на первое время. Но они вынесены. Значит, бытовые вопросы, от которых до сих пор отмахивались «за недосугом», прорвались в число первоочередных задач. Внимание борисовцев отныне обращено на них, — а это победа, не менее значительная на мой взгляд, чем ликвидация прорыва в посевной.

14. «МАГНИТ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ»

26 мая.

Завтра последний день сева. Так по крайней мере утверждают борисовцы — и не какая-нибудь отдельная, особенно самоуверенная группка, а все, от директора до заправщика, еще вчера только получившего выговор в приказе за небрежное отношение к своим обязанностям.

Это — ответ на ненастье, отнявшее почти неделю времени, поистине драгоценного в условиях короткого сибирского лета. Чтобы хоть частично наверстать вызванные дождями простои, колонны взялись выполнить посевную программу не в двенадцать дней, как намечено по плану, а в одиннадцать, и, начиная со вчерашнего утра, лютая борьба разгоралась на всех участках.

Казалось бы, эта борьба должна без остатка поглотить все внимание борисовцев. Но у них хватает мужества смотреть на дело по-иному: даже сейчас, когда все силы людей и машин одинаково напряжены до-отказа, они не забывают об остальных задачах совхоза и, прежде всего, о своих обязанностях перед соседями-колхозниками.

Вот что пишет по этому поводу в статье, озаглавленной «Магнит коллективизации», корреспондент газеты «Социалистическое земледелие» т. Сергеев:

«Всех коллективов, граничащих с участками Борисовского, девяносто четыре. Похоже, будто совхоз притягивает их к себе, как огромный магнит.

Среди них есть старые, умудренные опытом коммуны и артели с новым типовым уставом, возникшие в течение последих месяцев, — безбородые юнцы, впервые проходящие школу совместного весеннего труда. Но и они не уступают старикам. В то время как многие районы и округа Сибири, в результате перегибов, допущенных при коллективизации, переживали массовые возвращения середняков к единоличному хозяйству, ни один из соседей зерносовхоза не очутился в подобном положении. Все они живы и растут день ото дня, — так велико влияние крупного механизированного хозяйства и так реальна его помощь.

Уже сейчас совхоз крепко и непосредственно связан с двадцатьюпятью коллективами.

Связь эта выражается в систематической организационной работе, которой руководит присланный Зернотрестом агроном-реконструктор. Особенно много сил тратили на нее борисовцы зимой. Партколлектив совхоза выделил в распоряжение районных организаций четырех человек, силами которых организовано семь новых коллективов. Заведующие участками, прикрепленные к ближайшим колхозам, помогали им в составлении планов и в руководстве всей их хозяйственной жизнью. Тогда же для колхозников был открыт целый ряд курсов. С колхозным активом провели десятидневные занятия в пределах агроминимума. На борисовских тракторных курсах для членов коммун и артелей предоставили 56 мест, а кроме того, еще 80 человек было обучено инструктором, переезжавшим из деревни в деревню вместе с учебным «Интернационалом»... Наконец, наряду со всем этим совхоз помогал соседям, ремонтируя их тракторы и другой инвентарь.

Такова была связь с колхозами зимой. Сейчас же, с наступлением весны, быстро развиваются и другие отношения — производственные. Они ценны для обеих сторон, и это лишает их какого бы то ни было оттенка «благотворительности». Колхозы снабжают колонны поденщиками-ходоками, стройконтору — транспортом и чернорабочими, а совхоз, со своей стороны, должен вспахать и засеять на колхозных полях в общей сложности более 5000 га».

Это очень и очень не простая задача.

Колхозная программа, по усилиям, которые придется затратить на нее, составляет чуть ли не половину весенней программы самого совхоза — тем более, что площадь в 5000 га складывается из многих небольших клочков по триста, по сто, по пятьдесят гектаров, и, стало быть, неизбежны частые перекочевки с места на место... Поэтому-то борисовцы и придают работе на колхозных полях такое большое значение, поэтому-то и отправились сегодня, в предпоследний день «своего» сева, в большую поездку по колхозам Косько и Зарниченко.

Конечно, увязался с ними и я.

Мы сделали за день пробег километров на двести. Начали со старой борисовской коммуны «Искры», где пашут эйбетинские катерпиллары; они ведут сразу по два четырехкорпусных плуга и оставляют за собой борозду в два метра шириной. Потом завернули в коммуну им. Ленина, которую обслуживают славянцы, сделали большой крюк, чтобы попасть в Татьяновку — большое село, закрепленное за Москаленской колонной, и в заключение побывали в нескольких казакских аулах.

В каждом из колхозов мы сталкивались с самыми различными особенностями и затруднениями. Их приходилось разрешать тут же на месте: то выяснялось, что участок для работы тракторов слишком мал, и приходилось перебрасывать часть машин в другие артели; то среди мягких земель, в виде наследия прежнего чересполосного хозяйства, обнаруживались куски залежи или никогда не паханной целины, — и эти заплатки необходимо было боронить особо, в несколько следов; то приставали к директору колхозники с просьбами увеличить им запашку и никак не хотели понять, что, увеличивая ее, совхоз обидел бы другую коммуну или артель... И все же, несмотря на все эти различия, поразительное сходство было между полями колхозов, и точно так же походили они на совхозные участки. Одни и те же зеленые вагончики неизменно встречали нас среди пахучих березовых перелесков, а неподалеку простирались одинаковые, сплошные, без единой межи пашни с ползающими по ним тракторами... Те же бочки с горючим, то же гудение моторов, те же загорелые, запыленные лица людей, — единый облик нового, социалистического землепашества.

Дольше всего задержались мы
ском колхозе «Ленинизм».

Москаленцы досевали большое поле, со всех сторон окаймленное колками. Три трактора еще сновали взад и вперед, заделывая края и уголочки, а колонна уже собиралась сниматься, чтобы сегодня же перейти к казакам.

«Интернационал» медленно пятился к одному из вагончиков, собираясь взять его на буксир. Другой вагон, с прицепленной к нему сеялкой, был уже выведен на дорогу. Тут же, под открытым небом обедали рулевые; молодая сероглазая повариха торопила их, приговаривая: «Ну, ну, деточки, поскорее, посуду надо мыть», а рядом несколько человек уже складывали палатку, заменяющую в обычное время столовую.

Не принимали участия в общей суете только колхозники, — им предстоит еще несколько дней проработать тут на своих лошадях и машинах.

Их стан был разбит отдельно. Состоял он из досчатой загородки, в которой россыпью хранилось семенное зерно, из груды хомутов и единственного самодельного вагончика — или,

вернее, будки, поставленной на колеса от обыкновенной крестьянской телеги. В ней спят и греются только сторожа, остальные расходятся на ночь по домам.

У костра, бесцветным пламенем пылавшего неподалеку, сидел председатель артели, огрызком карандаша вписывал в разграфленную тетрадку какие-то цифры.

— Сеять нужно, а тут сам табель веди, — пожаловался он. — Очень хлопотное дело, половинки да четвертушки. Другому поручи, скандалу не оберешься.

Говорил он медлительно, как бы запинаясь перед каждым словом. Это вполне подходило к его внешности — к тусклым, сонным глазам с желтыми белками, к черным усам, уныло опущенным книзу, к картузу, безнадежно с'ехавшему на затылок, — но уж вовсе не соответствовало тому человеку, о котором мне приходилось не раз слышать, как о прекрасном организаторе и умелом вояке с татьяновским кулачьем. Это он сумел уговорить односельчан-единоличников, когда те недавно, под влиянием чьей-то неуловимой агитации, отказались было давать москаленским тракторам воду из своего котлована.

Я разговорился с ним, и он, вяло помешивая клокотавшее над огнем варево, долго рассказывал о том, как организовалась артель, — о зимних собраниях, на которых дело не раз доходило почти до драки, о строптивых женах, о сложных кулацких маневрах, о том, что народ «по старой традиции крепко хватается за собственность», и это очень вредит даже сейчас, когда обобществление рабочего скота и инвентаря закончено... Это была длинная повесть, повторяющая истории других, точно таких же артелей, и в то же время совершенно неповторимая в своих особенностях, — нечего и пытаться передать ее в нескольких словах.

— Семей у нас двадцать восемь, — сонным голосом говорил председатель, — половина батраки, остальные хозяева. Колхоз маленький, а ничего, кусается. Размер этот, как говорится, опытный, до своего срока. На нас косым глазом смотрят: посеем или нет? Посеем — так все село в артель соберем, сорвемся — и те, что сейчас, разбегутся... Это я отлично понимаю, весь фокус, чтобы сейчас не сорваться. Поскольку совхоз нам пшеницу сеет, это, конечно, отпадает. Да ведь смотрят-то не на совхоз, а на нас, каковы мы сами. Мы и не сдаем. Единоличники наши так займаются, кто десятину посеял, кто две, а кто и пахать не начинал. А мы через недельку почти, можно сказать, и кончим...

К костру подошла высокая босоногая женщина, — глянула на председателя сверху вниз огромными диковатыми глазищами, спросила, опуская ресницы:

— Обедать будем?

Тот скучливо ответил:

— Зови ребят...

Я пошел к автомобилю. Там Зарниченко говорил с молодыми парнями-колхозниками, и еще издали был слышен его резкий голос:

— Если он середняк, за него бороться нужно, а ты предлагаешь его даром кулаку отдать. Это, товарищ, политическая ошибка. На середняка нужно смотроть как на будущего колхозника, это главное...

Косько уже сидел за рулем. Мы полезли в кузов, и тотчас мимо окна с шорохом поползли зеленые ветви берез и голые, с надувшимися почками осинки... Долго тащились колками — дорога здесь, в тени, еще не просохла, — потом выбрались в чистую степь и вмиг докатили до Татьяновки. По улице и по голому церковному двору, как в праздник, шатались парни; повсюду на завалинках сидели, греясь на солнце, люди.

У одного из домов Косько остановил машину, чтобы расспросить о дороге. Зарниченко опустил стекло, высунул голову в окошко:

— Вы что же, товарищи, сидите? — спросил он. — Сеять совсем не думаете, что ли?

Кто-то нехотя ответил:

— Придет время, так будем.

Потом, бойко семеня обутыми в пимы ногами, подбежал маленький старичок, затряс квадратной седой бородой; по-бабьи затараторил:

— Сеять мы рады, да вот горе, нет у нас ничего! Семян нет, табаку нет, картошки нет, луку нет...

Зарниченко даже зажмурился, а когда автомобиль тронулся, протянул свирепо и удивленно:

— Ух, и сво-олочь!

Косько, помолчавши с минуту, откликнулся, — сказал негромко и как-то «из середины»:

— Рабочий класс, говорю, напрягает все силы, а они, как паразиты...

— Ну, ну, — оборвал его Зарниченко, — кто о н и-то? Ты, брат, не загибай, они разные бывают.

Автомобиль вырвался из села и снова катил по чистой, без единого перелеска, степи. И справа, и слева, и впереди темнели плоскими,

вросшими в землю кровлями аулы, и хотя Косько только что расспрашивал, как ехать, мы заплутались, — прежде чем попасть в нужный аул, побывали в двух других, где встречали оголтелым ласи тощие борзые и кто-нибудь из стариков шамкал:

— Мы Данай, та сторона будет Бабеш, тебе Каржас прямо ехать...

Наконец, мы увидели на одной из дорог тракторные следы — глубокие вдавлины, оставленные шпорами «Интернационала» — и, придерживаясь их, без труда добрались до Каржаса.

На едва начинающей зеленеть луговине, по которой в полном беспорядке рассыпаны были дерновые землянки, поджавши ноги, сидели два казака в богатых бешметах. Рядом пасся оседланный жеребец. Зарниченко, указывая движением бровей на него, сказал:

— Гость... Из другого аула... Они так вот до вечера могут просидеть за разговорчиком.

Гостем оказался казак постарше и одетый побогаче; разговаривал он с председателем здешней артели.

Председатель встал на подножку автомобиля, скаля желтые растопыренные зубы, поехал с нами. Гость взобрался на коня и поскакал следом.

Сразу же за аулом открылось поле, разрезанное дорогой на две половины. По одну сторону пахали в несколько плугов лошадьми, по другую — тракторами. Пестрая толпа женщин, стариков и детей молча следила за «Интернационалами», а когда какой-нибудь из них приближался, сразу разражалась возгласами, смехом и говором.

Мы вышли из автомобиля. К нам рысью подбежал бригадир.

Впоследствии Зарниченко рассказал о нем:

— На курсах, зимой, он был у нас самый бестолковый, от всех отставал. Мы его даже снять хотели. Он — чуть не в слезы..., ну, пожалели, оставили. Так опять повторяется та же история!.. Что же оказалось? Это у него от смущения туман в мозгах появлялся. Как мы его выпустили—условно, конечно—он на практической работе сразу окреп, просто не узнаешь. Попросил аттестат. Мы ему говорим: «Заслужи сначала». Он и старается, — теперь, пожалуй, лучший бригадир в совхозе.

Сейчас «лучший бригадир совхоза», свешиваясь с седла, от которого осталось одно лишь деревянное основание, опираясь на такие же деревянные стремена, говорил:

— Сегодня допашем, а завтра, если сеялки не запоздают, надо бы отсеяться.

Его поджарый конек был весь в крови. Косько спросил:

— Чего это он у тебя?

— Кыргиз, сечется, у них от жары всегда так...

День действительно был жаркий, изо всех. Когда мы, распрощавшись с колхозниками, повернули к Борисовке, тяжко стало сидеть в нагретой кабинке, даже с опущенными стеклами. Зато ехали мы уже без всяких приключений и вскоре оказались на совхозной земле — на полях Славянского участка.

Здесь были уже порядочные всходы. Клетки явственно зеленели на много километров, и на них можно было, как по книге, прочесть все мелкие ошибки и погрешности сева: вот у самой дороги густое зеленое пятно—тут заправляли сеялку, и зерно текло из дырявого мешка; дальше, во всю длину клетки протянулась такая же темная прошва — это сеялка дважды прошла по одному следу; еще дальше, в сплошном зеленом массиве зияет длинная черная трещина — рулевой зазевался, и трактор отошел от маркерной бороздки, оставив этот огрех как неоспоримую улику... А вот улика посерьезней: метров на пятьдесят тянется широкая черная плешина, доказывая, что на этом месте в ящике вышло все зерно и это не сразу заметили, а потом, уехав вперед, уже не знали, откуда возобновлять сев...

Со Славянского участка проехали на Южный Джалтырь, потом на Северный — единственные два участка, на которых сев еще не закончен.

Кроме «своих» колони, здесь работают славянцы и эйбетинцы. Работа идет безостановочно. Все эйбетинские катерпиллары, за исключением тех, что пашут в «Искре», со вчерашнего дня переведены на сев. Они осиливают пять сеялок сразу — получается полоса в двадцать метров шириной. При скорости трактора в четыре с лишним километра это дает восемь гектаров в час... Все колонны выполняют программу с превышением — на двадцать, тридцать и даже пятьдесят процентов против норм, предусмотренных планом: завтра последний день...

На центральную усадьбу вернулись поздно. Проезжая мимо столовой, увидели, что за день к ней пристроили довольно поместительный навесик и уже успели с двух боков обшить его тесом. Это первый реальный результат

третьсводнишней «бытовой» резолюции... А за ужином обнаружился и второй — в виде добавочного мясного блюда, ценою в тридцать копеек.

15. КОНЕЦ ВЕСНЫ

29 мая.

Позавчера ночью сев был закончен — точно в одиннадцать дней.

Вчера только несколько тракторов заделывали огрехи и уголки, оставшиеся после фигурного движения сеялок, — все остальные машины перешли на поля колхозов или работали сверх плана, чтобы не пропало попусту ни одного килограмма семенного зерна. По расчетам, остатков должно хватить еще на девятьсот с лишним гектаров.

Сеют сверх плана и сегодня... И оттого, что напряжение не разрядилось сразу, на каком-то отчетливо достигнутом месте, а постепенно сходит на-нет, совершенно утрачивается ощущение конца. Знаешь, что план выполнен, но в то же время чувствуешь, будто уже несколько дней незримо присутствует в совхозной жизни нечто новое, еще неясное, но уж никак не менее сложное, чем бессонные ночи, оставшиеся позади... И день сегодняшний, как черта, через которую не успел переступить, — одна нога здесь, а другая там.

И все же черта... Когда я, среди дня, зашел к Косько, он диктовал новые приказы завучам, предлагая им принять меры к организации покоса на пустующих землях, предлагая приступить к заготовке дров и к корчевке деревьев на клетках, предназначенных под распашку. Это уже июнь — летний месяц...

Кончив диктовать, Косько сказал:

— Нынешний год, говорят, совпадает по течению весны с 1904 и 1912. В те годы урожаи были баснословные... Что, если и сейчас так — завернет пудов по сто с га? Пропадем!.. Ни за что не убрать.

Он засмеялся счастливым ребячьим смехом, прошелся по комнате, и видно было, что думает он совсем иначе...

От него я отправился к Пеште — впервые увидел его в бездействии. Он стоял, заложив руки в карманы, у раскрытого окна, прямой, несколько торжественный, и то ли смотрел на воробьев, чирикавших на земле, среди навоза и зерен, то ли на облако, одиноко застывшее в безветреном небе.

— Кончили, Иосиф Иванович?

Он вздохнул и молча пошел к столу. Потом ответил:

— Конца никогда не бывает... Я вот стоял, думал — с пахотой мы уже запоздали, недели на две. Потом уборка... А на будущий год посев нужно увеличивать втрое, значит опять все сначала... Я не волнуюсь. Нужно работать.

Он поднял брови и улыбнулся грустной кривой улыбкой. Сквозь открытое окно тянуло запахом берез и тракторного дыма. Ровное неумолкающее гудение моторов доносилось издалека — вечная песня движения, которому не бывает конца. Он был тысячу раз прав, этот человек, ощущающий движение и свое место в нем... Но все-таки сев кончен.

Кончен сев, — и все нетерпение борисовцев, их ожидания, тревоги, бессонные ночи, ожесточение, ярость — все осталось позади, и не пройдет недели, как даже последнее торжество победителей превратится в воспоминания... Пройденным рубежом пролег в жизни борисовцев выполненный на 105 процентов посевной план, и за ним начинается новая эра, ибо уже иные цели обозначаются впереди.

Сотнями невидимых нитей тянутся туда, к новым целям, мысли, заботы и дела людей... Но это уже начало совсем другой повести, и вместе с последним днем весны, вместе с последним засеянным гектаром конец и моему весеннему дневнику.

День

А. Лежнев

За стеной слышится пенье, затем дребезг задетой гитары и торопливые шаги на кухню. Это значит, что оба Дани встали и отправились умываться.

Умываются они долго, фырча, расплескивая воду, и при этом продолжают жестокий спор, начатый еще, верно, вчера вечером. Иные реплики вовсе теряются, растертые зубной щеткой в мычанье. Другие разорваны на бессвязные обрывки. Но спорящим не нужно слово. Им достаточна его шумовая проекция.

Потом они проходят через столовую с мокрыми волосами и лицами докрасна натертыми полотенцем.

Один Даня — повыше и заметно косит. Легкая задоринка, озорной огонек, бес 19 лет пробегает в его зрачках, перепрыгивает из глаза в глаз и успокаивается где-то в наружном углу века. Другой Даня — коренаст, основателен и похож на парня из крепкой, хозяйственной еврейской семьи, который не станет «шляться», пьянствовать, «босячить», найдет себе дело, женится и к жене будет относиться с должным вниманием и заботливостью. Его жениховский возраст неопределенный, ему может быть и 18 и 25.

Дани встают поздно, когда большая часть делового утра уже минула и шаги Юзика, молодого рабочего с фанцеха[1], давно забыты комнатами, притворяющимися, что никакого комбината[2] нет и не надо вставать в 7 часов, чтобы бежать сокращенным путем по проулкам Минского плана, и не было этих 13 беспокойных лет, и стоит только высунуться из низенького окна, как увидишь тучную, выплывающую из-за угла фигуру исправника.

— Даня! — говорите вы, входя к ним, — как же насчет фабзауча? И почему вы так поздно встаете?

— Ах, вы об общежитии? — вскидывается Даня, что повыше, и бес в его правом глазу соскальзывает куда-то вбок. — Мы это в два счета устроим. А поздно встаем потому, что у него работа в ночной смене, а мне надо на занятия к двум: у нас ведь они сейчас производятся частично.

И он победоносно втягивает в себя горячий чай из стакана.

Вы оглядываетесь вокруг, как бы ища поддержки. На стенах портреты вождей, гитара и чистенькие открытки с видами Крыма и рейнских берегов. В опрятной комнате — хозяйственный дух второго Дани, который сейчас улыбается, немного конфузливо и солидно.

— Нет! — отвечаете вы, — с вами нельзя уславливаться. Вы это уже в какой раз обещаете. Придется самому.

— Правильно! — соглашается высокий Даня. — На что мы вам? А с ребятами мы уже говорили. Вы не беспокойтесь.

— Если вы сейчас пойдете, — добавляет второй, — вы их всех застанете.

Оба Дани — фабзаучники. Фабзайцы, как они с гордостью называют себя. Но вам странно прилагать имя лопоухого зверя детских сказок к этим великовозрастным парням.

На улице после вчерашнего дождя свежесть. Маленькие косоплечие дома. Социалки, все население которых можно было бы с удобством разместить в одном большом московском доме, хотя номера их и перешагнули за 200, кажутся помолодевшими, как будто их отремонтировали и выкрасили. На земляных тротуарах Минской улицы лужи еще не просохли; их приходится обходить. Вы считаете ставшие знакомыми заборы и крылечки. Вот, наконец, и большой сад, похожий на запущенное кладбище. Впрочем, сады здесь все запущены, особенно те, что поменьше. Сливовые деревья не приносят плодов и превратились в декоративные растения. Из яблоневой листвы редкие-редкие яблоки одичавшего вида высовываются, как

---

[1] Фанцех — фанерный цех.

[2] Имеется в виду Бобруйский лесокомбинат.

зеленые кукиши. И пока вы любуетесь изгибистой и задумчивой зеленью, обтекающей каждый домик этих широких окраин и переплеснувшейся за деревянные грани заборов, — вдоль садового края где-нибудь уж наверное наросла новая кучка, из тех, которыми ребятишки — а в ночь потемнее и взрослые — унавоживают, по доброму российскому обычаю, почву.

От сада-кладбища вам уже недалеко. Наваленные булыжники издали указывают улицу нового рабочего поселка, которую теперь мостят. По ней автобус пойдет до самого комбината. Общежитие фабзауча раскрывается в ее простор своим одноэтажным фасадом. Молодежь вы застаете в общей комнате, которая, очевидно, является одновременно и столовой и маленьким клубом. Сейчас там зачитывают какую-то пьесу из репертуара «Синей блузы». Два парня вызываются в ваши провожатые. В комнатах у девушек чисто, светло. Прямоугольники солнца соскользнули к ногам подоконников. Кровати застланы белыми пикейными одеялами. На стенах, как у Дань, выставка всяческой красивости: виды Алупки, античные сцены Альмы Тадемы, какие-то иностранные пейзажи. Розовые и сиреневые пеплумы картинно струятся по мраморным скамьям, как материи в витринах Шелкотреста. Руины замков мечтательно уставились в воду. Сумерки «с настроением» повисли в кудрявых купах деревьев. Открытки развешаны симметричными группами: отдельно вожди, отдельно пейзажи. У парней, комнаты которых по другую сторону коридора, — грязнее и хуже. Впрочем, тут есть градации. У одних довольно сносный порядок. Пол подметен. На кроватях если кто и валяется, то босой. Серые одеяла аккуратно сложены. На гвоздиках—штаны и балалайки. Вместо открыток — революционные лубки: «Взятие красными Казани» или «Битва при Уфе». Громкость красок здесь напоминает военный оркестр. Лихость всадников и коней непостижима. Но красные кавалеристы почему-то все выглядят Кузьмами Крючковыми. В других комнатах безалаберность носит все черты застарелой хронической болезни, на которую давно уже махнули рукой. Оголенные тюфяки показывают свою пятнистую кожу. На стенах — рисунки углем. Энергичный профиль с бородкой и буйной шевелюрой похож нето на Дзержинского, нето на Троцкого. Оказывается, это — Ленин. Обои над кроватями разорваны и висят клочьями. Вас удивляет правильная повторяемость явления. Вам об'ясняют, как это делается. Лежишь на кровати — и ударишь ногой: интересно, когда трещит и стреляет.

Читка окончилась. В комнату, где застряли вы и ваши гиды, набивается понемногу все больше фабзаучников. Это — молодежь в возрасте от 16 до 19 лет. Но так как эти четыре года заключают в себе несколько разных возрастов, отличия между которыми очень резки, то у вас получается впечатление большой неоднородности. Особенно среди мужчин вы видите, рядом с совсем уже взрослыми людьми, полудетей, подростков с ребячьими лицами, наивно и мягко оформленными. Но именно они, именно такие, у которых как будто не обо всем и спросишь, прежде других вступают в разговор и оказываются самыми общительными.

Второе, что бросается в глаза после возрастной пестроты, — это пестрота бытовая. О ней говорит уже внешность отдельных комнат, то аккуратных и прибранных, со ставкой на «уют» и известную культурность, то расхристанных, безалаберных, отчаянно заломивших шапку набекрень и выставивших ноги в опорках. Она проявляется в одежде, в выражении лица, в речи, в манере держаться. У иных девушек степенность осанки и хозяйственные интонации голоса сразу выдают местечко. Вы безошибочно угадываете дом с белыми ставнями, дверь, поющую мечтательным и ржавым голосом мартовского кота, кадушку в сенях, красные деревянные стулья с квадратными сидениями и увеличенные портреты талмудически-бородатого дедушки и бабушки в черном парике. Вам кажется, что в словах и движениях этой молодежи просвечивает вся неяркая разнородность ее жизненной обстановки: бойкие кварталы рыночных переулков, переполненных «мелким людом», протяжная городская окраина с пустырями и огородами, серая улица деревни, в безлюдном просвете которой одни журавли колодцев опускают свои длинные клювы, чтобы утолить нестихающую жажду.

В общежитии — 50 человек (по 130), главным образом иногородние. В их быту есть коечто от коммуны, но в очень скромных, обычных для наших общежитий масштабах. Завтраки и ужины общие. Каждый вносит на это 8 рублей в месяц. При 26-рублевом бюджете фабзаучника такая сумма довольно велика.

К ней надо прибавить 12 рублей на обеды, которые в столовке комбината обходятся по 40 копеек и которые фабзаучники мечтают перенести к себе и сделать общими. На одежу, обувь, разные отчисления, культурные нужды остается очень немного (6 рублей). Впрочем, большинство учащихся получают помощь из дому — посылками с'естного, платьем. Некоторые прирабатывают, заменяя станковых, почему-либо не вышедших на работу.

Во всяком случае, они не похожи на аскетов и страстотерпцев. Не видно среди них и тех мучеников учебы, которых с такой охотой изображает наша беллетристика. Они довольно часто ходят в кино и в театр. Театр в особенности пользуется их прочными и, кажется, всеобщими симпатиями. Старая литературная привычка заставляет вас заинтересоваться репертуаром: что они видели, и что им понравилось? В ответ сначала — большое молчание. Потом почти единодушный возглас, который вас удивляет своей неожиданностью: «Сакко и Ванцетти!» Это — пьеса, действительное название которой вы плохо улавливаете в шуме голосов, неизвестная вам пьеса, очевидно, являющаяся передолкой романа Э. Синклера «Бостон», но переделкой, где сильно подчеркнуты драматические моменты. Так вы заключаете из тех замечаний, попыток пересказа, оценок и возражений на лету, которые начинают быстро сыпаться, обгоняя друг друга, словно упоминание о пьесе открыло какие-то шлюзы, которые до сих пор сдерживали воду беседы, и она, падая, шумя и волнуясь, устремилась вперед, обросла пеной, завертелась кругами воронок. «Сакко и Ванцетти» пленило, видимо, эту молодежь той же романтикой героического страдания и подвига, которой войничевский «Овод» увлекал старшее поколение,—резкими контрастами доблести и низости. Но не ограничивается же любимый ими репертуар переделкой романа Синклера? Вам называют, но уже менее дружно, «Город ветров», «Разлом», «Выстрел».

Разговор переходит на литературу. Учащиеся вообще читают довольно много, и притом круг их читательских интересов еще широк и не успел так заспециализироваться, как это часто бывает впоследствии. Вы могли бы поэтому ожидать, что художественное слово и особенно беллетристика пользуются здесь вниманием и успехом. На деле это не так. Правда, на столе перед собой вы видите белорусский литературный журнал и распластанное на середине текста роман-газетное издание «Тисса горит» в еврейском переводе. Правда, фабзаучники устраивают нередко общие чтения вслух. Но читают они преимущественно газеты: местные и «Комсомольскую правду». Когда вы спрашиваете об известных им писателях, вы слышите в ответ трафаретный перечень, навеянный школьными программами: Неверов, Сейфуллина, Серафимович, Гладков, Фурманов. Почти ни одна книга не врезалась сильным следом, не связалась с читателем той личной связью, которая заставила бы говорить о книге так горячо и взволнованно, как только что говорили о «Сакко и Ванцетти». Вы думаете, что, может быть, белорусская литература, более близкая по языку и бытовой окраске, воспринимается теплее: журнал на столе свидетельствует, что за ней следят. Но и тут вы слышите опять ровные слова, без интонаций, произносимые с той же благожелательной незаинтересованностью.

Вы машинально перелистываете перевод «Тиссы». Еврейский роман, белорусский журнал, русская газета — эта трехязычная пестрота печатного материала словно нарочно подобрана на маленьком пространстве стола, чтобы нагляднее показать национальную разнородность этой молодежи. Она дана ощутимо, зрительно, на-глаз. Пестрота возрастная и бытовая усложнена национальной. Вы смотрите на эти лица, такие различные в своей характерности и разделенные на два основные типа — светлый и мягкий белорусский и более темный, резко-черный еврейский — и думаете, что ведь Бобруйск — место действия знаменитых процессов об антисемитизме. В его окрестностях разыгралось дело Баршай, прогремевшее на весь СССР. После него, уже на самом комбинате, произошел «случай» более трагический по последствиям. Рабочего Наймана антисемиты из сезонников-строителей толкнули в яму с негашеной известью. Найман ослеп. Вы знаете, что антисемитизм здесь — не случайное явление, а имеет старые корни и длинную историю. Вы знаете, что он десятилетия и века был в этом этнически-пестром краю заурядным бытовым явлением, которое заботливо поддерживалось попечением начальства, как и всякая национальная вражда. Каждую пасху евреи ожидали погрома. На колеблющихся весах случайности решалось, пойдет ли пьяная, науськанная попами толпа расправляться с врагами православной веры, или «светлое христово воскре-

сенье» сойдет благополучно. Агрессивному и сверху поощряемому юдофобству противостоял скрытый, ушедший в себя, но, быть может, не менее сильный шовинизм угнетенного народа. Русский или белорусский «мещанин» презирал еврея как человека низшей нации. Еврей презирал «Афоню-вора» как примитивное, варварское и тупое существо. Город «черты», особенно мелкий, знал, помимо классового членения, настоящие национальные касты. В касту русских, составленную из акцизных чиновников и преподавателей прогимназии, вход для евреев был наглухо закрыт. Польская каста надменно отгораживалась и от русских и от евреев. В «низах» высокомерия и изоляции было меньше. Но даже и белорусское «мещанство», мещанство не в литературном и классовом, а в сословном, приписном смысле, т. е. беднота окраинных улиц, гнушалась обществом «жидов». Пусть «мещанин» был судрой. Ниже его был парий, еврейский бедняк. Негоже судре общаться с парием.

Впрочем, и парий не так уже жаждал общения. Еврейский интеллигент или эмансипированный буржуа бывал очень польщен, когда запертые для него двери касты чуть-чуть приоткрывались и он мог хотя бы на минуту, приобщиться к сонму акцизных. Усатый курносик в форменной фуражке был для него тем же, чем маркиз для мольеровского мещанина. Но толща еврейского населения, масса бедноты жила довольно замкнуто, в силу неизжитых бытовых и религиозных традиций, и еще более замыкалась, встречая пренебрежительное и брезгливое отношение.

Грязь и копоть, веками нараставшие на стенах дома, не так легко поддаются усилиям истории, даже когда та производит генеральную чистку. Вы смотрите на этих молодых белоруссов и евреев, отцы которых, наверное, недружелюбно косились друг на друга, и думаете: как же сложились отношения между ними? Ответ не заставляет себя ждать. Эта тема, видимо, не является для них новой и не раз уже обсуждалась. Антисемитизм? Нет, конечно, нельзя сказать, чтоб его не было. Есть. Но довольно мало. Иной парень, хотя и комсомолец—тут почти все комсомольцы—и как будто понимает, а все не может забыть, чему он дома научился. Но каких-нибудь эксцессов, скандалов, хулиганских выходок — этого они не запомнят. Антисемиту здесь не очень разгуляться. Чуть что — цыкнут... Как, разве цыканьем только и одерживают? Нет, ничего подобного. Но ведь всегда может найтись три-четыре хулигана; если их не одернуть, они все общежитие испортят и такого натворят...

Реплики подаются опять многоголосо, одновременно и вперебой. В разговор вступают одинаково и евреи и не-евреи. Видно, что борьба с антисемитизмом является делом не какой-нибудь одной, «заинтересованной», обиженной стороны, а всех собравшихся, целого коллектива, которому совестно за то, что *такое* может иметь место. Особенно озабочен вопросом молодой белокурый парень, почти мальчик, с румяным и застенчивым славянским лицом, сидящий у окна, в полосе света. Он почему-то для вас больше всего убедителен.

В раскрытые двери комнат вы видите в последний раз солнечные пятна на полу, кудрявые открытки с парками, задранные на спинку кровати ноги. Со стен киноактеры улыбаются затверженной фотогеничной улыбкой. Фабзавучники прощаются на крыльце и зовут к себе в гости. Две девушки провожают вас дальше. У одной из них круглое и доброе лицо. Она из Витебска и к Бобруйску относится с легким пренебрежением, как житель столицы к провинциальному городишке. Ее подруга молчит и отвечает на ее вопросы больше миникой и жестами. Витеблянка почему-то недовольна «ребятами».

— Они не всю правду сказали.

— Вы это об антисемитизме?

— Нет,—отвечает витеблянка.—Насчет антисемитизма правильно. Я—еврейка и не чувствую его. А евреи ведь очень подозрительны на это и редко ошибаются. Конечно, нельзя знать, что у иного делается в душе. Но отношения у нас товарищеские, хорошие. А не сказали они другое—про быт.

— Про быт?

— Да. У нас пьянки бывают. А потом опаздывают на работу. У нас ведь практика на заводе: собственных мастерских нет. Только в будущем году построят. А иногда уходят с работы раньше времени.

— Почему же вы сами не сказали?

— Я не привыкла. Стесняюсь. Кроме того, сколько раз было об этом говорено. Нам нужно трудовую коммуну устроить. Директор обещал помочь, да ничего не сделал.

Вы вспоминаете бытовую распность комнат общежития, кудрявые открытки, разодранные для смеха обои — и внутренне соглашаетесь с

вашей спутницей. Вы ей говорите об этом, но при первых ваших словах она вспыхивает. Мещанская обстановка? Да, она уже слышала от ребят. А жить, как они, не мещанство? На полу наплевано, на стенах рисунки углем, целый день валяются с ногами на матраце: противно зайти. Вы робко возражаете, что, может быть, хуже живут те, у которых материальные возможности меньше. Но она энергично качает головой. Нет, возможности у всех почти одинаковые; разница невелика. Все дело в неряшливости. Они насмехаются над девушками, что вот у них открытки да подушечки. Пусть бы они лучше показали, как надо устроить, чтобы не было мещанства. Может быть, открытки и в самом деле плохие. Но чем их заменить? Ведь ничего другого нет. А жить в голой, ободранной комнате скучно. Тут вы ее перебиваете: ну, а ей самой эти картинки нравятся? Она вспыхивает вторично. Что ж, она не окончила художественных курсов. Ей нравится. Вот ездят же люди в Крым — и не стыдятся. Почему же стыдно повесить открытку с крымским видом?

Вам преграждает дорогу толпа детей, вышедших из детского сада. Маленькая белоголовая девочка приплясывает на тротуаре и кричит: «Божая коровка! Божая коровка!» Она беснуется, она в полном экстазе. Руководительница—в темном платье и роговых очках—подходит к ней и спрашивает назидательно и нарочно громко: «Галя! Какая божья коровка? Разве такие есть? Как мы их называем? Забыла? Мошки». Галя опускает голову и перестает плясать. Вы тоже окончательно сражены этим видом антирелигиозной пропаганды.

— Мы можем зайти к Капланам,—говорит витеблянка,—вот дом, где они живут. А рядом — Яновские.

Улица комбинатского поселка, по которой вы идете, застроена еще не сплошь. В ее челюсти пустыри зияют, как дефекты от недостающих зубов. Остовы незаконченных домов означены стропилами. Готовы и заселены рабочими лишь десятка полтора домов, скученных ближе к фабзаучу. Они все одинаковы, одноэтажны и невелики. В один из таких домиков вы и заходите.

Самого Каплана нет. Он на заводе. Из кухни слышится голос его жены. Передняя открыта в большую комнату с обеденным столом и никелированной кроватью, шишечки которой блестят, натертые до сверканья работой солнца. Свет его напирает в закрытое окно с такой физически-ощутимой силой, как будто хочет продавить запыленное стекло и броситься, очертя голову, в омут неприбранной постели. Стенные часы показывают два. Мухи, ошалевшие от духоты, бродят развинченно и угрюмо, готовые покончить самоубийством. В двери показывается веснущатый носик девочки, любопытно поводит по сторонам и скрывается. В комнату быстро входит, вытирая руки о передник, жена Каплана. Она немного смущена тем, что вы застали ее семейное святилище в растерзанном виде. С витеблянкой она здоровается, как со старой знакомой. В ней есть вежливость исконной городской жительницы и «хозяйской» дочки. Она извиняется за беспорядок и во что бы то ни стало хочет вас угостить чаем. Веснущатая девочка, похожая на застенчивого зайца, опять показывается в дверях и, вся переконфуженная, но полная удвоенной любознательности, прячется за стулом матери. Это—младшая. Старшая в детском саду. Вся семья из четырех человек: она, муж и двое детей. Муж — сортировщик сосновой клепки в лесопильном цеху. Заработок его 65—100 руб. в месяц. В среднем рублей 80. Квартиру они получили недавно, так как весь поселок новый и вырос на месте, где еще несколько лет назад были лес и поле. В доме у них три комнаты. Одну они сдают, тоже рабочему, инструктору фабзауча, так что квартира обходится им недорого: из 20 руб. ежемесячной платы 10 р. покрывает квартирант. Дрова им отпускаются задешево с комбината — платить приходится почти что за одну доставку. Если сложить все расходы по квартире, то выйдет рублей 13 в месяц. Самая значительная часть бюджета — больше ¾—уходит на еду. Она считает еще — по старо-бытовой еврейской привычке — на недели: 15 руб. в неделю, т. е. свыше 60 руб. в месяц. Мясо едят они очень редко: в кооперации не достать, а на рынке дорого. Но они в сравнительно благоприятном положении: у них корова. Рабочие здесь вообще довольно часто имеют коров. А куры в поселке у всех. Труднее всего с обувью и одеждой: ордеров мало, не хватает. Муж ее и в свободное от работы время ходит в прозодежде.

Она перехватывает ваш взгляд, скользящий по никелированной кровати, фотографиям родственников, новенькому дивану, на который, видимо, боятся присаживаться, платяному шка-

фу. В ее глазах и гордость, и опасение, что все это великолепие может быть не так истолковано. Она поясняет:

— Кровать мы приобрели по рабочему кредиту, диван старый, только недавно обили за свой счет, деньги на шкаф прислал брат из Америки.

Девочка-заяц кивает головой, подтверждая слова матери. Все смеются. Заяц от смущения залезает под стол. Мать гладит ее по голове и тихо уговаривает вылезть. Вас удивляет, что она говорит с ней по-русски. Это всегда так? Да, всегда. Между собой они с мужем говорят по-еврейски, а с детьми по-русски. Так поступают не они одни, а большая часть здешних рабочих. Странно! Как упорно сохраняются здесь остатки старого просветительства, когда русский язык был язык светской культуры и означал выход в другой мир и разрыв с религиозно-бытовой традицией. Да и тогда на русский язык переходила главным образом буржуазия. В среду бедноты просветительство — уже до революции—стало проникать через посредство еврейского языка. Но для Капланов еврейский язык сохранил до сих пор черты какого-то традиционализма, и поэтому они его инстинктивно избегают. Правда, они это об'ясняют иначе: тем, что русский язык, на котором говорят многие десятки миллионов людей, открывает человеку больший простор. Но вы вспоминаете, как заведующий рабфаком вам рассказывал, что еврейское отделение рабфака пустует, так как евреи стараются попасть на белорусское. А ведь белорусский тоже язык малого народного охвата. Нет, дело, очевидно, именно в традиционализме, в привычном восприятии всякого не-еврейского языка как языка культурного, в пренебрежении к родной, но презираемой другими речи, в недооценке того, что форма еврейского языка заполнена уже другим социально-культурным содержанием.

Девочка, наконец, дает себя уговорить и вылезает из-под стола, но только для того, чтобы опрометью броситься вон из комнаты. Каплан немного задета вашими словами. Русский язык для нее все еще знак освобождения от старины. И свою воспитательную систему она ставит в связь с общим упадком традиций.

Хедеров уже нет, говорит она. Осталось еще в городе несколько учителей древнееврейского языка, но к ним мало кто обращается. «Кошер» соблюдают только старики; резники сидят без работы. Прогуляйтесь в субботу по городу,—вы и не заметите, что суббота. А ведь раньше все бывало закрыто. У нее есть родственник, старый человек, со старыми понятиями. Он недавно поступил на завод и работает по субботам. А надо знать, что̀ такое обычай для старого еврея. В прежнее время он лучше бы с голоду умер, чем что-нибудь сделал в праздник. И во всем так. Обрезания почти никто не производит, по крайней мере среди рабочих. К смешанным бракам привыкли, вряд ли кому в голову приходит удивляться.

Тут в разговор вмешиваются ваши спутницы. Они настроены более скептически. Нельзя сказать, чтоб от религии уже ничего не осталось. Обряды выполняются иногда и рабочими,—конечно, гораздо реже, чем раньше. У них в Витебске был случай, когда одного коммуниста вычищали из партии за то, что он обрезал сына. Смешанные браки редки. Это в Москве делается просто, а здесь осторожны, боятся родных, знакомых, бабушек, тетушек.

Возражения фабзаучниц не убеждают хозяйку дома. Она даже входит в легкий раж. Кто это боится бабушек? Какие-нибудь слабохарактерные дуры. Верно, что здесь меньше смешанных браков, чем, говорят, в Москве. Так ведь там евреев горсточка среди русских, а здесь евреи в большинстве и поневоле встречаются друг с другом. А что касается обрезаний, она таких случаев в рабочих семьях не знает, хотя она уже давно связана с комбинатом. Нет, старины осталось немного, и если б ее покойная бабушка могла на минуту ожить и пройтись по городу, она бы не поняла, куда это она попала.

Дом Яновских почти в точности повторяет квартиру Капланов. Вам сначала кажется, что вы очутились в цветочном магазине. Пол в комнате сплошь заставлен горшками с геранью, фуксией и китайской розой. Круги на подоконниках говорят о том, что горшки недавно с них сняты. Окна герметически закрыты; спертый воздух пригибает листья растений к полу. В раскрытую дверь вы видите тесно сдвинутые койки, которые придают второй комнате вид лазарета. Неубранные постели зевают скучно и беззубо. Скалы Южного берега на стене—единственное, что напоминает о лете и свежести в этом доме, запертом, как коробка. Мебель—с поползновениями на изящество и комфорт — хуже, чем у Капланов. Ее много, но она вся неосновательна и произрастает там, где ее никак не ожидаешь. Яновская неслышно

проскальзывает между ее нагромождениями, мягко ступая босыми ногами. Это—черноволосая, немолодая женщина, вдруг неожиданно улыбающаяся тонкой и умной улыбкой. На руках у нее трехмесячный мальчик-старичок. Она рассказывает о превратностях его недолгой жизни; он перенес холерину и воспаление легких и сейчас еще не совсем здоров. Голубоглазая девочка с нежным, смуглым лицом такой строгости и чистоты линий, которые кажутся немыслимыми у взрослого человека, держится возле матери. Ей 11 лет. Она посещает еврейскую школу. Мальчик, моложе ее, учится в белорусской. Почему же такая разница? Девочку отдали в школу, когда еще жили в городе: там это было близко. А мальчик стал ходить уже здесь, в поселке. Отсылать его в город—далеко, неудобно. На каком же языке говорят они дома? По-еврейски и между собой и с родителями. К чему их переучивать?

Тут Яновская, словно впервые заметившая свои цветочные горшки на полу, начинает объяснять, что у нее сегодня уборка и девочка ей помогает. Она ведь старшая, почти взрослая. Всего-то у нее четверо детей: большая и трудная семья. Муж ее—партиец, десятник в фанцехе. Зарабатывает, считая 25% гарантированного приработка, 100 рублей в месяц. Заработок бы ничего, если б не столько детей; на семью из шести человек он—единственный работник. Тем, у кого есть корова, немного легче. У них нет коровы. Ее слова очерчивают бюджет, до мелочей схожий с бюджетом Капланов: тут те же «15 рублей в неделю» на еду, но только распределенные на в полтора раза большую семью, тут же квартирант, оплачивающий половину расходов по квартире. Грустные глаза Яновской как будто следят за цифрами, встающими где-то в воздухе, когда она их называет, словно их вызвало к жизни волшебство слова.

———

Когда вы возвращаетесь домой, на улицах уже больше тени, чем солнца. Мягкий склон дня как будто хочет загладить ожесточение минувшего зноя. Теневые отпечатки домов косо вытягиваются через мостовую, нащупывая заборы противоположной стороны. Еще на крыльце вы слышите гитару и женский голос, отчетливо выговаривающий слова частушки. Низенькая столовая с продавленным диваном полна молодежи. У окна Юзик улыбается стыдливой, клонящейся долу улыбкой. Длинные ресницы подчеркивают жаркую смуглоту этого лица, каким-то чудом перенесенного в широты Белоруссии. Его семнадцать лет отдают еще отрочеством. Когда он расхаживает в синей прозодежде и с метлой в руках по сортировочной фанцеха, он кажется совсем мальчиком. Юзиков приятель, Сережа, в качестве поэта и полпреда литературы на этой небольшой территории, спорит с девушками о «Рождении героя». Мелкие черты его лица приятны и хорошо согласованы. Маленький рот миньона или пастушка из пасторали завершает их жеманной рифмой. Розовый, беленький, стройный, поэт похож на карамельку, завернутую в хорошенькую бумажку. Внутри у него, наверное, начинка из клубничного варенья. Девушки смотрят не отрываясь на его губы, откуда стрелы язвительных слов вылетают не оперенные, а опушенные легким пухом и сразу приобретают округлость.

Дверь комнаты Дань приоткрыта, и в ее просвете видны скрещенные женские ноги, обтянутые розовыми чулками.

— Это — Зинаида Павловна, — шепчет Юзик и еще больше сникает в стыдливой улыбке. — Жаль, что вы раньше не пришли: она пела очень смешные частушки.

Надоело мне холостому жить,
Обязательно женюсь.
Но никак не могу найти жены
По своему вкусу,—

доносится из-за приоткрытой двери. Носки туфель покачиваются в такт дребезжанию гитары.

— Зинаида Павловна! Почему «по своему вкусу»? — кричит Сережа. — Что за невозможное ударение!

— Так надо по песне,—отвечает громкий и озорной голос.

— А вы пойте: «по вкусу своему»: все равно выйдет.

— Нет, не выйдет. То «по вкусу», а то «по вкусу»: разница большая.

Юзик машет рукой и смеется.

Зинаида Павловна—бывшая проститутка. Сейчас она замужем за краскомом и работает на швейной фабрике. В ее истории просвечивают крупные черты нашего времени. Когда-то «падшую» спасали тем, что покупали ей швейную машину. Из швейной машины и благородных порывов ничего не выходило. «Падшая» опять опускалась на дно, а великодушный и неудачливый опасатель задумывался о слабости своих сил, об испорченности человеческой при-

роды и в глубине души был доволен дурным концом, который ему развязывал руки. Путь, пройденный от швейной машины до швейной фабрики и от Гаршина до краскома, может быть мерилом революции в нравах. Зинаида Павловна—не исключение. Много бывших проституток работает и на фабрике и в фанцехе комбината. Вместо индивидуальных актов спасения, по необходимости осужденных на неудачу,—массовое переключение в производственную и социальную жизнь.

Я готов найти девяти пудов,
Чтоб была как паровоз.
Обязательно должен быть у нее
Рыжий цвет волос.

Мотив крепнет. Он начинает поводить плечами и выбрасывает ноги в сторону. «Подруга семиструнная» мелким шажком, как куропаточка, чуть-чуть царапая металлическими коготками, поспевает за его разухабистой ритмической походкой.

Судьба Зинаиды Павловны—гибридный случай. Здесь смешаны благородство «поданга» с великодушной целесообразностью социального мероприятия. Красном все-таки не совсем ушел из-под тени Гаршина. Это он вызвал «падшую» из «мрака заблужденья», а фабрика уже явилась потом. Чего таить? Он «спасал», но спасал-то уж по-иному. Не случайно способ, которым он это делал, совпал с направлением общественной помощи. Он не мог не совпасть. Путь социального включения был здесь так же необходимо обусловлен, как у гаршинского интеллигента попытка отгородить проститутку от улицы швейной машиной и честным трудом в четырех стенах комнаты. Перед вами встает мельком увиденное вами лицо краскома, некрасивое, домашнее, с выпуклыми и добрыми голубыми глазами. Такой человек, наверное, по вечерам, при лампе, внушает жене тихим, глуховатым голосом правила поведения, и что-то, не в словах, а в тоне, трудном и приятном, трогает и заставляет верить. И действительно, Зинаида Павловна, которая ничего не скрывает из своей семейной—да и прошлой—жизни, рассказывает о таких «уроках», которыми она польщена не меньше, чем подарками.

А с ней, должно быть, не очень легко. Буйный характер и дебоширство, которые ее отличали в до-краскомовские времена, еще не успели схлынуть и войти в берега. Только третьего дня она ударила ногой в живот старшего по квартире, который пришел к ней об'ясняться по какому-то поводу. Разумеется, сделала она это в отсутствие мужа: его она не то что боится, а уважает. Когда краском уезжает, она садится у окна и горланит песни. Ее тогда слышно за несколько кварталов. Сейчас краском в от'езде.

Эх, рыжая такая—
Хоть сто лет—молодая!
И где ее ни тронь,
Повсюду как огонь,—

четко отделяет слова залихватский голос. Старая дверь, привыкшая за свою долгую жизнь к напевам субботних «змирес» и томным каденциям «Чайки», не в силах выдержать и, протестуя, раскрывается настежь. Даня-косой расхаживает по диагонали комнаты. Даня-положительный сидит рядом с Зинаидой Павловной и старательно, с напряжением, аккомпанирует ей на гитаре. Зинаида Павловна поет серьезно, как на уроке музыки. Улыбается она уже после того, как кончила номер.

Вас удивляет простота отношения к ней со стороны окружающих. История, которая бы в прежнее время заставила петь все языки улицы, как поют языки колоколов, привлекает теперь почти так же мало внимания, как смешанный брак. То, что Даня и Юзик с ней на товарищеской ноге и в их слова, интонации, жесты не проскальзывает и тени оскорбительной легкости и пренебрежительного ухаживания, хотя она сама и своим репертуаром и свободой речи дает как будто повод так относиться,—это еще в порядке вещей. Но ту же обыденную простоту проявляют и люди постарше, выросшие в других условиях и понятиях. Правда, так сделалось не сразу. Прошлое порой неожиданно кусало из подворотни. Еще недавно в дом, где она живет, пришел милиционер, знавший ее по «веселым годам». Он очень удивился, увидев ее в домашней обстановке, и заговорил с ней внушительно и грозно. «Ты что здесь делаешь? Ступай за мной!» Она растерялась, заплакала и побежала за соседкой, чтобы та удостоверила, что она действительно замужем и не занимается прежним «ремеслом».

Зинаида Павловна—крупная женщина, скорее некрасивая, с живым и насмешливым взглядом озорных продолговатых глаз.

— Сережа,—говорит она,—вы переписали для меня «Царицу Тамару»?

— Есть, есть,—отвечает Сер[illegible]а,—ловите.

Зинаида Павловна плохо читает написанное. Она спотыкается на каждом слове, и слова принимают у нее фантастические очертания. Она тотчас же переводит их в лад песни, мотив которой ей уже известен.

— В глубокой теснине Дарьяра, — запевает она.

— Дарьяла, Зина, а не Дарьяра,—это ущелье на Кавказе.

— А вы, Сережа, не сердитесь: Дарьяра красивее. И я не виновата, что у вас неразборчивый почерк. Вот вы и сами ошиблись: чернея на черной скале. Ну, разве это может быть?

— Почему же, если замок черный?

— Тогда его и не разглядеть от скалы. Белея на черной скале,—растягивает она слова монотонным мотивом песни.

Положительный Даня перестает аккомпанировать. Лермонтов в этой унылой обработке нагоняет на него видимую скуку, но, как человек деликатный, он это не высказывает вслух. Даня-косой оказывается, по обыкновению, решительнее.

— Бросьте, Зина, — говорит он, нацелившись глазом куда-то очень высоко, под потолок, где летают мухи, — и скучно, и ничего у вас не выходит. Видите, вы еще в словах путаетесь.

— А вы имейте терпение. Кстати, почему вы меня называете по имени, а не по имени-отчеству?

— Да ведь и вы меня зовете Даня.

— Я старше.

— Ну, много ли вы старше!..

— Много—не много, а все-таки... Люди повзрослее вас, и то называют...

Она бросает взгляд в вашу сторону. Вы уже давно заметили ее любовь в величанию. У человека, на которого еще недавно имели право прикрикнуть: «Ты что здесь делаешь?» — это очень понятно, и вы готовы упрекнуть Даню за отсутствие чуткости.

— А вам так нравится ваше имя-отчество?— осведомляется Сережа, на минуту прерывая разнос Либединского.

— Не то что нравится, а все лучше, чем Зина. Зина, Зинка — что ж, меня до старости будут звать Зиной?—И она прибавляет, подумав: — Имя обыкновенное. Ну, лучше, чем Матрена или Фекла. А фамилия — совсем плохая: Синичкина. Вроде как на-смех.

— А вы перемените.

— И переменю. Имена красивые есть: Тамара, например. И фамилию можно подобрать соответственную. Скажем, Люксембург. Хорошо-то как выйдет: Тамара Люксембург...

Тут все начинают неудержимо смеяться: и Дани, и Юзик, и Сережа, и незаметные девицы. Зинаида Павловна озирается вокруг и краснеет.

— Вы думаете, я не знаю, кто Люксембург? Я потому и сказала, что знаю. Я вот читала ее письма из тюрьмы. Очень она хороший человек.

— Вот вы бы так и назвались: Роза Люксембург, а то—Тамара.

— Зачем же мне в точности повторять? Роза у евреев так же часто, как у нас Зина. Тамара красивее.

— Вы не сердитесь, Зинаида Павловна. Мы не над вами. А только очень смешно: Тамара Люксембург.

И Даня начинает опять хохотать, сгибаясь на ходу.

— А ну вас!—говорит полусмущенно, полусердцах Зинаида Павловна и берет гитару.

У меня миленков тридцать,
Через них хочу топиться.
Выхожу я на реку —
Все сидят на берегу.

— Устарелый у вас репертуар!—вздыхает Даня.

— Какой есть. На вас сегодня не угодишь. Ну, я пошла. До свидания, Сережа. Вы такой беленький и чистенький, что, если бы я не была замужем, непременно бы в вас влюбилась.

Когда Зинаида Павловна уходит, сразу становится тихо и пустовато. Даня-косой безмолвно шагает по комнате. Сережин голос в углу продолжает журчать негромко, но жарко. Интонации его делаются все пленительнее и слаще. Сумерки в углу не дают разглядеть лиц его собеседниц, но их согласное молчанье выразительнее слов. Наконец, Либединский окончательно повержен в прах искусной диалектикой Сережи, вычитанной из последнего номера «Литературной газеты», — и тогда он переходит к теме, которая уже назрела у всех и только ищет выхода.

— Не понимаю, что вы находите в этой Зинаиде Павловне,—говорит он.—Вся перемена в том, что она вышла замуж. А то какой была, такой и осталась. Мне все кажется, что она про своего командира вот-вот скажет: «мой

мужчина», вроде, как говорят: «мужчина, дайте покурить!»

В углу смеются. Ободренный Сережа берет тоном выше.

— И эта вечная гитара и похабные куплеты про рыжую жену или частушки, которым сто лет отроду. У Юзика слюни текут, один Даня прирос от восторга к стулу, а другой гогочет. Для того, чтобы слушать пошлые стишонки, не надо быть фабзайцем.

— Не все же умеют про Либединского,— язвит Даня и поворачивает выключатель. Свет он считает более подходящим для крупнозернистого разговора. Демон его косых глаз делает резкий скачок.—А про Зину ты зря. И вообще рассуждаешь, как барин.

— Зинаида Павловна—простая и хорошая,— говорит Юзик.—И неправда, будто она не переменилась. Она переменилась, только это надо увидеть. А поет она свои куплеты при тебе и при мало знакомых нарочно: чтоб не подумали, что она притворяется и очень уж стыдится себя самой и того, что было. И никто не пускает слюней,—разве что ты.

— Когда это ты стал таким тонким психологом? — удивляется Сережа. — Зинаида Павловна, что ли, познакомила тебя с тайнами женской души?

— Жалко, что я не читал твоих стихов,— говорит задумчиво Даня-косой,—вот, воображаю, ты запузыриваешь! Про таких, как Зина, ты там, наверное, совсем другое поешь, чем сейчас: сплошное благородство и такой пафос, что ой-ой! И уж, конечно, не разрешаешь себе намеков на какие-то женские тайны.

Даня попутно снимает с подоконника пепельницу, ставит на место стул и кладет на диван гитару: машинальной аккуратностью выражается в нем волнение.

— Пролетарский барчонок! — продолжает он. — Ему, видите ли, не нравится, что Зинаида Павловна не окончила институт для благородных девиц! Ему подай ее чистенькую, без единого пятнышка, чтоб она прямо с панели уселась за «Капитал» Маркса.

— При чем здесь институт для благородных девиц и барство?!—морщится Сережа, которого вспышка Дани быстро привела в обычное состояние миньона и снисходительного красавчика.—Если я хочу, чтобы она села за Маркса, то ты хочешь, чтоб она села к тебе на колени. Будь откровенен и признайся.

Даня-косой столбенеет от негодования. Минутой безмолвия пользуется второй Даня, чтобы схватить выскользнувшую нить разговора. Он долго и туго обдумывает свои мысли и только теперь успел сформулировать соображения, которые уже давно пришли ему в голову.

— Сережа не прав,— говорит он.—Я знаю Зинаиду Павловну лучше. Она сильно переменилась. Она уже держится не так, как раньше, больше себя уважает, стала вести кое-какую общественную работу. Конечно, ей трудно от всего сразу отвыкнуть. Но она ведь только недавно ушла от улицы. Через год, может, не ты с ней, а она с тобой разговаривать не захочет.

К Дане-косому возвращается речь. Он уже успел успокоиться.

— Если б я и хотел, так что!—возражает он на слова Сережи, как будто они только сейчас произнесены.—Для меня Зина—такая же женщина, как всякая другая, нисколько не хуже, а для тебя она всегда будет — бывшая б... и ты никогда не сумеешь отнестись к ней почеловечески.

— Дело не в Зинаиде Павловне,—говорит Сережа, — дело в вас самих. Не понимаю, как можно целые вечера убивать на такую чепуху. Ну, пусть там Зинаида Павловна поет свои куплетцы, потому что к ним привыкла. Ты почему их смакуешь? Ведь ты-то уж на панели не был.

— Не был. Правда,—соглашается Даня.— Только то, что ты сейчас говоришь, не имеет никакого касательства к Зине.

Он некоторое время молчит, словно взвешивая, стоит ли или не стоит оказать то, что он хочет сказать.

— Я знаю, что у нас многое не так,—произносит он, обращаясь к Сереже.—Ведь ты об этом собирался говорить? Ну вот. Многое нехорошо. Кто ж спорит? Но не люблю, когда об этом говорят чистоплюи вроде тебя.

Он вдруг поворачивается к вам.

— Вы сегодня были в общежитии? Рассказывали вам там о пьянках?

— Рассказывали. А что, разве они так часто бывают?

— Нет, не часто, только из-за них много шума. Или вот антисемитские выходки. О них говорят и на собраниях. Здесь ведь после дела Баршай за этим очень следят. Другому может показаться: гиблое место. Молодежь пьянствует, скандалит, по вечерам орет похабные песни под гитару...

— Зачем ты преувеличиваешь?—перебивает его Сережа и высоко вскидывает, подчеркивая недоумение, плечи.—Я ведь говорил не об антисемитизме.

— Погоди, я не только о тебе... Или возьмем работу. Работают у нас часто расхлябанно, с прохладцей и ленцой. Только надо понимать. Иной пришел на завод из маленького городка или местечка, где никогда не было фабрик. Он привык ковыряться неторопливо, по-старинке, и смотрит на труд, как на наказание. Такой, конечно, не может стать в 24 часа другим человеком. У кого в голове не один Либединский, тот все-таки видит, что и местечковый народ меняется.

— Ты все не о том!

— Нет, о том самом... Какая-нибудь девушка из Озаричей или Глуска,—она сначала губы поджимала и фыркала: все ей на заводе не нравилось. Дома, у папаши-сапожника, где она жила впроголодь, видишь ли, было лучше, приличнее. Она все папашиного дома забыть не могла. Разве она раньше о заводе мечтала? Она о женихе думала. А месяца через три-четыре она осваивается с обстановкой, участвует в соцсоревновании, входит в ударную бригаду.

— Я прежде жила в Гродненской губернии,—вступает, краснея, в разговор одна из незаметных Сережиных девиц.—Это теперь Польша. Там много текстильных фабрик. Девушке-еврейке считалось предосудительным итти на фабрику; ее тогда неохотно брали замуж.

— Вот, вот,—говорит обрадованно Даня.—Я знаю, что у нас с ударничеством не очень благополучно. На словах-то—все ударники, почему ж не записаться?—а работает по-ударному меньшинство. Такая местечковая девушка, может быть, вступает в бригаду, потому что ей неудобно или стыдно не войти. Сперва она недовольна, ворчит—лентовщицы там или вальцовщицы получают у нас немного, по 50 рублей, а с продуктами, сами знаете, трудно, — а потом сама втягивается в соревнование. Так из нее постепенно выдувает местечко.

— А об антисемитизме я скажу,—замечает второй Даня,—на глазах становится меньше.

— И не только антисемитизм. Ведь и у евреев по отношению к другим, не-евреям, много предрассудков. Ты думаешь что! Эта озаричеcкая девушка прежде брезгала сидеть рядом с русским парнем. А теперь она, может, сама за него замуж пойдет.—Даня захохотал.—Недавно у нас такой случай был. Хорошая пара получилась. Самые лучшие браки—смешанные.

— Что ж, по-твоему, оттого, что стали смешанные браки, надо играть целыми вечерами на этой глупейшей гитаре и распевать идиотские частушки?—ядовито спрашивает Сережа. — На радостях, что ли?

— Вот чудак! Я к тому сказал, что прежде вот стеснялись работать на фабрике, будто она унижает человека, а теперь фабрика переделывает человека, и ею гордятся. А частушки... Так, во-первых, у нас нет клуба. Куда пойдешь? В сад? Там толкотня и безобразие. Поневоле другой раз просидишь дома. Тут и плохое сойдет за хорошее. А если ты о Зине говоришь, то не хочется ее обижать. Пусть поет, что знает. Мне что? В одно ухо вошло, в другое вышло. Это у тебя такая липкая память, что всякая дрянь на нее налипает.—Даня начинает злиться.—Да и вообще почему я тебе должен давать отчет? Посмотри на себя в зеркало, увидишь, кто из нас больше похож на бездельника и пижона.—И окончательно озлившись, Даня захлопывает дверь своей комнаты.

Сережа изображает на своем лице пренебрежительное недоумение и немедленно же углубляется в деятельный разговор со своими соседками. Скоро они все встают. Юзик идет их провожать. Мрак растворяет их силуэты, оставляя лишь удары шагов о дерево крыльца. Ночь тепла и беззвездна. Скоро, верно, будет дождь.

Вы уходите к себе. Слышно, как старший Даня, которому надо завтра рано встать, идет на кухню умываться. Даня-косой увязывается за ним. На кухне они громко и невнятно спорят. Реплики теряются, разорванные водой на бессвязные обрывки. Но спорящим достаточно шумовой проекции слова.

Потом они проходят через столовую к себе. Старший Даня делает гимнастику, означенную мягким стуком приседающего тела и внеположенным сопением. «Я б хотел найти девяти пудов» — тихо запевает высокий Даня и смеется. Затем дребезжит задетая гитара. Затем — тишина.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОШЛОГО

Из воспоминаний [1]

Андрей Белый

Год зорь

Бывают биографии без падений и взлетов; бывают обратные: это — мой случай; взлет — 1901 год; то, что отпраздновал юноша на рубеже нового века, в годах стало размышлениями о поступках, обнимающих семилетие.

До 1901 года изживаю я декадентское подполье; и открываю форточки в пессимизм; подполье вырыто гимназистом; в нем я забаррикадировался; баррикады мешают непритязательному общению: с родителями и друзьями; с 1901 года начинается мое сближенье с отцом, не как с родным, а как с другом, понимающим иные из моих стремлений; многое ему не ясно во мне; но принцип нестеснения свободы в нем жив вопреки крикам, с которыми в споре кидается он на меня; и я не упускаю случая: нападать на него; каждый обед превращается в спор; я иронизирую над сферой его художественных интересов, ограниченной Тургеневым, Пушкиным, Тютчевым, Гоголем и Толстым; с пожимом плечей он читает Чехова, не принимает Горького, не понимает Фета; подчеркивает болезненность в Достоевском, негодует на дух отчаяния в Ибсене, хохочет над Метерлинком; и вместо Бальмонта, о котором не желает ничего знать, патетически читает реторику поэта «П. Я.», или декламирует «Три смерти» Майкова; в союзе с матерью, которую распропагандировал, в пику отцу прославляю Гамсуна; отец, подкрепленный заходом дяди, Г. В. Бугаева, требует от меня, вынув часы, чтобы я в пять минут доказал правоту своих истин; и, выслушивая меня, смотрит на часы; дядя поддразнивает: шум и гам! Когда нет дяди, отцу не всегда со мной справиться; и он — отмалчивается; когда тут дядя, «старики», гораздые спорить, растирают меня в порошок; и читается нотация с подмахами разрезалки: «Голубчик, для понимания эстетики надо, знаешь ли, изучить литературу предмета!» И я — изучаю: в ущерб естествознанию; Гюйс, Кант и Гегель — лежат у меня на столе; и я пытаюсь сокрушать тяжеловесными цитатами с упоминанием закона Цейзинга и правила золотого деления; отец — озадачен; наш спор теряет остроту крика и переходит в увлекательные для обоих дебаты на темы, к которым оба питаем слабость; противоречия, растворясь в философии, переходят в довольство; отец, подпирая очки, нежно поглядывает на меня; и, разводя руками, признается матери:

— «У Бореньки есть... знаешь ли... живая мысль!»

Мать добавляет:

— «И вкус».

Отец — морщится: «вкус» — и гонит меня от науки; его успокаивает компромисс: оправдание «вкуса» при помощи... Оствальда и Милля; его интригует моя тенденция: онаучнить свою чепуху; его раздражение аморализмом Ницше разбивается о мою позицию: стиль, не мораль, защищаю я в Ницше; отец, стилист, вызывается даже править мой слог в реферате «Формы искусства» (слог, а не мысли); и он прислушивается ко мне; и даже: стиль выпадов Ницше против «поповщины» нравится.

---

[1] Из книги «Начало века».

Порой он взорвется.

«Оставь, голубчик! Ухо вянет:
«Такую, право, порешь чушь!»

Из Парижа является ценимая им Гончарова, которую психологией некогда заинтересовал он; она стала ученым доктором; он с ней считается; а она — на моей стороне!

— «Ваш сын понимает искусство!»

Она, чорт дери, — спец по искусству; отцу нравится мой союз с Гончаровой: работала у Рише, знакома с Бутру; полезно у ней учиться; правда, теперь теософка она; но не может же, чорт дери, «теософия» отнять образованность.

И он разводит руками:

— «Боренька, а — кто его знает: вырос, и свои мнения заимел».

Выходят «Tertia Vigilia» Валерия Брюсова; летом читаю отцу стихотворение «Ассаргадон».

— «Ничего-с, — так себе!»

И поревывает в липовой аллее, отмахиваясь от мух:

Я царь земных царей: я царь Ассаргадон!
Владыки и цари: вам говорю я — горе!

Это можно читать псу, Барбосу, дирижируя костью: перед отдачею псу; отец поревывал звучными строчками, держа кость перед псом; и он утверждал: пес, ожидающий кость, хвостом машет ритмически, когда отец над ним дергает:

Не бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили.

И он декламирует:

Едва я принял власть, на нас восстал Сидон.
Сидон я ниспроверг; и камни бросил в море.
Египту речь моя звучала, как закон.

— «Ишь какой, — Ассаргадон: тоже — мужик!» — поглядывает на меня, тыкаясь носом в книгу Брюсова: ассиро-вавилонский стиль импонирует; он любит романы Эберса:

— «Профессор, египтолог, а — пишет романы!»

Привезенный им роман Мережковского «Ю л и а н» — в его вкусе: являются бородатые философы и говорят против «попов», растерзавших математика, Гипатию, чего отец не может простить; и вступает в союз с Юлианом; о Мережковском мы беседуем; я пытаюсь ему изложить защиту Мережковским «плоти» против «н е т о п ы р е й»: «н е т о п ы р и» — монахи:

— «Сожгли Бруно, преследовали Галилея».

Мережковский удовлетворяет; семейство Соловьевых имеет нечто против него; отец взволнован влиянием на меня Соловьевых; и готов уступить Мережковского мне, лишь бы я повторял:

— «Владимир Соловьев — больной-с!»

Брюсова он не ругает; восклицание о «б л е д н ы х н о г а х» считает чудачеством; сам при случае может дернуть строкой подобного рода, посвящаемой... Дарье; прочел прачке, Ларионовне, стихи, сознавая их ужас:

И вскричал тут Алексей,
Муж ее больной:
— «Не ропщи и зла не сей,
«И не плачь, не ной, —
«Ларионовна, старушка,
«А белье стирай.
«За свои труды, ватрушка,
«Прямо пойдешь в рай!»

«Ватрушкой» ужасал мать; но из озорства был готов стихи, посвященные Ларионовне... прочесть Леониду Кузьмичу Лахтину, восхищаясь покраснением профессора, не знавшего, куда девать руки. Так что «б л е д н ы е н о г и» скорей забавляют:

— «Чорт дери, — чудачище!»

Страшнее старушка Коваленская, защищающая поэзию пяти убийств в драме Шиллера:

— «Ложный пафос... Больная старушка!»

Брюсов для отца не больной, а озорник; он, может быть, — мужичище, пишущий в стиле Кузьмы Пруткова; помню: отец заливался хохотом, читая строку:

«Хотел бы я не быть «Валерий Брюсов».

Не дикости приводили его в неистовство, — а атмосфера уныния; «мистики» он боялся больше, чем заявлений:

Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне.

Узнав, что Брюсов чуть ли не оставлен при проф. В. И. Герье, он решил:

— «Чудак!»

Решил; и — успокоился.

Меня он декадентом не мыслил, видя, что я нормален, имею неглупые мысли и много читаю.

Он знал, что Бугаевы — «хорохоры»: брат Жоржик и брат Володя; он требовал, чтобы мои «чудачества» были бы обоснованы; и — по пунктам: пункт «а», пункт «бэ», пункт «вэ».

В сфере естествознания он принимал мои взгляды; они же — отстой его собственных; он влиял отраженно; не соглашаясь с Лейбницем, я кладу в основу философии естествознания мысли концепций отца.

Запомнилось последнее лето в деревне, проведенное с ним, когда уже задыхался он; но сквозь задох детски вперялся в закат; и шептал:

— «Хорошо-с! Рай, Боренька, — сад-с: и только-с! Мы» — раскидывал руки — «в саду-с!»

Такими вставками конкретизировал свои философские тезисы.

Помню ночь; мы — на приступочках террасы, задрав головы к звездам; над головою — звездный поток; он протягивал руку, выпявкивая:

— «Летят Персеиды: из-за Нептуна; в будущем году в эти же дни они будут лететь-с!»

Вдруг замолчал.

Я подумал:

— «И мы с отцом будем отсюда же наблюдать их».

Через год я сидел на этих ступеньках; Персеиды летели; я вспомнил слова отца и мысли о том, как мы с ним будем отсюда разглядывать их; отца — не было; в Новодевичьем монастыре поставили новый крест; на нем висел венок фарфоровых незабудок.

Вспомнилось, как со вздохами, таимыми от меня, он расстался с мыслью видеть меня ученым, удивляясь вниманию, которое мне оказывал Мережковский; он уже понимал, что чего-то не понимает.

Дружбу с ним и явившуюся между нами открытость переживал я, как радость; тень отчуждения таяла:

— «Ты видишь, я — прям с тобой!»

В спорах обреталось сближение.

В той же мере я сблизился с матерью; там, где отец отступал от меня, ужасаясь сердцем (и только сердцем), понимала мать, вместе переживая Художественный Театр и художников «Мира Искусства»; я не без гордости организовывал вкусы матери, подбрасывая Врубеля, Сомова, Левитана, таща на выставки, на драмы Ибсена, Гауптмана, ей читал Метерлинка.

Изумительно, до чего отец и мать в подходах ко мне до конца жизни остались антиподами; отец не доверял литературным вкусам; но поощрял к музыкальным импровизациям, которым я отдавался: тайком от матери; он заставил сыграть ему какую-то дикую композицию; сидел, вытянув ухо:

— «Что ж, — недурно! Сочинение мелодий развивает изобретательность».

У него были странные вкусы; глубина темы не интересовала его; главное, чтоб мелодия вытесняла мелодию; он удивлялся: у музыкантов мало изобретательности; требовал от мелодии переложения и сочетания; раз пущена мелодия, скажем «а б в г», — боже сохрани, если она повторится, пока не исчерпаны модуляции — б в г а, в г а б, г в б а и т. д. Вот если бы музыканта вооружить теорией групп!

— «А вы сами попробуйте» — язвила мать.

— «Отчего же нет-с!»

И садился, кряхтя, за табурет; и прикладывал нос к пальцу, которым нацеливался на черную косточку (играл одним пальцем); и вдруг бородою кидался на палец; пальцем же галопировал по клавишам:

— «Бам-бам-бам... Вот-с! Да и — вот-с: бам-бам».

И с видом победителя оглядывал нас; или он наревывал дери-тоном собственные арии на собственные стихи:

Афросинья молода, —
Не бранится никогда.

Увидав меня за роялем, он поощрял изобретательность.

Ему не нравились мои стихи, но нравились мои мелодии; тут-то и ополчалась против меня мать, которой нравились стихи, а не мелодии.

— «Нет, знаешь ли, — не расстраивай инструмент; за стеной у Янжулов удивляются: «Кто это у нас там бьет?..»

— «По-моему, — недурно» — настаивал отец.

— «Много вы понимаете!»

Мать верила моему музыкальному слуху и следовала за моим увлечением — Григом и Вагнером; но не переносила мысли, что я сочиняю мелодии.

Думается, что тут—дух противоречия; ее протест обрезал крылья; «композитор» догаснул в подпольи: к 1902 году; раз в деревне, застигнутый помещицей, я ей сыграл свою импровизацию.

— «Что за прелесть!» — воскликнула она. — «Чья?»

— «Грига» — соврал я.

Потом признался: моя.

Она наивно сказала матери:

— «Ваш сын прекрасно сочиняет».

Никакого впечатления!

Я стал отучать от мелодий себя: отучил.

Впоследствии С. И. Танеев, рассматривая мою руку и растягивая ее так и эдак, сказал:

— «Рука музыканта».

Одна из музыкально настроенных барышень долго потом усаживала меня за рояль и требовала, чтобы я брал аккорды:

— «Вы, Боря, — не поэт: композитор, себя не изживший в музыке».

Комплимент больно задел:

— «Значит, — стихи мои не доходят до уха!»

В те годы чувствовал пересечение в себе: стихов, прозы, философии, музыки; знал: одно без другого — из'ян; а как совместить полноту, — тоже не знал; не выяснилось: кто я? Теоретик, критик-пропагандист, поэт, прозаик, композитор? Какие-то силы толкались в груди, вызывая уверенность, что мне все доступно, и что от меня зависит себя образовать; предстоящая судьба виделась клавиатурой, на которой я выбиваю симфонию; думается: генерал-бас песни жизни есть музыка; не случайно: форма моих первых опытов есть «С и м ф о н и я».

Пути путями? Но — не до них.

Душа замирала: переживаниями первой влюбленности; тешила детская окрыленность; я стал ребенком (в детстве им не был); встреча ужаснула бы меня; пафос дистанции увеличивал чувство к «д а м е»; она стала мне «Д а м о й».

— «Беатриче!» — говорил я себе; а что дама — большая и плотная, вызывающая удивление у москвичей, — этого не хотел я и знать, имея дело с ее воздушною тенью в зарю, дающей подгляд в поэзию Фета, Данте, Гёте, Владимира Соловьева; «д а м а» — инспирировала; чего больше?

Я нес влюбленность и радовался сознанию, позволяющему отделить «н а т у р у» от символа.

Я восхищался стихотворением Фета «С о л о в е й и р о з а»: соловей и роза любят друг друга; когда поет соловей, роза спит; когда раскрывается роза, соловья не слышно.

Да кто ж это знает, да кто ж это выскажет им?

Знал: хитрый Михаил Сергеевич Соловьев, с добродушной улыбкой выслушивающий мои ораторствования о поэзии Фета, о «П е с н е П е с н е й», о Суламифь; и даже — о премудрости мировой души. Ему рассказал... Сережа, сам по уши влюбленный в арсеньевскую гимназистку и проливавший в под'езде, где жила «о н а», флаконы духов; был налет «м и с т и к и» в нашем чувстве от детской, невинной глупости.

Подчеркиваю: в январе 1901 года заложена опасная в нас «м и с т и ч е с к а я» петарда, породившая столькие кривотолки о «П р е к р а с н о й Д а м е»; корень ее в том, что в январе 1901 года Боря Бугаев и Сережа Соловьев, влюбленные в светскую львицу и в арсеньевскую гимназистку, плюс Саша Блок, влюбленный в дочь Менделеева, записали «мистические» стихи и почувствовали интерес к любовной поэзии Гёте, Лермонтова, Петрарки, Данте; историко-литературный жаргон — покров стыдливости.

Переживания не были «гнилы»; «гнилы» — многие последовавшие «реальности», вроде хотя бы... запоев Блока, ироника «и с п ы т а н н о г о о с т р я к а», описывавшего, как в пачке «кредиток» был «любовный напиток».

Читатель, — не представляй меня помесью романтика с резонером; в тот год во мне не было ничего упадочного; заскоки фантазии — избыток сил, остаю-

щийся от чтения, споров, лабораторных занятий, писания кандидатского сочинения; и—многого прочего; за четыре года прохождения университетского курса ни разу я не болел, если не считать пореза скальпелем, которым вскрывал труп (легчайшее заражение, вышедшее нарывами); мускулы были упруги; ловкости хоть отбавляй; в беге никто не мог обогнать; в прыганье — тоже; я укреплялся верховою ездой, купаньем и солнечным прожаром; и правил тройкой вместо кучера.

Угрюмый в гимназии, — в университете я — весел, строю шаржи с Владимировым, со студентом Ивановым, сею пожарной кишкою, бившей гротесками; когда мы с грохотом выбрасывались на крышу из окон лаборатории, начиналось лазанье по карнизу и по перилам: со стаканом чаю на голове (мой номер).

Я появлялся в обществе, где музицировали и пели; меня выбирали распорядителем на концертах; между писанием и теоретизированием я находил время распространять билеты, благодарить Никиша и Ван-Зандт; были слабости: к хорошо сшитой одежде; но стиль «белоподкладочника» был ненавистен; раз кто-то кому-то сказал:

— «Белый ходит с Кантом».

Разумелся философ: Иммануил Кант; было понято: «б е л ы й к а н т» студенческого сюртука, которым шиковали дурного тона студенческие франты; каламбур характерен для мозгов мещан; в этих мозгах превращалось хождение Белого с Кантом (книгою Канта) в «б е л ы й к а н т» сюртука; однажды меня пустили без одежд, но в маске по собственной вилле, которой не было, — кончики языков модернистических дамочек и роговые очки кавалеров: от желтой прессы.

— «Как, вы есть Белый!» — воскликнул глупый присяжный поверенный, встретив меня за обедом у И. К.

— «Вы так скромны!»

Он думал: моя программа-минимум — битье зеркал.

Я решительно разочаровал Дягилева, познакомясь с ним осенью 1902 года; Дягилев жаловался на меня Мережковскому:

— «Я познакомился с Белым... Я думал, что он проповедует что-нибудь, а он — ничего!»

Дягилеву хотелось видеть меня юродивым; его оскорбил мой вид студента, любящего поговорить о... Менделееве; внутренняя жизнь — одно; вид — другое; вид был выдержанный; недаром профессора проспали нарождение декадента; он сидел в месте сердца, пока рука студента подавала приличные «р е ф е р а т и к и», вызывавшие приличные надежды в приличном обществе.

Экзамены

Государственное испытанье на физико-математическом — это не шутка; мнемоникой не одолеешь; без лабораторных занятий нельзя обойтись; надо в опыте знать свой предмет; к другим — подготовляться усидчивым чтением: в месяцах; смерть Соловьевых, знакомства, журфиксики, лирика, страх за отца, — словом: все полугодие я не работал; в музеи свои не ходил, костяков и пород не ощупывал.

Что там мнемоника!

Группа, с которой готовились на плоской крыше химической лаборатории, все занималася лазаньем; другого времени не было; перед экзаменом только очнулся; провал был немыслим; программа ближайшего года составлена; я понимал, что отец не легко согласился на филологический; ради него я не должен был года терять; и ему, председателю нашей комиссии, было бы больно провал подписать; искать помощи мне у него, коли будут нарочно топить, невозможно; знал: зубы точились.

Весь год не работал практически; я, как географ, был должен налечь на метеорологию, на географию, на динамическую геологию; знал из последней отдел о размыве; как специалист, мало знающий свои науки, и более химию, не относящуюся к специальности, чувствовал очень неважно себя.

Ряд томов: толстый «Паркер»[1] «С р а в н и т е л ь н а я а н а т о м и я», или 500 с чем-то, почти петитом, стра-

[1] Учебник.

ниц, переполненных схемой скелетов, не одолеваемых памятью: без изученья в музее; не вызубришь и геологии,—два толстых тома: 500 страниц том динамической, одолеваемой просто; 500—исторической, с перечисленьем пластов друг под другом: по странам, периодам; к ним—ископаемые, находимые в каждом; метеорология, или учебник Лачинова,— тоже 500 страниц; кажется, что зоология, или учебник Бобрецкого, — тоже пятьсот; анатомия и физиология тканей растительных, химия и физиология, — курсы отдельные.

Я ощущал стрекозою, пропевшей всю зиму, себя: стрекоза голодала: без собранных знаний.

Уехала мать; мы с отцом проживали в чехлах; он ослаб: задыхался, томился, хватался за пульс, в полотняном халатике; как тут работать? А надо.

Подставивши спину друзьям, я уселся за Паркера: гроза, — Мензбир, — не щадила; до первых экзаменов я изнемог, кое-как одолевши программу, которой один лишь билет, череп рыбы костистой, преследовал бредом: сто косточек, малых пластинок, почти одинаковых, данных в разборе, — Мензбиру сложить, не провравшись!

Одно облегчало: экзамен—за письменным следовал; к письменному не готовились; время ж—давалось: три дня; этот письменный — форма; тетрадки ответов хранились под спудом года; с них и списывали; взяв билет, отправлялись к студенту с тетрадками (свой — в каждой группе); взяв стереотип, с него списывали; это делалось перед комиссией, молча глаза опускавшей, пока шла раздача: глупейший курьез! Анучин просил: до экзамена: «Дали бы мне просмотреть трафареты: в них вкрались ошибки; весьма механически описывают».

Получив свой билет, — «Дождь, град, снег, гололедица», — переписал на «весьма».

Испытание письменное выручало: семь дней, не четыре, готовился я к анатомии; и к изумлению курс одолел таки, следуя методу запоминанья, который придумал себе: перед каждым экзаменом засветло я раздевался, как на ночь; и мысленно гнал пред собой весь курс; и неслись, как на ленте, традации схем, ряби формул; то место в программе, где был лишь туман, отмечал карандашиком; часов пять-шесть гнал курс; недоимки слагалися в списочек. В три часа ночи я вскакивал, чтоб прозубрить недоимки свои до десятого часа, когда уходил на экзамен; вздерг нервов, раскал до бела ненормально расширенной памяти длился до мига ответа; ответив, впадал в абулию: весь курс закрывался туманом.

То — самогипноз, очень дорого стоивший нервам; год после экзаменов сказывалось ослабление; но победителей, все же, не судят: прошел на «весьма; «тройки» — метеорология и анатомия; прочее — «пять»; этим «тройкам» горжусь; они — следствия явных намерений: срезать меня.

— «Не терплю декадентишки» — Сушкин шипел: до экзамена; «тройка», полученная у него, — мой триумф!

Вспоминаю стол, крытый зеленым сукном, над которым, как мертвая морда мартышки, помигивала голова Тихомирова, ректора, спрашивавшего пустяк и с «весьма» отпускавшего; вот голова, как гориллы, свирепого Мензбира — с зеленоватым лицом, с черным встрепом волос; точно лаялся он на студента, неслышно бросаясь вопросами; около — широкоплечий, матерый, совсем полотер в пиджаке, без студента тоскующий Сушкин, доцент-ассистент, упал локтем; кабаньими глазками ищет себе подходящую жертву из тех, кто, стащивши билетик, готовится, за малым столиком, пережидая, когда Тихомиров отпустит студента: бросались к нему чуть не вдвое; шли и к Мензбиру, который — опасен. А Сушкин без дела сидел; от него все улизывали; кого сцапывал, с тем пыхтел долго; тяжелое, одутловатое, красное, точно в подтеках, лицо; губы, ломти, в светлявой растительности передергивались и кривились; мясистый, багровый носище; и — сентиментальные, злые глазеночки: не то гусиные, не то кабаньи!

Я, взявши билет (полость носа у млекопитающих), ахнул от радости: без подготовки мог жарить; и вместо того, чтобы, ткнувшись в билет, ожидать Тихомирова, или Мензбира, моргал очень

весело на заморгавшего Сушкина, ждущего жертвочки, как под гипнозом; так птаха, лишившаяся разуменья, летит в пасть удава; голубенькие свои глазки заширивши, Сушкин меня поманил: «Не угодно ль со мною?» Пошел. Тотчас мордища вспыхнула адскою радостью, уже не пряча намерений.

Поздно!

Сев рядом, я забарабанил; не слушая, слушал доклад о строеньи носов и ноздрей: у ланцетника, рыбы, рептилии; когда дошел до лягушки, — прервал: с простоватым притопом:

— «А как развиваются ноздри зародыша?»

Я проглотил свой язык: это ж не анатомия, — эмбриология, нами не пройденная! Даже Паркер молчит в этом пункте; вопрос повисал без других, наводящих; я тщетно пытался отделаться общими схемами; и, разумеется, импровизировал: мог ли я знать, что в процессе развития клетки лягушьей не пара, — две пары ноздрей появляются? И — переходят в одну; где ж нам знать? Мы Огнева не слушали. Дьявольски перетирая ладонями, Сушкин навеки к вопросу прикалывал; нес чепуху я, а он, веселясь красным носом, с пошипом бросал полуфразы: я де идиот; я — невежда, папашин сынок; выражаются членораздельно и внятно (намек на «С и м ф о н и ю»); знал, что проваливаюсь: по огневскому курсу; отец — председатель; и — жаловаться невозможно: он это учел; даже если позвать председателя, этот доцент будет ставить вопросы: на грани непройденного; спец сумеет всегда провалить; этот даже не валит: обрушивает; мы зловеще молчали; и даже Мензбир, удивяся молчанию, вытянул губы под ухо мучителя; они шепталися; Сушкин же лгал, вероятно, представив невеждой меня.

Отшептавшись, с издевкою дьявольской, спрятанной в виде невинно простом полотера матерого, он повернулся:

— «А ну-с» — перетер свои руки, мечтательно, под потолок перемигивал, казнь выбирая; мелькало: «Сейчас доконает он черепом рыбы костистой!»

— «Валите об артериальной системе зародыша в соотношении с материей; и об утробном дыхании».

Головоломка не хуже костистого черепа! Этот вопрос попал в список моих недоимок; его прозубрил еще утром; а тут в перетере утратил рельеф, потому что и спец на вопросе подобного рода собьется; шептал под зловещий посапик мясистого носа; ни звука в ответ, когда я замолчал; помолчав, продолжал, даже не понимая себя; и мелькало: вру, вру: будет — двойка!

— «Ну-с, — так-с!» — прошипело с обиженной злостью; и «т р и» вковырнулося; замысел Сушкина рушился; был таки эмбрион этики, не позволяющей резать хотя бы меня — вопреки очевидности.

Двадцать семь лет содрогаюсь я, припоминая получасовое знакомство свое с «а к а д е м и к о м» Сушкиным[1], преобразившим экзамен в «С а д п ы т о к»[2] Мирбо; через месяц уже, обсуждая кончину отца с Тихомировым, я пережил неприятный момент; Тихомиров, взглянув на меня, удивился вопросом:

— «А что у вас там приключилося с Сушкиным?»

Стало быть, — был разговор обо мне! Но... но... что мог ответить я «п р е в о с х о д и т е л ь с т в у», ректору, врагу Мензбира (и, стало быть, Сушкина)? Он об'ясненью бы внял; но оно обернулось доносом бы; я — промолчал, собираясь явиться к «д о ц е н т у» с дипломом в кармане, чтоб справиться: на основаньи каких человеческих принципов производил он экзамен? А. А. Тихомиров отметил молчанье пожимом плечей:

— «Странно», — он закосился на рой шелковичных червей, на столе копошившихся из «с к о р ц и о н е р а»[3], — «вы мне отвечали отлично».

Отличный ответ — зоология: те ж костяки, но в ином освещеньи; невежественность в анатомии при овладении зоологическими материалами, — есть парадокс.

---

[1] Сушкин стал академиком.
[2] Роман.
[3] Листьями скорционера питаются эти черви.

Физиология шла на «весьма»; Лев Захарович Мороховец читал анекдотически; шумный, безбрадый кругляк перещелкивал пальцами над зарезаемой в жертву науке собакою, руки простерши с веселеньким криком: «Бедняжечка, — мы перережем ей нерв!» Он являлся на первую лекцию в сопровожденьи двух унтеров, с кряхтом тащивших носилки с томинами; выкинув руки к носилкам, с приятным расклоном кидал:

— «Господа, — полный курс физиологии!»

Рявк, полный ужаса: аудитории!

С новым пощелком подскакивал к столику; и на трехтомье показывал:

— «Это — раккурс курса!»

Вздох облегчения!

— «Но можно сделать раккурсик раккурса», — он схватывал том Ландуа — «я читаю вам в этих пределах».

Рявк, полный веселости: аудитории!

— «А для экзамена» — схватывал тощую книжицу и потрясал ей к восторгу всех нас и себя самого — «это вот!»

Да и в книжицу всыпал таки анекдотики; так что беседа моя о лоханочках почечных с ним — взрывы хохота.

Пятиминутное же посиденье с Зелинским, которому сдал я экзамен на право зачислиться в лаборатории прежде, — приятное дело; Зелинский устраивал строгий экзамен — раз: и — до экзамена; он, побеседовавши, отпустил: при «в е с ь м а»; с Тимирязевым тоже мы кончили быстро; он спрашивал: просто, стремительно, ясно (по анатомии тканей ему сдал зачет); впечатленье от Сушкина сгладилось; а впереди два не страшных экзамена: метеорология и география — вместе; Лейст, дураковатого вида моргач бородатый, читавший с акцентом, устраивал перед экзаменом свой семинарий; взяв в руку программу, ее излагал, представляя студента, «в е с ь м а» получающего; записавши немногие трюки, — справлялись легко.

На беду оказались в Москве Мережковские; мои свидания с ними упали в часы семинариев; видеться ж — должен был; все же попав на один семинарий, прослушавши два-три билета, стал тихо выкрадываться; Лейст, увидев меня, отвергающего его помощь, узнавши, в глубоком молчании сопровождал меня мстительным взглядом; я понял: уход отольется; Лейст принадлежал к зубы скалившим на «д е к а д е н т а»; и кроме того: зуб имел на отца — за подтруниванье: де Демчинский обставил Эрнеста Егорыча в «Климате» [1]; дураковатый профессор отнесся всерьез к этой шутке.

Уход с семинария, шутка, «С и м ф о н и я», — все отлилось; и «барометр», билет, уже сданный когда-то профессору Умову, не облегчил: побеждая в труднейшем, на легком мы ловимся; Лейст перепутывал брошенным роем вопросов, рыча, не давая мне сообразить: выбивая вопросом вопрос, он в вопрос выбивающий третьим валил с потрясанием мстительным волосяного покрова; карьером допек, как и Сушкин (стояньем на месте).

— «Вы думаете, что на тройку?.. Я вас поздравляю... Пусть кто-нибудь ставит: не я-с... Ну-с?.. Вода-с закипает при скольких же градусах?.. А?»

— «При нуле!» — ахнул я машинально.

Тут оба вскричали, кидаясь друг к другу и перебивая друг друга: обмолвка, сорвавшаяся с языка, — не ошибка; а он утверждал, что — ошибка; так, бросив «б а р о м е т р», пустились исследовать принципы знанья и «н у л ь», пока в спор не вмешался летов араратских патрон мой, тишайший Анучин, Д. Н., отпустивший студента и ухо придвинувший к нам; и к нему я и Лейст повалились на грудь; Лейст с «н у л е м»; я же — без; а Анучин прищуром хватаясь за красный свой нос, пометался меж нами лисичьими глазками, слушая с полным неверием: Лейста, меня; Лейст зафыркал:

— «Так экзаменуйте его: я — отказываюсь!»

— «Ну-ка, что у вас там?» — добродушно отшамкал Анучин. — «Барометр? Рассказывайте!»

Я — прекрасно ему рассказал то, чего не мог высказать Лейсту; он с той же ленцою пошамкал вопросами по географии: что-то о градусной сети Меркатора, о цилиндрической сети, конической;

[1] Метеорологический журнал, издававшийся в 1902—1903 годах.

эти проекции картографические — трюк, изученный мной; все же факт отвечанья ему по чужому предмету, свидетельствуя о сплошном обалдении Лейста меж «двойкой» и тройкой», смущал старичка араратского возраста; ставши царем Соломоном, он так порешил: ну, допустим, что метеорология — «два»; география — «пять»; «два» плюс «пять», разделенные на два предмета, есть общая «тройка».

— «Согласны?»

— «Пусть так!»

С облегченьем, хотя и ободранный, шел я домой; дома — казус; отец — из'ярился на Лейста: барометра не понимать невозможно; Лейст — глуп.

— «Метеорологи — разве ученые-с? Лунные фазы Демчинский учел... Бородач — не учел-с!» — он кричал, задыхаясь; я — угомонял, опасаясь припадка; а он — про свое; и до смерти покрикивал:

— «Вот геология, — дело иное: наука... А метеорология — что-с? — ерунда-с!.. Бородач этот думает... А, а?.. Скажите пожалуйста?»

Так же, как про Коваленскую пелось в годах им:

— «Больная старушка!»

Последняя ставка — палеонтология и геология: Павлову; я не боялся: и все ж не хотелось при «тройке» остаться; я Павлова знал; он связался от детства подарками, американскими марками: мне; подготовка — достаточная; все же: предмет — два предмета, иль 1200 страниц; из них, минимум, страниц 500 — перезубр: для не спеца; и кроме того: ряд пород, ископаемых, в геологической лаборатории надо ощупать; таскался туда по жаре; и просиживал ночью с нашептом: «Пенрнчьские сланцы, песчаники!»

Я и отец пред последним барьером — расклеились; я — от мучительных опытов с памятью; он — от толканья экзаменов в двух отделениях его факультета; экзамены у математиков — раз; у нас — два; приходилось отсиживать, лучше сказать: приходилось прохаживать; шесть-семь часов, не присаживаясь, он толкался,—студент со студентами, — не председатель! Взбодряя, покрикивая, похохатывая, он казался таким молодым и здоровым; а дома, — синел, иссякал, задыхался, хватаясь за пульс. Кобылинский позднее рассказывал мне:

— «Забегаю, — тебя дома нет; Николай же Васильич, в халатике, жалуется: «Душит, вот!» — и бьет в грудь».

Мне — не жаловался, видя, как я измучен; и гнал все от книг:

— «Брось, брось, Боренька: шел бы к Владимировым!»

Шел — на час, на другой: поразвлечься эскизами друга, романсами Анны Васильевны; переселились в Филипповский, что при Арбате; мой путь лежал мимо; и перед экзаменом, утром, я шел за В. В.; его мать отправляет, бывало:

— «Сынки», — в путь-дорогу!»

И высунется из окна, и махает рукою, и ждет возвращенья; отделавшись раньше Владимирова, жду его; оба ждем разрешения участей А. С. Петровского, А. П. Печковского, С. Л. Иванова и черноусого, злого от страха Вячéслова: зубы подвязывал он; и держась за живот, наседал на отца: де провалится; отец журил черноусого мужа, едва ль не толкая к столу:

— «Не имеете мужества, ясное дело, прорезаться?.. А еще муж!»

И следил, из-за кучки студентов топыря свой нос, как Вячéслов зарезывается: не резался он; и отец мой встречал поздравительным рявком его:

— «Сами видите, а — говорите!»

Так страхи Вячéслова, судорожное заиканье Петровского и глуховатость Печковского ведомы были отцу; я, бывало, мигну на Печковского, вспыхнувшего и конфузившегося признаться в своей глухоте, как отец, тарарахая стульями, гиппопотамом несется к столу, чтобы экзаменатору в ухо вшепнуть с громким охом:

— «Он — глух-с: вы бы, батюшка, громче того!»

Вот отпущен Печковский; несемся галопом кентавров в Филипповский, где ожидают — чаи, Митя Янчин, студент-математик, «Как сладко с тобою мне быть», романс Глинки.

Я так ослабел, что однажды, придя на бульвар, опустившись на лавочку,— выбыл из жизни: в «ничто»; сколько

длилось беспамятство, — час, иль секунда — не знаю.

И вот, — лавр венчает усилья: палеонтология и геология — «пять»; а отец, засиявший от радости, руки разводит:

— «Ну, Боренька, — и удивил ты меня: таки эдакой прыти не ждал от тебя; ты же, в корне взять, год пробалбесничал; прошлое дело!.. Диплом первой степени, — все-таки-с!.. Ясное дело: да, да-с!»

Смерть отца

На другой день отец об'явил, что он едет со мной на Кавказ: полечить свое сердце; и кроме того: у него был участок земли вблизи Адлера; он — пустовал; четверть века назад раздавала казна почти даром участочки профессорам; «тоже, — собственность» — иронизировал годы отец; но проект черноморской дороги взбил цены на землю; отец торопился участок продать; сердце ёкнуло, поняв намеренье: чувствуя смерть, нас хотел обеспечить; и вот загорелся: скорей на Кавказ. Я был в ужасе: в эдаком-то состоянии? Доктор Попов, друг отца, покачал бородой: «Поезжай, брат, в деревню!» Прослушавши сердце, — такой весельчак, — мрачно крякнул; рукою — по воздуху: «Плохо!»

Услышав, что плохо, отец заспешил; се описывал горы, Душет, где родился; мне думалось: просится в смерть.

В эти дни говорил с сожалением:

— «Долго, голубчик мой, ждать окончания курса; да и — труден путь литератора: существовать на строку! Это, ясное дело, — разбитые нервы; Петр Дмитриевич Боборыкин талант потерял; стал журнал издавать; просадил двести тысяч, чужих; и выплачивал долг лет пятнадцать: романами; выплатил ценой таланта: да-да-с! Что же это за путь? Притом, Боренька», — бегал в испуге глазами, — «твоя-то ведь литература для ...чки; ну где ж тут прожить? Измотаешься!» Вдруг просияв: «Облегченье мне знать, что естественный кончил ты; ...к ни как, а — диплом есть; в крайнем случае вывернешься!»

Вдруг забыв, что еще я, студент, он портному тащил: мне заказывать партикулярное платье: «А осенью-с—фрак: молодой человек, — да-с — иметь должен—фрак-с, шапо-клак-с!»

— «А зачем?»

— «Так-с! Все может случиться» — и глазки опять начинали испуганно бегать.

И сердце щемило: он хочет при жизни, пока деньги есть, обеспечить одеждой, не верит в «студента»; и знает, что смерть на носу.

Разговоры, поездки к портному и сбор — меж экзаменами; математики еще не кончили; да и дипломы еще не подписаны им; в ожиданьи сидел вечера у Владимировых; возник план: покататься на лодках в Царицыне; были: Владимиров, А. П. Печковский, Погожев, Чиликин, Иванов; катался блещущим днем по прудам; по развалинам лазали; тешились перегонками; но ёкало: «А что с отцом?» Стало ясно: припадок, последний. Он — ждет там, а—я?

— «Да что с вами? Оставьте!»—бурчал мне Владимиров; засветло все же вернулся; звонил с замираньем; отец отворил:

«Что ж так мало гулял?»

Он шел в клуб.

На другой день, под вечер, ушел на последнее он заседание, где прозаседал часов пять; подписал нам дипломы; к вечернему чаю Василий Васильич пришел; невзначай завернул Балтрушайтис; в двенадцать—звонок: отец, — тихий, усталый, задумчиво-грустный; и в клуб не пошел, изменяя привычке; уселся в качалку в сторонке от чайного столика, тихо раскачивая головою одною ее, благосклонно прислушиваясь и не вмешиваясь; он смутил Балтрушайтиса, тоже — естественника: был «деканом» его.

Гости к часу ушли; мы с отцом побеседовали; продолжал тихо радоваться, просияв не без грусти и превозмогая усталость; я поцеловал на прощанье его; он сидел в той же позе, в качалке, раскачивая подбородком ее; я в дверях на него обернулся; и — видел: тот ласковый взгляд и кивок,—как прощальный, как благословляющий грустно, как бы говоривший: «Иди себе: путь жизни труден!»

Часов эдак в пять просыпаюсь; и не одеваясь, — в столовую, чтоб посмотреть на часы; возвращаясь к себе ко-

ридором, я видел в открытую дверь кусок комнаты; в нем и фигурочка в белом халатике: сгорбленно ложкой в стакане помешивала: «Принимает лекарство!». Не раз я утрами отца заставал копошащимся: все не спалось.

Лег: заснул.

И привиделся сон: кто-то стонет; я силюсь прервать этот стон; но свинцовая тяжесть, как валит; стонали же жалобней: недопроснуться! С постели слетел, не во сне, потому что хрипели: ужасно! В отцовскую комнату!

В том же своем затрапезном халатике, одной ногой на постели, другой на полу, запрокинулся он, отсидевши, как видно, припадок, который пытался лекарством прервать; я склонился к уже не внимающим, полузакрытым глазам; хрипом топорщилась грудь:

— «Папа!»

Грудь передернулась, грудь опустилась; пульс теплился; кончено: вынесся к спящей кухарке: «Попова!» Но не для спасенья: чтоб быть с ним вдвоем, без свидетелей; сам запер дверь; в кабинетик вернулся; сел у изголовья: не стало его; как живой! Засветлело лицо, как улыбкою сквозь кисею; продолжала по смерти свершать свою миссию светлая очень шестидесятилетняя жизнь: утешитель в скорбях! Было строго и радостно: будто он мне говорил выраженьем: «А ты не тужи: надо радоваться!» И в последующей суматохе, мне было уж не до прощанья, которое стало в годах мне — свиданьем по новому: встречей с живой атмосферой идейного мира его.

Было странно сидение сына в восторге над прахом отца, когда доктор Попов влетел в дверь:

— «Ну, я этого ждал» — мне отрезал он скороговоркой.

— «Я тоже!».

— «За партой сидели: пятидесятипятилетняя дружба! Мужайтесь!» — хватил по плечу. — «Мать в деревне? На вас это свалится!» — хлопнул меня он с природом веселым; и бросился в двери; в дверях поперхнулся рыданьем; в дверях же стоял в сюртучке человечек с пристойною маской: «Бюро похоронных процессий». Каким нюхом вынюхал? Вел себя, точно хозяин.

Я с этого мига — ни свой, ни отца: добывание денег (две тысячи, спрятанные в толстый том, чрез полгода мне высыпались), ряд расчетов — кому, что и сколько, — отчет Тихомирову, сколько истратил: университет хоронил; выбор места могилы; и переговоры — с монахинями, с хором, с причтом, встречание профессоров, из которых иные совали два пальца и били глазами в ланиты, как будто отца укокошил; меня оттесняли от гроба, как вора, забравшегося не в свой дом, — не того, кто из нашего дома мог этих невеж удалить. Не до этого: где-то за спинами их карандашик губами замусливал, счеты сводя, чтоб не думали, что я копейки университетские стибрил.

Мой дядя, Георгий Васильич, страдавший ногами, не мог мне помочь, удивляясь моей расторопности, все то оражаясь с Петровским за шахматами, ядко фыркая с ним на неискренних пыжиков, свои венки возлагавших.

Из розовых, свежих цветов не покойник, а радостно легший в цветы слал улыбку сквозную из светлого сна, когда ночью, взяв свечку у черной монашки, читал ему книгу; он мне отвечал выраженьем не смертного лика, мне ведомой монадологией, передавая завет, им твердимый при жизни, что смерть — разрешение; думаю, что расторопность, дивившая дядю, отсюда, из этой полуночи, где из цветов мне расслышалось:

— «Будем же, Боренька, радоваться!»

Волновало: приедет ли мать? Телеграмма, что «еду», пришла, ее ж — не было.

Вынос: десятки венков; над седыми власами, над краем перил, как над бездною — куча цветов золотого, открытого гроба—с тем самым лицом; не поспеет! Когда выносили в под'езд, я увидел, как с плачем слезает под черными крепами мать с лихача, обнажившего голову; и— прямо в церковь. Я до опускания гроба не шел по стопам «дорогого покойника», ежеминутно слетая с кареты, носясь и туда, и сюда: не забыли ли этого, то ли в порядке? Стоял вдалеке, в посторонних зеваках, чтобы не видеть

Лопатина, евшего гадко очками меня, и Церасского, бледнозеленого, евшего тоже, когда поднялась над холмом треуголка дрожавшего всхлипом своим попечителя округа; и столь знакомое с детства лицо, желто одутловатое, помесь хунхуза с поэтом Некрасовым, хрипло сказало надгробное слово.

Но с того дня на закате ходил в монастырь, чтоб сидеть перед еще живыми цветами цветущей могилы, едва озаряемой вспыхами маленького темнорозового фонаречка надгробного; мраморный ангел взвивал свои белые крылья с соседней могилы; я помнил романс, — тот, который певала нам этой весной моя мать; а отец, распахнув кабинетик, с порога прислушивался, подпирая рукою очки, а другой, с разрезалкой, помахивая:

— «Хорошо-с: и слова, и мелодия!»

И засутулясь, шел затвориться.

Слова — неизвестного; музыка — А. С. Челищева, друга; и — ученика его; помнились строчки: «Над тихой могилою ангел молчанья стоял...»

Он стоял!

Здесь под ангелом, глядя на вспыхи лампадок, на ряд точно руки под'явших распятий, внимая звененью фарфоровых, бледных венков, я испытывал необ'яснимую радость; мой спутник, склоняся локтями в колени, без шапки, твердил в розоватые зори стих Блока, написанный только что, столь мною любимый в те дни:

У забытых могил пробивалась трава.

О романе Б. Пильняка „Волга впадает в Каспийское море"

Б. Айхенвальд

I

Первое и основное, что определяет социальную принадлежность художника,—это его идеология, его отношение к окружающему социальному миру, к людям и событиям. В условиях послеоктябрьской современности решающим, очевидно, оказывается отношение к революции — на данном ее конкретном этапе. Здесь своего рода пробный камень для всякого писателя. Далее существенны признаки узко стилистические, в свою очередь обусловленные социальной конституцией автора: образы, композиция, синтаксис. Все в совокупности и дает «образ» писателя.

Поэтому при анализе Пильняка следует начать именно с вопроса об его отношении к революции — проделать над ним неизбежный experimentum crucis. Но чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно иметь некоторую перспективу его творчества, наряду с последним звеном знать и первое. В качестве другой вехи должен быть взят «Голый год», впервые выдвинувший Пильняка и десятилетием отделенный от последнего романа. И тут и там Пильняк ставит и решает те же проблемы революции.

Начнем с «Голого года».

За голой нищетой, голодом, ужасом и вшами революции Пильняк видел ее величие, ее героику — пафос 20-го года. Он приветствовал революцию, принимал ее и оправдывал, но не за то и не так, за что и как ее следует принимать.

Пильняк видел в революции отказ от петровских реформ, бунт против Европы, возвращение назад к допетровской, звериной, сектантской России — Руси.

Как указывалось уже в критике, не вязался с такой расценкой роли Октября гимн «кожаным курткам», неспециалистам-большевикам, восстанавливающим заводы и машины своей волей, вопреки «нельзя сделать» специалистов, — потому что «нельзя не сделать».

Не додумывая до конца и не связывая одно с другим, Пильняк прежде всего услышал метель революции (так же, как и Блок в «Двенадцати»), ту русскую, глубоко русскую вьюгу, которая воскрешает леших и ведьм и которая звучит — во всей своей глухой и дремучей первобытности — в сжатых, ультра-европейских формулах советских учреждений — Гвиу, Главбум. И именно за эту стихийную русскую мощь, за амнистированных сектантов и ведьм, за большевиков без коммунизма, за «правду дремучего леса», об'единившую зоологию и антропологию, ценит и прощает Пильняк голый год революции. Заключительная глава, где волчья и человечья свадьбы поставлены рядом, как неотличимые и равноправные, полна своеобразной поэзии и неожиданной, казалось бы, лирики. Не человеческое унижено этим сопоставлением, но животное возвышено и принято.

И эпически просто, спокойно и медлительно разворачиваются старинные обряды свадьбы, ставятся вопросы, не грубые и не стыдные, несмотря на свою наивную и откровенную метафоричность.

За наготой революции Пильняк нашел не новую социологию, но бессмертную и опоэтизированную им биологию, и лирикой первичных человеческих инстинктов прикрыл и оправдал бесстыдство наготы.

Прошло десять лет; как Пильняка на революцию?

Последний его роман называется «Волга впадает в Каспийское море».

Но весь смысл и замысел романа, что Волга в Каспийское море больше не впадает. Ставшая пословицей обыденность чеховского учи-

теля из аксиомы превратилась почти в парадокс. И в этом нарушении всех и всяческих аксиом, в осуществленности предельных парадоксов видит Пильняк значение и суть революции.

Построенный под Коломной монолит изменит русло Оки и Москвы, и воды этих рек потекут вспять. И это лишь часть грандиозного проекта старого большевика, профессора Полетики — изменить течение Волги, «бросить ее в Заволжье, на арало-каспийские пески, на лёссы арало-каспийских пустынь», чтобы пустыню превратить в подобие древней Месопотамии, на потребу человеку, пересоздающему заново геологию и географию.

В центре романа — строительство коломенского монолита, неслыханный бой за социализм, за переустройство природы.

«Москва-река, та самая Москва-река, на которой возникло московское государство, русская история уделов, собирания Руси, царей, смут, императоров, — ныне Москва-река текла вспять, символ новой российской государственности, ибо Россия Октябрей хотела наново перестроить, наново пересоздать — от человека до географии и геологии. Эта Россия пересоздавала—машиною—ради труда—человеческие отношения друг к другу, к труду, к природе, — и она ломала старую Россию так же, как сломано было течение Москвы-реки, как заново текла Ока».

Поворот реки Москвы и Волги вспять не следует, конечно, понимать, как образы обратного движения истории. Напротив, здесь квинт-эссенция прогресса, апофеоз строительства, борьба за будущее, бой за социализм. Подсознательное, инстинктивное уступило место сознательному и волевому. Между животным и человеком воздвигнут коломенский монолит. Человек взят не как существо, подчиненное природе, а как воля и разум, перестроившие самоё природу. Смысл и суть революции не в первобытной человеко-волчьей свадьбе, не в реставрации леших и пустынь, не в сектантстве, не в возвращении человека в историческую утробу, а в освобождении человека от труда и труда от человека, в непрерывной битве за социализм, в том, чтобы остановить пустыню; «перекопать Волгу под Камышином... бросить Волгу на пустыню, создать форпост культуры, остановить пустыню — это возможность социализма...» — как говорит старый профессор Полетика. «Я много лет работал над этой проблемой. У меня составлены карты, я проверил трасы и профили. Надо остановить пустыню. Мы остановим пустыню. Сейчас даже нельзя представить, что получит от этого человечество. То, что мы делаем здесь на Москве-реке, — это мелочь, но она связана с тем планом, который я обдумываю». И Пильняк подчеркивает, что «человек, профессор Полетика, сломал рельефы реки Оки, создав новую реку».

И все строительство коломенского монолита Пильняк воспринимает как часть, как участок великого боя, и образами боя, упорно повторяемыми, насыщены страницы романа.

«Над Москвою строилось сражение дня этого военного города Союза Социалистических республик, когда Союз вел бой за социализм, бескровный, беспушечный бой, но бой по всем правилам сражения. Москва громыхала и фронтом и тылом одновременно, грузовиками дел, начинаний, свершений. Москва была одним плакатом, единым лозунгом, в команде штабов и армий, стальная, серая, непобедимая Россия... Тверскую перерывали траншеи переделываемых мостовых. На углах сидели сапожники, чтобы тут же чинить обувь. Бабы толковали о том, что нельзя достать швейных ниток и электрических штепселей, исчезнувших за спинами боев. Боями были — Днепрострой, Турксиб, Сорока-Котлас-Обская железная дорога, Магнитогорский комбинат, строительство на Оке. Страна переходила на хлебные заборные книжки, потому что перестраивала народное хлебное хозяйство. Страна, как Москва, была в походе. Москва шла к победе. История страны — шла. Люди жили фронтом...

«Сзади, за мраком лугов, горели огни строительства. Оттуда шла Россия, страна в бескровной войне... Россия шла в социализм, чтобы неминуемо дойти. Люди падали от усталости, вставали и шли. Шли города плакатами своих красных вывесок. Ничто не стояло и не останавливалось. Все шло. Шли даже леса и деревни, — люди, строения, деревья, камни, воды, земля. Россия шла, серая и стальная, в командах лозунгов и плакатов, в корпусах профсоюзов, пехотою государственных учреждений, артиллерией и танками коммунистической партии, организованная, как строятся заводы.

«Символ российской государственности» — преодоленная природа, заново построенная геология. И отсюда идут дальнейшие преодоления революции. Через геологию, через ее образы Пильняк показывает социологические и психологические перестройки. Геология, социология и психология стали явлениями одного

порядка и в равной мере, по тем же закономерностям, ломают и пересоздают свои опорные аксиомы.

Переходя от одного к другому, часто даже без красных строк, геологическими образами поясняя социологию и психологию и социологическими — геологию, Пильняк связывает в один тесный клубок все законы — «и класса, и рубля, и быта, и пола, и российских суглинковых путей и перепутий», подобно тому, как «подошва монолита спаивалась, сращивалась с материковым гранитом, до которого докапывались на 40 метров вниз под русло, под пластами юрских и пермских наслоений: там гранит материковый и гранит, принесенный волей человека, спаивались в геологию, в первозданность».

Вода переделанных рек заливает старые села и луга, отменяет тысячелетие старых традиций деда Назара Сысоева, гонявшего по Оке плоты.

Инженер Ласло наблюдает «геологические сдвиги» в психологии рабочих, и результат этих сдвигов чувствует инженер Полторак, который должен делать доклад на производственных совещаниях, должен считаться с мнением рабочих и от них зависеть.

«Полторак стал слушать внимательно. Он начал злобно понимать, что он зависит от этих людей. Ему злобно было слушать какую-то там девку... Полторак знал старую заводскую Россию, — там не разговаривали с рабочими. Мозги Полторака наливались ненавистью. Рабочие хозяевами сидели в этой культурной столовой, где не полагалось курить, но очень хотелось курить, и рабочие рассуждали — хозяевами, общественниками, — люди, мироощущение которых перестроено революцией, тем, что все строимое—их дело, их работа, их заботы. Перед Полтораком сидели враги, эти люди заняли его место и судили его проекты, выкинув его из его быта, подчинив себе. Голова была готова треснуть от боли. Девушка закончила свою речь. Лицо девушки было миловидно и деловито. Полторак перестал слушать, злоба мешала горлу. Полторак готов был накричать, лицо девушки стало ненавистным.

И рабочие забыли о Полтораке».

И сам Ласло, коммунист и инженер, но в недрах своей биологии сохранивший старые течения российских рек, на себе испытал силу перестроившейся женской психики, залившей его потоками своего гнева. Женщины выносят резолюцию о бойкоте инженера Ласло.

«Да, совершенно верно,—резюмирует свою и Ласло участь,—участь нравственно погибших людей,—инженер Полторак, — да, совершенно верно, вода зальет все. Останутся бабы, которые похоронили вас, и останутся производственные совещания, которые похоронили меня».

Страна насыщена новой моралью, переплетенной с политикой так же неразличимо, как переплетаются закономерности рек и людей. Сломан даже коломенский быт — то, что было жестокой психологической аксиомой XIX века, и всеколоменский позор Риммы Скудриной превратился в величайшее ее счастье. Вода Новой реки залила Маринкину башню — древнейший памятник Коломны.

Геологические перевороты сознания и бытия; новая социология и новая психология, женщины и производственные совещания, и нерасчленимое единство социологии, геологии, экономики в общем бое за строительство социализма — вот смысл и суть «России Октябрей».

Десять лет назад Пильняк отдал революцию вместе с ее кожаными куртками на бесконтрольный произвол ветра и вьюги, во власть биологии, теперь же стихийная сила вод — геологических и социальных — подчинена разумной власти человека. Стихия стала «служанкой человечества». Изучив ее закономерности и подчинившись им, — это неоднократно подчеркивает Пильняк, — человек природой физикой одолел физику и природу, из течений рек взятыми формулами подчинил себе течения рек, математическую динамику воды противопоставил наступающей безводности пустынь.

«Поистине двигался громадный завод, рабочая армия России, скованная, соподчиненная, увязанная, руководимая, выпрямляемая десятками тысяч организаций — партийными, профсоюзными, государственными, — сельскими, волостными, районными, окружными, областными, краевыми, рабочими, крестьянскими, интеллигентскими, — наркомтрудовскими, наркомздравовскими, наркомпросовскими, наркомторговскими и сотнями прочих организаций, организующими человека и труд, соподчиняющимися, совпадающими, соорганизующими.

Инженеры, знающие законы течения рек, где не может быть случайностей, знали, что их строительство, упирающееся и в девон и в

рубль одновременно, так же закономерно, как законы течения рек... Глыбы гранита и бетона высекались и высчитывались в формулы интегральных исчислений.

Мысль учитывала глыбы гранитов, влагоемкости суглинков, миллиметры карт, вырастающие в кубы воды и живой силы, рассчитывала человеко-часы, машино-часы, последовательности и уроки работ».

На карты и планы должно быть пролито столько мозга, чтобы уравновесить страшную силу воды.

Но, несмотря на такую, казалось бы, огромную разницу с установкой «Голого года», все же — в последнем итоге — есть общее в понимании революции; это общее — в подчеркивании, в выдвигании на первый пл. и стихийности революции, ее якобы сверх- и надсоциального значения. Человек расчел и организовал революцию, так же, как расчел и организовал русла и тальвеги, плотины и монолиты, но революция, тем не менее, сохраняет для Пильняка свой космический смысл, на который и переносится центр тяжести.

Метель 1919 года, наполняющая собою форму советской жизни и раскрывающая ее подлинный смысл, близка по своему значению воде 1929 года, страшной силы которой чуть-чуть боятся все инженеры-гидравлики, знающие эту силу, и которая определяет у Пильняка всю дальнейшую диалектику образов революции. В шипеньи экскаваторов и в реве гудков слышны старые завывания. И рефрен в сцене женской демонстрации — «женщины, женщины!», подчеркивающий силу женского потока, так напоминает те же ритмические повторы — «женщины, женщины, женщины!», оголяющие инстинкты голого года.

И это — главное и самое существенное в отношении Пильняка к революции. Его не удовлетворяет только социальное, он хочет заглянуть дальше и глубже и найти макрокосмическое целое — в биологических ли инстинктах голого года, в геологических ли сдвигах Волги — для событий и борьбы человеческого микрокосма.

Подход к революции sub specie aeternitatis, полумистическое, философское обобщение, устремление сквозь социальное и организованное к надсоциальному, к космическому и стихийному, — приемлемо ли, нужно ли это для трезвого и активного реализма материалистической диалектики пролетариата?

2

Так понятой и так изображенной революции противопоставлен, с одной стороны, мир никак не организованной романтики, не учтенной и не расчисленной разумом стихийности, которая доминировала в «Голом годе».

Это мир коломенских «охломонов», — юродивых и сумасшедших, мир Ивана Ожогова, выгнанного из партии и ушедшего в подземелье. Его искренняя преданность революции, неподкупные честь и честность не нужны строительству революции именно потому, что они остались на первой стадии пильняковской концепции, на стадии неорганизованной стихийности, корнями своими уходя в сектантскую Русь юродивых Христа ради, ставших юродивыми советской России справедливости ради.

Иван Ожогов — «лишний человек» революции, он живет общими идеями честности и морали, уважения к человеку, не умея претворить их в экономику и географию. И потому, несмотря на всю свою чистоту и самоотверженность, он гибнет в тот час, когда старые луга и подземелья залиты водой, по новому, людьми созданному, руслу покорно направившей свои зеленые волны.

Подлинная революция не в прекраснодушии Ивана Ожогова, «прекрасного человека прекрасной эпохи девятьсот семнадцатого — двадцать первого годов», а в формулах монолита, отменивших шаблоны чеховского героя.

3

Миру революции, с другой стороны, противопоставлен мир «красного дерева», устоявшегося быта, и исторических традиций, мир антикваров и реставраторов — братьев Бездетовых, двух суровых апостолов консервативности, благообразных и в искусстве реставрировать старину «красного дерева», и в оргиях, устраиваемых в бане Скудриных, и даже в своей ненависти к революции; влюбленных в старые, неумирающие вещи, богатством своих форм и стилей представляющие окаменелую динамику истории, — вещи, от которых идут «флюиды старинностей, отошедших лет».

Закованные в черные сюртуки, точные, строгие и сдержанные, они сами похожи на те вещи, среди которых живут, остановившиеся во времени и в своих подвалах остановившие время, глубоко убежденные, что «глетчерные льды бывшего могут втекать в настоящее, нетая».

Образы, в которых Пильняк реставрирует этот мир, рассказывают историю красной мебели, фарфора, сами напоминают своим стилем красное дерево, старинные вещи, — и от них так же веет стариною, как от гобеленов и миниатюр.

«Мастер умирал, а вещи жили в помещичьих усадьбах и особняках, около них любили и на самосонах умирали, в потайных ящиках секретеров хранили тайные переписки, невесты рассматривали в туалетных зеркальцах свою молодость, старухи — старость. Елизавета, Екатерина, рококо, барокко, бронза, завитушки, цветочки, палисандровое, розовое, черное, карельское дерево, персидский орех. Павел — строг, Павел — мальтиец. У Павла солдатские линии солдатского масонства, строгий покой, — красное дерево темно заполировано, зеленая кожа, черные львы и грифы. Александр — ампир, классика, Эллада. Николай — вновь Павел, задавленный величием брата Александра. Так эпохи легли на красное дерево.

Люди, которые покупали вещи старины после громов революции, у себя в домах облюбовывали старину, вдыхали живую жизнь мертвых вещей, оживляли мертвую жизнь мертвых вещей. И в почете у покупателей был Павел, мальтиец, прямой и строгий, как казарма, когда казарма превращена в гостиную, без бронзы и завитушек. Братья Бездетовы жили на Владимиро-Долгоруковской, на Живодерке, — антиквары, реставраторы. Их подвал останавливал время, заваленный стариною александров, павлов и екатерин. Братья—императорами—умели поговорить о старине и мастерстве. В их подвале вдыхалась старина, которую можно облюбовать и купить. Свои разговоры реставраторы поливали коньяком, перелитым в екатерининский штоф, и из рюмок бывшего императорского алмазного сервиза. И кофе их было настоящим, в батененском фарфоре, очень крепким, сваренным мастерски. Надежду Антоновну реставраторы убедили сесть на павловский диван с ногами и пододвинули к дивану екатерининский столик со сладостями и ликером. Сюртуки антикваров врастали в старину, как и уменье их разговаривать. Надежда Антоновна пила кофе, — ей хотелось спать, — Павел Федорович показывал миниатюры Тропинина, фарфор, русские гобелены, гладил руки Надежды Антоновны, говорил о старине и подливал ликера. На клавикордах сыграл Павел Федорович Глинку».

Но мир «красного дерева», павлов, екатерин, барокко, рококо, мир уходящих в старину бездетовских сюртуков имеет, мне кажется, для Пильняка и другое значение. Понятый в духе характерной для Пильняка символики, это — мир косных, непреодоленных, первичных инстинктов человека, это — биологическая старина не растаявших в революции глетчерных льдов.

Из всего сплетения революционных парадоксов Пильняк выделяет биологию, которая сохранила для него свою упорную, неумирающую, самореставрирующуюся аксиоматичность. Стихийная сила революции оказывается ущербной, — но в пользу другой стихийной и абсолютной силы. И в этой абсолютизации биологии — новое подтверждение «надсоциальной», «космической» установки Пильняка, его интереса к предельным недрам бытия. Человек перестроил географию и геологию, создал новую социологию и изменил даже психологию, но сам он, в своей натуральной, слепой субстанции, остался прежним. Связывать или не связывать эту биологическую старину со стариной исторической, но во всяком случае самое противопоставление (впрочем, довольно распространенное в современной литературе) нельзя не увидеть. Заглавие романа — «Волга впадает в Каспийское море», до сих пор звучавшее как самоотрицание, может получить и другой смысл: «А все-таки она вертится», все-таки биологическая Волга не может быть перерыта и пересоздана никакими геологическими и социальными монолитами, — она продолжает впадать в то же море, в какое впадала тысячелетия.

Антитеза утверждения и отрицания в заглавии подчеркивает и утверждает антитезу содержания.

Только приняв этот замысел антитезы, можно об'яснить и понять значение сложных, искусственных и неубедительных семейных драм героев. От романа остаются в памяти читателя напряженные и блестящие страницы о строительстве и социализме, о законах течения рек, о расчетах и выкладках инженеров, так же и о подвалах Бездетовых, о старине «красного дерева», но лишь чувство скучного недоумения вызывает ненужная психологическая кадриль трех — или четырех — мужчин и трех женщин, никак художественно не увязанная с динамикой романа. Можно, повторяю, понять, для чего понадобились Пильняку эти драмы, подчеркивающие неизменность и косность био-

логического (также и Блок в «Двенадцати» подчеркивал будничную пошлость своих апостолов революции, чтобы противопоставить ее их же героике, освященной Христом, — контраст, проникающий всю поэму, начиная с первых же строк: «Черный вечер — белый снег»); в перестроенном мире любят и страдают попрежнему, Ласло прав, утверждая, что «социальные и биологические инстинкты суть обстоятельства разных порядков» — и в нем самом и вне его. Но понять — не всегда значит простить, особенно в области слова.

Жена инженера Пимена Сергеевича Полетики, Ольга Александровна, ушла от него с маленькой дочерью Любой к инженеру Ласло. Через много лет инженер Ласло сошелся с женою своего друга, инженера Садыкова, — Марией. Честный и слишком прямолинейный, рассматривая психологию и Марии и Ласло как геометрические прямые, в то время, как «природа не знает прямого движения — прямое движение абстрактно, как нуль», Садыков потребовал их прочного соединения. Ласло, равнодушный уже к Марии, но честный в выполнении того, что навязывал ему, как его долг, Садыков, уходит от своей жены (бывшей жены Полетики) и живет с Марией. Мария, чувствуя равнодушие Ласло и вынужденность его любви, женится через полтора месяца. Ласло гибнет и морально, и физически, застреленный Скудриным; Садыков находит утешение у Любови Пименовны (до самого последнего дня, впрочем, любившей недостойного ее Полторака). Ольга Александровна, страдавшая от ухода Ласло и, казалось, неизменно и преданно его любившая, после смерти Марии принимает пришедшего к ней Полетику, приехавшего в Коломну проверить монолит, автором которого он был, принимает так, что у читателя не остается ни малейшего сомнения в счастливом возобновлении их союза, нарушенного Ласло. Полторак, Ласло и Мария умирают, но зато для остальных «happy end» завершается идиллией на террасе.

Все, от начала до конца, совершенно неубедительно и неинтересно. Неправдоподобны и искусственны (чуть ли не в духе ложно-классических пьес) переплетения и совпадения в судьбе этих семи человек, смены их настроений и чувств.

Несмотря на сентиментальность «девочки Мани», «маминых ласк», «гимназистки Марии Позднышевой», «маленькой женщины со слабыми руками», — Пильняку не удается вызвать жалость читателя к Марии. Он подробно (иногда даже нудно), с повторами и аналогиями рассказывает о переживаниях своих героев, и все же они остаются бледными и неинтересными. Вся психологическая эпопея нужна Пильняку как иллюстрация к идее биологической косности, но иллюстрация вышла слабой и неудачной.

Если позволить себе некоторое обобщение, — может быть, и не оправданное только материалом романа, — Пильняку вообще не удается психология. Его сила не в изображении внутренней жизни героев (в этом его слабость), а в причудливом нарастании и сплетении бытовых образов, часто сатирических, в развертывании жизненного потока, в напряженной патетике оригинальных описаний, в блеске отвлеченной игры смыслами и образами.

4

Космическая сила революции преодолевает геологическую и социальную аксиоматику, но биологическая стихия — наследие «Голого года» — остается косной в своем метафизическом, абсолютном бытии, — такова центральная антитеза, уже ничем не преодоленная, такова идеология романа. Но лицо автора характеризует не только идея. Автор проявляет себя в образах, в стиле, в композиции,—в своем способе воспринимать мир и в тех у т в е р ж д е н и я х о м и р е, которые, иногда бессознательно, заложены в его восприятии и в художественном выражении восприятий и которые соответствуют его идеологии. Каждый художественный образ всегда есть утверждение автора.

Каковы же те «глаза», — пользуясь его собственным образом из «Голого года», — которыми смотрит Пильняк на происходящее перед ним, как характеризует его, разумеется, как автора, а не как человека, обнаруженная им манера воспринимать и выражать мир?

Весь роман насыщен прежде всего сложной символикой, не всегда понятной, часто с мистическим налетом, тесно сплетенной с тканью романа, не отделимой от него, ее поясняющей и ею поясняемой, иногда даже назойливой в своих утомляющих повторах.

Законы течения рек, как уже говорилось выше, неизменно и символически об'единяются с законами человеческой психики.

Отдельные образы тоже должны иметь какой-то особый, глубокий, вновь чуть ли не космический смысл; но читателя не тянет

его разгадывать, да и вряд ли благодарной окажется эта сложная задача. Психологическая трагедия героев — и Ласло, и Марии, и Садыкова, и Полторака — сопровождается постоянным лейтмотивом волчьей облавы и особенно флажков, которыми охотники затягивают тропы и перелески. Садыкова преследует образ фашин, прутьев, которые должны под водой, своей растущей жизнью и своей смертью, укреплять дно. И эта жертвенная судьба скоро переключается внутрь: и к себе самому относит Садыков участь фашин.

Что хочет сказать Пильняк теми каменными скифскими бабами, которые, вместе с ушедшими веками, раскапывает коммунистка Любовь Пименовна и которые поданы с такой подчеркнутой нарочитостью, как и другие подобные образы, — что они никак не могут не означать чего-то такого, что — по замыслу — должно быть глубоким, большим и мудрым (особенно в связи с деревянным Христом музееведа, тоже, вероятно, не случайно прозванного Грибоедовым)?

И как понять такие, например, причудливые сплетения, связанные с вызовом чести, который Садыков бросил Ласло и Марии: «В средневековьи у рыцарей был обычай бросать противнику перчатку вызова, — такие вызовы поазиатски-русски превращаются иной раз в каменных баб, как Маринкина башня превращается в готику средневековья».

Не случайно повторяет Пильняк, что свечи горят по-фаустовски, не случайно образы книг сплетаются с образом Гёте.

«Солнце над Союзом социалистических республик восходит целых восемь часов, ибо в час, когда над Владивостоком полночь, над Москвой четыре часа дня», — сообщает нам Пильняк после смерти Полторака, Ласло и Скудрина, и эту же фразу повторяет, когда Надежда Антоновна, любовница Полторака, а потом братьев Бездетовых, мечтающая о материнстве, узнает у доктора, «что она, действительно, беременна, но что она также больна сифилисом».

Смерть Марии становится символом женской судьбы — «семидесяти одного бабьего горя».

Запах гнилой наваги превращается в запах фиалок, и это аллегория судьбы Риммы Скудриной, чей всеколоменский позор безбрачного материнства превратился во всеколоменское счастье.

И каждое слово, каждое, казалось бы, случайное сопоставление — судороги трупа, сжигаемого в крематории, Маринкина башня[1], цветок Galanthus'а, контрольная повязка — повторяется вновь и вновь, разрастается, подчеркивается, «подается» и начинает претендовать на обобщающее значение, органически читателем не воспринимаемое.

И именно в стиле такой неоправданной претензии на высокую мудрость написан весь роман.

Еще непонятнее композиция романа.

Начавший с середины, Пильняк несколько раз возвращается к началу и заглядывает в будущее, иногда тоже по нескольку раз,— чтобы скрепить разрозненные части, — повторяет те же фразы, абзацы и даже страницы, снова уходит в прошлое и снова намекает на будущее, повторяет еще раз читателю ту или иную сцену и опять возвращается к невыясненным психологическим мотивам, переживаниям или событиям. Отказавшись от внешних типографских уступок «Голого года», он сохранил внутренние уступы архитектоники.

Пильняк никак не организует тот хаос жизненного материала, который расстилается перед ним и во времени и в пространстве. Он мечется из стороны в сторону без всякого принципа и без всякой системы, и иной раз кажется, что он не производит никакого отбора и пишет о том, что попадется ему на глаза, подобно некоторым азиатским народам, так создающим свои песни.

Так воспринимать, сопоставлять, ассоциировать, строить,—не значит ли это, пользуясь психиатрическим термином, страдать бредовой ассоциацией идей? И не с полным ли правом такую композицию можно назвать композицией истерической?

Подобная же напряженность и нервность видна и в синтаксисе Пильняка, в разорванных, клочковатых фразах, и в утомительных, назойливых повторах образов и мотивов, — что не может не сказываться и на содержании.

Тяжелое дыхание Достоевского чувствует читатель в рассуждении героев и автора об убиваемых и убивающих юродивых, и совсем уже очевидно восходит к Ивану Карамазову проблема о крови и смерти, без которых не-

---

[1] Заключительная фраза романа: «И мальчик Мишка в час смерти Ожогова — был у Маринкиной башни» — произнесена с такой значительностью, что должна, повидимому, также иметь какой-то особый, заключительный, смысл, — но какой именно — читателю неясно.

возможно никакое строительство — и с маленькой и с большой буквы.

Почти все действующие лица — люди больные, с расшатанной нервной системой, с болезненно утонченным восприятием мира, с психологическими «уступами». Старый большевик, материалист, инженер, профессор Полетика, добрый и умный, свою доброту и нежность скрывающий под внешней суровостью, переживает странное чувство «повторности явлений», повторности, которая в связи с его воспоминанием прошлого и оправдавшимися предчувствием будущего, возвратившего его к прошлому, в связи с неожиданным интересом к своему святому — Пимену, приобретает почти мистическое значение: под знаком этой «повторности» воспринимаются и проходят все дальнейшие события и переживания его жизни — «цепь вещей, развернувшая эту повесть».

В груди другого коммуниста-инженера, Ласло, как в груди Фауста, живут две души: дневной Ласло, среди людей, в работе, с глазами «к тому, чтобы рождать действие», умеющий смотреть в пространство, не видя его, так как видит то, что за пространством, и Ласло ночной, наедине с самим собою, живой мертвец по характеристике Полторака, с бредами и галлюцинациями: «Меня преследуют бреды, я совсем болен... Я вижу свой мозг двумя кровавыми котлетами, и я вижу, как по этим котлетам бегают мысли».

Главный инженер строительства Садыков относительно здоров, но и у него навязчивая идея: он все время представляет себя на месте фашинных прутьев, и в его отношении к Любови Пименовне и к Марии, в его, повидимому, двойной любви к ним, в отдельных разговорах — звучат какие-то гамсуновские ноты.

Можно ли считать вполне нормальными братьев Бездетовых, Марию, не говоря уже о двух юродивых, — убиваемом — охломоне Иване Ожогове — и убивающем, по собственному признанию потерявшем честь, старавшемся все и всех перехитрить и переюродствовать и кончившем самоубийством Якове Скудрине?

Даже дети у Пильняка философствуют и задают совсем не детские вопросы.

Девочка Алиса спрашивает отца про себя и про мальчика Мишу, живут ли они или играют.

Наконец — образ Полторака, в котором особенно четко выступают указанные черты.

Ненормальность Полторака носит уже почти клинический характер. Его эротомания («он болен женщинами», по выражению Надежды Антоновны), страстная любовь к России, слезы о поруганной Анатолем чистоте Наташи Ростовой, страстная ненависть к революции, неврастенические искания соловьевской Софии — все это сплетается в бредовой клубок его последней ночи.

«Полторак ушел от Скудрина в бред, в выжженные ночью — час ночи, плашкотный мост, где были олова глаз Бездетовых, такие же тяжелые, как глаза Шервуда. Глаза смотрели из пустыни лугов, упирались оловом опокойствия в огненный столб в небе, а крики, ужас и шелест воды. Кругом обстали — бессилие, поцелуй Анатолия Куракина, бескровие, бездомность, смерть, пустота, опустошение, страх, — смерть без крови. Полторак собирал себя — к часу. Полтораку некуда было итти. Он шел окраинами, берегом Москвы-реки, мимо Маринкиной башни, под кремлем, Кремлевским спуском Полторак вышел в луга. Все ломалось, завтра стало далеко, как детство. Ночь была черна. Впереди горели огни строительства, угоняя во мрак луга. В лугах, которые через год исчезнут под водою, кричали мирные коростели. Вера, Надежда, Любовь, — жену Полторака звали Софьей, — Полторак бредил породой юродивых, которых убивают. Вера, Надежда, Любовь, Софья — соловьевская мудрость, — бред, ничего нету. Все на крови, — и вот пришла бескровность... Похороны Садыковой срослись с производственным совещанием. Волки за флажками облав не знают, что по лесу, в темном рассвете, растянув флажки, за деревьями в тишине стали охотники, чтобы убивать, — и смерть приходит не от вопящих кричан, но от этих безмолвных. Волки покойны, окруженные флажками и кричанами, пока не закричали и не завыли, не заулюлюкали эти кричаны, — но кричаны завыли, и жизнь осталась за кричанами, за флажками, — естественная, обыкновенная жизнь. Вера, Надежда, Любовь! Ночь бредила мраком. Полторак бежал по лугам. Впереди засипели, захрипели, завыли, заплакали, застонали экскаваторы в бреде огней строительства. Экскаваторы захлебывались ужасом.

Полторак упал.

Через год эти луга будут залиты. Соловьевская София!».

Полторака убивает пуля Скудрина. Но он с полным правом в предсмертном разговоре-горячке с Ласло говорит о себе: «Имею честь представиться — мертвец, инженер-мертвец Евгений Евгеньевич Полторак».

Если принять во внимание, что все эти действующие лица «остранены» манерой Пильняка, его композицией, синтаксисом, капризными аналогиями, неврастеническими повторами, претензией на глубокую символику и глубочайшую психологию, то легко можно себе представить то смутное и болезненное впечатление, которое остается у читателя.

Все перечисленное и характеризует как раз миросозерцание Пильняка. Таковы его художественные «глаза», — его способ воспринимать, строить, ассоциировать, выражать—и тем самым «утверждать» весь его психологический уклад, коренящийся в недрах социальной конституции, организующий художественную манеру, стиль и образы романа и частично переданный автором своим героям.

Подобно отмене волжской географии и геологии, самоотменой звучит (без биологии) аксиома заглавия после знакомства с романом. Упор на подлинность сейчас же снимается противоположным содержанием. И интонация этой аксиомы, утверждаемой с тем, чтобы немедленно быть отмененной, ироническая интонация неоправданной и разрушенной авторитетности факта — не имеет ли болезненного оттенка? нельзя ли в этой особенности заглавия найти исходный пункт к пониманию того, как осуществлен Пильняком его замысел, какими «глазами» смотрит он на жизнь и революцию?

Таков итог творчества Пильняка.

Утверждение разумной мощи революции, преодолевающей геологические, социальные и психологические аксиомы, учитывающей и организующей стихии; метафизическая направленность на ее «космическое», «надсоциальное» значение; и одновременно — непреодоленное противопоставление ей абсолютной и непреодолимой биологии, косной и слепой силы «красного дерева».

На этой идеологической основе закономерности вырастают и признаки соответствующего стиля: игра на самоотрицании и самоутверждении заглавия; истерическая композиция; запутанная полумистическая символика; полубредовые ассоциации и сопоставления; неоправданная и непрерывно подчеркиваемая претензия на глубокий, обобщающий, «космический» смысл отдельных образов; больные люди; искусственные, подчас мнимые проблемы.

Перед нами писатель с болезненно усложненными интеллектом и эмоциями, со склонностью к проблематике в духе Достоевского, тронутый декадансом—писатель той группы интеллигенции, которая «принимает» революцию, но понимает и отражает ее искаженно и остается органически ей чуждой.

От редакции. Статья тов. Айхенвальда печатается в дискуссионном порядке. Автор статьи в общем правильно отмечает: отожествление Б. Пильняком геологии, социологии и психологии, как «явлений одного порядка», художественную трактовку революции, как стихийного надсознательного процесса, социалистического строительства, лишь как борьбы человеческого разума и воли против косных сил природы. Однако автор статьи не вскрывает классовый, политический смысл такого подхода Б. Пильняка к революции. Изображение Б. Пильняком реконструктивного периода только как борьбы с природой, а не как классовой ожесточенной борьбы периода ликвидации кулачества как класса, утверждение господства стихии и биологии над социальным, выхолащивание революционного содержания социалистического строительства и т. п. — все это привело Б. Пильняка к деляческому освещению социалистического строительства, как «прогресса российской государственности», что делает это произведение не только чуждым, но и враждебным по отношению к реальному социалистическому содержанию реконструктивного периода пролетарской революции.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рахманов Леонид. — Племенной бог. Роман. М. и Л. ГИХЛ. 1931. 130 стр. 1 р. 10 к. 5000 экз.

Это небольшое повествование названо романом по явному недоразумению. Таким же недоразумением является и заголовок «Племенной бог». Студент Лепец, выдающий себя за сына расстрелянного эстонского революционера, запутывает в грязную историю другого беспартийного студента Ефрема Заватного, с целью отвести возможность разоблачения. «Хитроумный» план Лепеца заключается в том, что он знакомит Ефрема с молодой баптисткой, подговаривает ее выписать на университетский адрес для Ефрема журнал «Баптист», затем в стенгазете уличает его в связи с сектантами. Ефрему кое-как удается реабилитироваться. Кроме того он решает выступить на баптистском собрании с разоблачением сектантства, но произносит там нелепую речь и учиняет скандал, кончившийся приглашением милиции. События развиваются. «Легкая кавалеристка» Клава разоблачает Лепеца, оказавшегося сыном кулака, замешанного в знаменитой лудорвайской порке бедняков. Через некоторое время Ефрем дружески встречается с Лепецем и во время катанья на лодке узнает от Лепеца, что тот после исключения из вуза стал баптистом, кончил миссионерские курсы и везет вотякам крестьянского бога «на племя», «на развод» (отсюда и заглавие романа). Ефрем вдруг решает совершить индивидуальный террористический акт и физически уничтожить авантюриста Лепеца, считая, что это—необходимая «высшая» мера социальной защиты. Он опрокидывает лодку, и оба падают в воду. Желание уничтожить «живого носителя классового зла» появилось у Ефрема потому, что «большие осенние мухи летали над лодкой и кусали Лепеца, как казалось Ефрему, значительно слабее и реже, чем его». Лепец благополучно спасается со своими баптистскими «мандатами», а неудачный герой Ефрем возвращается домой со злобой на самого себя. Вот и весь несложный сюжет романа. Значительная часть произведения посвящена «сумасшедшим пустякам» Ефрема, его нескладным каламбурам, полубредовым восприятиям, нелепым поступкам. Ни студенческого быта, ни изображения и обличения сектантской среды в «романе» нет. Нелепость сюжетного замысла вполне гармонирует с его выполнением. Стиль автора так же растрепан, как психический склад его героя. Образы его крайне претенциозны и часто до того надуманны, что теряют всякий смысл. Для кого убедительны такие сравнения Ефрема, как: «беда висела над головой, как кукушка», или «русская природа пахла русскими сапогами». Кроме Ефрема, все действующие лица «романа», включая и Лепеца, обрисованы как-то силуэтно: это не живые люди, а тени; но и Ефрем, как образ, лишен всякого художественного и общественного интереса.

Б. И.

Дм. Оськин.—Записки военкома. «Федерация». М. 1931. Стр. 278. Ц. 1 р. 25 к. + 20 к.

Несмотря на обилие литературы о гражданской войне, мы до сих пор еще не имели произведения, отображающего Красную армию с момента ее зарождения, в 1917 году, из добровольческих дружин красной гвардии и до момента перехода на мирную учебу.

Рецензируемая нами книга не является фактом художественной литературы. Она не только не является художественной, но и в публицистическом плане несет целый ряд серьезных погрешностей, — стилистических, композиционных и иных. Но все же книга эта—нужная книга. Она правдиво, безо всяких прикрас знакомит с жизнью, бытом и политико-моральным состоянием Красной армии на всем протяжении ее короткой, но достаточно яркой военной истории. Здесь шаг за шагом отображены все первоначальные этапы развития рабоче-крестьянской армии, ее борьба в заградительных отрядах с мешочниками—рабочими, бросившими свое производство ради легкой наживы на спекуляции мукой, борьба с кулацкими восстаниями, организованными под лозунгом: «Мы за большевиков, но против коммунистов» («Коммунисты разделят землю только между собой»). Автор начинает прямо со строительства Красной армии в 1918 году, когда советская власть, находясь в кольце разношерстных банд, вышедших на все большие дороги, поняла, что с одними добровольными дружинами ей не справиться со всеми генеральскими бандами, что необходимо организовать регулярную армию.

Автор все время оперирует фактическим материалом. Он берет отдельную часть Красной армии, — полки, организованные из рабочих тульских оружейных и самоварных заводов. Автор на своем опыте испытал всю трудность организации отдельных, разрозненных вооруженных частей, в которых было «больше едоков, чем реальной силы».

Когда автор в 1918 году приехал из Петрограда в Тулу с мандатом, уполномочивающим его на организацию армии, то он застал там отряды максималистов и анархистов. Начальн-

ники этих отрядов постоянно ссорились между собой из-за хвастливой уверенности в силе своего людского состава. Вот маленькая картинка, рисующая настроения тогдашних воинских частей:

«...в мягких, бархатных креслах спорили три товарища:

— Ты мне не хвастай, — говорил один, — что твой отряд силен; стоит захотеть, и я его в 24 минуты разоружу.

— Ну, нет, брат, шалишь. Мои анархисты не только твой отряд разоружат, но и арестуют полностью, — горячился другой. — Мои люди умеют обращаться с пулеметами и винтовками по как! — и он сделал красноречивый жест».

В таком состоянии находились воинские части, из которых впоследствии была выкована армия, не знавшая себе достойных соперников, — армия, история которой записана в каждом сердце трудящихся Советского союза.

Автор, оперируя фактами и цифрами, показывает этот путь формирования новой, первой в мире армии, знающей, за что она борется и благодаря этому самосознанию победившей внутреннюю контрреволюцию и интервенцию. Мы видим Красную армию в действии на внутренних и наружных фронтах, организационные этапы ее роста из беспорядочно-разрозненных групп вооруженных людей до единой, крепко спаянной армии, создание коммунистических ячеек, взявших на себя культурно-массовую работу среди красноармейцев, в большинстве случаев политически безграмотных, пришедших в армию из глухих уголков России.

Появление этой и подобных ей книг на литературном рынке можно считать особенно необходимым сейчас, когда мировой кризис в капиталистических странах заставляет правительства Запада все чаще и чаще обращать свое внимание на Восток, на «проблему СССР», решением которой они думают избавиться от мирового кризиса и от «руки Москвы», когда наше социалистическое государство усиленно готовится к обороне. Эту книгу следует рекомендовать нашей молодежи.

В. Борахвостов

Алтаев А. — Взбаламученная Русь. Исторический роман из русской жизни конца XVII века. Предисл. В. Невского. Л. Изд. «Жизнь и знание». 1930. 204 стр. 1 р. 75 к. 5070 экз.

Над романом тяготеют традиции так называемого «исторического романа для юношества», представляющего одно из самых реакционных явлений старой литературы. Книга окрашена наивным народолюбием, уходящим корнями в суб'ективистско-народническую социологию.

Алтаев пытается дать картину общественных противоречий, раздиравших российское государство XVII века. Это была эпоха напряженнейших социальных конфликтов, широких народных движений возникавших на почве угнетения крестьянства крепостнически-бюрократическим государством и принимавших формы антипомещичьих казацко-крестьянских восстаний (Болотников, Степан Разин), или же религиозно-политического протеста против государственной церкви торгового капитала (раскольники). Автор показывает боярскую Москву. Раскрывает отношения в семье боярина Ордина-Нащекина, рисует деревню голодающую, охваченную религиозным бредовым экстазом; после этого автор переносит действие в Запорожскую Сечь, тогдашний рассадник «смуты» и прибежище «смутьянов», дает эпизод неудавшегося восстания и «наконец», возвращается вновь в Москву, подводя как бы некоторые итоги. Суб'ективно автор пытается отразить эпоху как можно полнее.

Однако задача эта разрешима лишь при помощи диалектического метода марксистской историографии, имеющей уже ряд достижений в работах по XVI веку. Автор же в «лучших» случаях не поднимается над об'ективным историзмом, смазывающим исторически развивающиеся классовые противоречия.

Автор неизменно сентиментален во всех характеристиках и не гнушается слащавой идеализации в обрисовке западнической боярской группы. Ряд исторических замечаний, разбросанных по роману в виде кратких комментариев, отнюдь не способствует уяснению исторической обстановки. О Никоне — «он железной рукой повел церковь и общество по новому пути». О боярыне Морозовой — «родись она несколькими столетиями позже, и ее увидели бы в рядах самых ярых революционеров».

Стилистические приемы автора удручающе банальны: «у боярышни нежное лицо, оттененное жемчужной повязкой, и затуманившийся взгляд синих глаз»; у князя Трубецкого «красивое выхоленное лицо, черные брови, черные кудри, очи черные с поволокой». Иногда, впрочем, автор не удовлетворяется этими штампами, и тогда Татьяна смеется «жутким стеклянным смехом», у Оксаны «глаза как у змеи, когда наступишь ей на хвост». Язык иностранцев автор передает ломаной русской речью, и все эти бесчисленные «мальшик», «ошинь», «позвольяйт», «говориль» также не свидетельствуют о хорошем вкусе. В заключение нельзя не упомянуть о предпосланном роману предисловии В. Невского, содержащем неумеренные и бездоказательные похвалы творчеству Алтаева.

Б. И.

Фильдинг Г. — История Тома Джонса найденыша. Роман. Сокращен. перев. с англ. под ред. Н. Камионской, послесловие Т. Левита. М. и Л. Изд. «Молодая гвардия». 1931 г. 349 стр. 2 р. (Юношеская биб-ка иностранных писателей.) 5000 экз.

Фильдинг Г. (1701—1754)—писатель среднепоместного дворянства, «джентри». Его книга о приключениях Тома Джонса занимает почетное место в истории английского романа. Он создал «реалистический роман», построенный на живом и ярком бытовом материале. Преследуя литературно-политические цели, Фильдинг пародировал ложно-классическую напыщенность аристократической литературы и высме-

вал сентиментализм буржуазных писателей (Ричардсон).

«История Тома Джонса найденыша» представляет большой интерес и как полемический и как социально-исторический памятник, отразивший быт и нравы Англии половины XVIII в. Следуя за героем, гонимым житейскими неудачами, по поместьям, проезжим дорогам, городам, гостиницам и т. д., автор вербует здесь своих многочисленных персонажей. Фигуры, выведенные им, представляют разные социальные круги — от так наз. «высшего света» до простого солдата. Но в центре внимания автора — помещики. Он изображает их характеры, строй их жизни, критикует недостатки, сопровождая описание своими размышлениями. Фильдинг изобличает пуританство и лицемерность английской буржуазии, он осмеивает тупоумное церковничество, пытаясь своими рассуждениями (о любви, проблема незаконнорожденных) определить морально бытовые нормы совместного ему общества. Фильдинг разрешает все вопросы с точки зрения и в интересах своей социальной группы. Только в среде помещиков он находил «благородных» людей. Наш читатель прежде всего оценит этот роман со стороны богатого и интересного бытового материала, оформленного с исключительной стройностью и занимательностью; полемическая заостренность еще больше оживляет его. Сделанные сокращения следует в общем признать удачными. Послесловие Т. Левита, претендующее на роль историко-литературного комментария, страдает многими неточностями в отношении методологии, и является образцом вульгаризации и верхоглядства.

Б. Н.

Алинченко, М. — Буровля в Лобках. Очерки. М. «Федерация». 1931. 238 стр. 1 р. 50 к. 5000 экз.

Очерки современной деревни: описание борьбы за колхоз в деревне Лобки. «Буровля» (местное выражение) — разбураленная, взбудораженная жизнь, обострение классовой борьбы. Автор, по собственному признанию, записывает случайные наблюдения и факты, не отбирая материала и никак не организуя его, предполагая, что «какой-то» вывод выявится сам собой; ему кажется, что такое некритическое описание и будет представлять «подлинную правду» о деревне. Автор не только сознательно воздерживается от обобщения, но просто не умеет осмыслить действительность. «Ничего не понимаю» — обычная для автора ремарка. Большая часть книги носит панический характер, а заключительная часть — панегирическая. Извращения партийной советской политики в деревне Лобки поражают автора до отчаяния: некий Нежнов, уполномоченный по хлебозаготовкам, насильно загоняющий крестьян в колхоз и в то же время втихомолку агитирующий против колхоза, раскулачивающий середняков и прочее, представляется автору силой, неодолимой силами самой деревни; позже, когда при активной помощи рабочего, очевидно, из «двадцатипятитысячников», с извращениями в Лобках покончено и колхоз, наконец, организуется, автор впадает в другую крайность заявляя, что «буровле» действительно конец. Таким образом, автор не только не дает «подлинной правды», но искажает действительность. Частности усиливают и подчеркивают общую ошибочную концепцию: мысль об особом привилегированном положении городского пролетариата, недоучет роли партийного руководства в процессе социалистического строительства в деревне и пр. Следует заметить, что деревенская общественность автором понимается слишком широко и беспринципно. В числе активистов, строителей социализма, в деревне оказываются и бывший поп, и некий «бесстрашный человек», созерцатель-толстовец, удалившийся в лес от тревоги жизни, и старик школьный сторож, агитирующий за колхоз от евангелия, и слабоумный глухонемой Ленька, и полоумный алкоголик Кузьма, в болезненном исступлении пророческим возгласом «Час настал!» приветствующий начало коллективизации, и другие персонажи, так или иначе ушибленные жизнью. Те герои, которые могли бы с большими основаниями фигурировать в качестве активистов-общественников, — середняцкая семья Прокофия, сельсоветчик Петров и др. — очерчены слишком плакатно, другие скомпрометированы автором: учительница — искательница «красоты» и «волнующей жизни» в бесчисленных беспорядочных любовных связях; ее муж — коммунист, на чем-то «свихнувшийся», по выражению автора, и получивший взыскание от контрольной комиссии.

Очерки неверно ориентируют читателя в процессах, происходящих в современной деревне.

Б. И.

СОДЕРЖАНИЕ

Издатель: Государственное издательство художественной литературы

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский, 7, тел. 5-63-12.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1931 год

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ — и ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ —

„ОКТЯБРЬ"

ОРГАН РОССИЙСКОЙ И МОСКОВСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (РАПП И МАПП)

В 1931 ГОДУ В ЖУРНАЛЕ БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ

РОМАНЫ — ПОВЕСТИ — РАССКАЗЫ

В. Киршон — Хлеб, пьеса
М. Шолохов — Тихий Дон, роман, кн. III
А. Фадеев — Последний из Удэге, роман, кн. II
Ф. Панферов — Бруски, роман, кн. III
М. Чумандрин — Ленинград, роман
В. Ставский — Станица, кн. III
Артем Веселый — Роман
Я. Шведов — Повесть о волчьем братстве
А. Караваева — Баян, повесть
И. Уксусов — Голубые вагоны, рассказ
М. Платошкин — Роман
Мархвиц — Штурм Эссена, роман (перевод с нем.)
Майкл Голд — рассказы (перев. с англ.)
И. Бабель — Повесть
Ю. Олеша — Нищий, роман
М. Слонимский — Повесть
Л. Копылова — Роман
Л. Овалов — Роман
В. Ильенков — Повесть
Б. Левин — Жили два товарища, повесть
Б. Галин — Производственная повесть
Як. Ильин — Производственная повесть
В. Герасимов — Рассказ
М. Колосов — Повесть
А. Исбах — Рассказы
А. Митрофанов — Рассказ

МЕМУАРЫ

А. Свирский — История моей жизни, ч. II
Сен-Катаяма — Пройденный путь
А. Гайдар — Обыкн-ческая повесть

СТИХИ, СТАТЬИ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ, РЕЦЕНЗИИ

В ОТДЕЛАХ: 1. ЗАПИСКИ ПИСАТЕЛЯ. 2. ПЕРЕЖИТОК. 3. ЖИЗНЬ НА ХОДУ. 4. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО. 5. КРИТИКА. 6. БИБЛИОГРАФИЯ.

ОКТЯБРЬ — группирует вокруг себя пролетарских писателей, растущий литературный молодняк и близких революции писателей советской интеллигенции.

ОКТЯБРЬ — ориентирует читателя в вопросах современной литературы и пролетарского литературного движения, печатая критические статьи, освещающие актуальные творческие вопросы пролетарского литературного движения и знакомящие с другими направлениями в советской литературе.

ОКТЯБРЬ — уделяет значительное внимание вопросам искусств (театр, драматургия, живопись, кино) периодически помещая в журнале обозрения, очерки и статьи.

ОКТЯБРЬ — печатает очерки, статьи и воспоминания участников революционного и пролетарского литературного движения.

ОКТЯБРЬ — освещает важнейшие события культурной, политической и экономической жизни СССР и капиталистических стран, откликается на все злободневные вопросы современности, ставит перед читателем проблемы культурной революции, быта, учебы, труда и социалистического строительства.

ОКТЯБРЬ — является творческим центром современной пролетарской литературы. Обсуждая на своих страницах проблемы творчества и теории литературы, вопросы борьбы на фронте пролетарского движения, печатая лучшие произведения пролетарской литературы и освещая важнейшие явления политической и культурной жизни страны, журнал «ОКТЯБРЬ» СОСРЕДОТАЧИВАЕТ СВОЮ РАБОТУ НА СОЗДАНИИ ШКОЛЫ ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

«ОКТЯБРЬ» выходит книжками, об'ем 13—14 листов (208—224 стр.) с иллюстрациями.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ЖУРНАЛ «ОКТЯБРЬ»: на год — 12 р., на 6 мес. — 6 р., отдельного номера — 1 р. 10 к.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ввиду того, что тираж первого номера журнала исчерпан, подписка принимается лишь с № 2. Подписная плата до конца года — **11 руб.** Настоящий журнал печатается в строго ограниченном тираже, аккуратное получение журнала гарантируется исключительно подписчикам, своевременно внесшим полную подписную плату.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ в Периодсекторе Книгоцентра ОГИЗ'а (Москва, центр, Ильинка, 3), во всех отделениях, магазинах Книгоцентра ОГИЗ'а и на почте.